КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5

МАЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

М. Горький — Жизнь Клима Самгина — отрывок из второй части трилогии — „Сорок лет“ . . . 3

Леонид Леонов — Бродяга — рассказ. 64

В. Катаев — Квадратура круга — шутка в трех действиях . 73

Илья Эренбург — Ночь в Братиславе — рассказ 117

Илья Сельвинский — Пушторг — роман в стихах . . 124

С КИтАлец, Воспоминания о Горьком 164

Эм. Квиринг — Перспективы социалистической промышленности 1927/28 — 1931/32 гг. 172

А. Д. Авдеев — Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге (из воспоминаний коменданта) 185

ЗА РУБЕЖОМ

Ольга Форш — Париж с птичьего „дуазо“ 210

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ

Д. Тальников — „Горе от ума“ перед судом современности 223

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ: Семен Фомин — А. Ширяевец „Волжские песни“. **Евг. Книпович** — Мих. Слонимский „Средний проспект“. **Павел Мирецкий** — С. Жданов „Мартемьяниха“. **Л. Тоом** — А. Караваева „Юность на Грязной“. **Т. Гриц** — Б. Кушнер „Сто три дня на Западе“. **И. Бороздин** — Альманах „Советская страна“. **Л. Якобсон** — В. М. Энгельгардт „Формальный метод в истории литературы“. 263

ОТ РЕДАКЦИИ: Ввиду месячного отпуска рабочих 1-й Образцовой типографии книга 6-я „Красной нови“ выйдет в конце июня.

Жизнь Клима Самгина [1].

(Отрывок из второй части трилогии «Сорок лет»).

М. Горький.

На Театральной площади, сказав извозчику адрес и не останавливая его, Митрофанов выпрыгнул из саней. Самгин поехал дальше, чувствуя себя физически больным и как бы внутренно ослепшим, не способным видеть свои мысли. Голова тупо болела.

Дома он расслабленно свалился на диван. Варвара куда-то ушла, в комнатах было напряженно тихо, а в голове гудели десятки голосов. Самгин пытался вспомнить слова своей речи, но память не подсказывала их. Однако он помнил, что кричал не своим голосом и не свои слова.

— Припадок истерии, — упрекнул он себя. — Как все это случилось? — думал он, закрыв глаза, и невольно вспомнил странное поведение свое в момент, когда разрушалась стена казармы.

— Точно мальчишка, первокурсник.

Трудно было разобраться в беспорядочном течении вялых мыслей, а они слагались в обидное сознание какой-то измены самому себе.

— Стадное чувство. Магнетизм толпы, — оправдывался он, но это не утешало. И все более тревожил вопрос: что он говорил?

Но когда пришла Варвара, и взглянув на него, обеспокоенно спросила: что с ним? — он, взяв ее за руку, усадил на диван и стал рассказывать в тоне шутливом, как бы не о себе. Он даже привел несколько фраз своей речи, обычных фраз, какие говорятся на студенческих митингах, но тотчас же смутился, замолчал.

— Тебя сильно ударили? — спросила Варвара ласково и с удивлением.

— Нет.

Он стал осторожно рассказывать дальше, желая сказать только то, что помнил; он не хотел сочинять, но как-то само собою выходило, что им была сказана резкая речь...

— Меня — как говорится — взорвало, и я накричал, равномерно и на полицию, и на студентов, — объяснял он.

---

[1]) Все права за границей закреплены за автором. Право издания на немецком языке принадлежит Malik-Verlag, Berlin.

Рассказ его очень взволновал и удивил Варвару. Прижимаясь к нему, она восклицала:

— И это — ты? Такой сдержанный?

Он встал, прошелся по комнате, остановясь у зеркала, пригладил волосы и, вздохнув, сказал:

— В конце концов — все-таки плохо знаешь себя.

Тут Варвара спросила каким-то странным тоном:

— Но — почему же тебя не арестовали?

— Меня и хотели арестовать, но началась драка, студенты затолкали меня в публику...

Только в эту минуту он вспомнил о Митрофанове и рассказал о нем. Обмахивая лицо платком, Варвара быстро вышла из комнаты, а он снова задумался:

— Как это случилось, что я потерял власть над собою?

Тревожила мысль о возможном разноречии между тем, что рассказал Варваре он и что скажет постоялец. И, конечно, сыщики заметили его, так что эта история, наверное, будет иметь продолжение...

Вошла Варвара, говоря:

— Пальто выпачкано известкой, карман оторван, — ох, Клим, родной мой...

Она прижала голову к его груди, вздрагивая, а Самгин подумал:

«Что же это она пальто осматривала, — не верит мне?»

Но это не обидело его, он сам себе не верил и не узнавал себя. Нежность и тревожное удивление Варвары несколько успокоило его, а затем явился, как раз к обеду, Митрофанов. Вошел он робко, с неопределенной, но как будто виноватой улыбочкой, спрятав руки за спиною.

«Что он расскажет?» — беспокойно подумал Самгин, видя его смущение.

Варвара, встретив Митрофанова словами благодарности, усадила его к столу, налила водки и, выпив за его здоровье, стала расспрашивать; Иван Петрович покашливал, крякал, усердно пил, жевал, а Самгин, видя, что он смущается все больше, нетерпеливо спросил:

— Как это вам удалось меня вытащить из рук полиции?

Мигая, постоялец взглянул на него и, не торопясь, как бы опасаясь выговорить какое-то лишнее слово, рассказал:

— А... видите ли, — они раненых не любят, т. е. — боятся, это — не выгодно им. Вот я и сказал: стой, это — раненый! Околоточный — знакомый, частенько на биллиарде играем...

— Он спросил — кто я?

— Нет. Да и спросил бы, так не узнал, — ответил Митрофанов, усмехаясь.

— Да вы ешьте, Иван Петрович, — уговаривала Варвара. — Ах, какой вы милый человек!

Митрофанов взглянул на нее, на Самгина и, как бы догадавшись о чем-то приятном ему, вдруг оживился, стал сам собою и продолжал уже веселым тоном:

— Я стоял у книжной лавки Карцева, вдруг — вижу: Клима Иваныча толкают. И, знаете, раззадорился, как, бывало, мальчишкой: не тронь наших!

Это очень развеселило Самгиных, и вот с этого дня Иван Петрович стал для них домашним человеком, прижился, точно кот. Он обладал редкой способностью не мешать людям и хорошо чувствовал минуту, когда его присутствие становилось лишним. Если к Самгиным приходили гости, Митрофанов немедленно исчезал, даже Любаша изгоняла его.

— Я, извините, ученых барышень боюсь, — сказал он.

Варвару он все более забавлял, рассказывая ей смешное о провинциальной жизни, обычаях, обрядах, поверьях, пожарах, убийствах и романах. Смешное он подмечал не плохо, но рассказывал о нем добродушно и даже как бы с сожалением. Рассказывал о ловле трески в Белом море, о сборе кедровых орехов в Сибири, о добыче самоцветов на Урале; Варвара находила, что он рассказывает талантливо.

Самгин слушал его все более внимательно и серьезно, чувствуя в Митрофанове нечто крепкое и успокаивающее. Возвращаясь из поездок, он передавал ему свои впечатления и с удовольствием выслушивал образную речь.

— Конечно, мужик у нас поставлен неправильно, — раздумчиво, но уверенно говорил Митрофанов. — Каждому человеку хочется быть хозяином, а не квартирантом. Вот я, например, оклею комнату новыми обоями за свой счет, а вы, как домохозяева, скажете мне прошу, очистить комнату. Вот какое скучное положение у мужика, — от этого он и ленив к жизни своей. А поставьте его на собственную землю, — он вам маком расцветет.

И, спрятав руки в карманы, продолжал:

— Вообще, это бесполезное занятие в чужом огороде капусту садить. В Орле жил под надзором полиции один политический человек, уже солидного возраста и большой умственной доброты. Только — доброта не средство против скуки. Город скучный, пыльный, ничего орлиного не содержит, а свинства — сколько угодно! И вот он, добряк, решил заняться украшением окружающих людей. Между прочим, жена моя — вторая, немножко пострадала от него, — из гимназии вытурили...

Варвара неприлично и до слез хохотала, Самгин, опасаясь, что квартирант обидится, посматривал на нее укоризненно. Но Митрофанов не обижался, — ему, видимо, нравилось смешить молодую женщину, он вытаскивал из кармана руку и с улыбкой в бесцветных глазах разглаживал пальцем редковолосые усы.

— Н-да, так вот этот щедрословный человек внушал, конечно, «сейте разумное, доброе» и прочее такое, да вдруг, знаете, женился на

вдове одного адвоката, домовладелице, и тут, я вам скажу, в два года такой скучный стал, как будто и родился и всю жизнь прожил в Орле.

Самгин все более определенно чувствовал, что Иван Петрович служит как бы корректором его впечатлений. Как-то ночью, возвратясь из театра и раздеваясь, Варвара сказала:

— А, ведь, Митрофанов был бы хорошим комиком, он — талантливый.

— Преувеличиваешь, — возразил Самгин, совершенно не желая видеть постояльца талантливым. — Он просто — типично русский, здравомыслящий человек, каких миллионы.

А окончательно приобрел Митрофанов в глазах Клима цвет и форму пасхальною ночью.

После Ходынки и случая у манежа Самгин особенно избегал скопления людей, даже публика в фойе театров была неприятна ему: он инстинктивно держался ближе к дверям, а на улицах, видя толпу зрителей вокруг какого-то несчастия или скандала, брезгливо обходил людей стороной.

Он очень неохотно уступал настойчивой просьбе Варвары пойти в Кремль, а когда они вошли за стену Кремля и толпа, сейчас же всосав его в свою черную гущу, лишила воли, начала подталкивать, передвигать куда-то, — Самгин настроился мрачно, враждебно всему. Он вздохнул свободнее, когда его и Варвару оттеснили к нелепому памятнику царя, где было сравнительно просторно.

Холодная тьма сжала людей в единое, чудовищное целое, оно волнообразно покачивалось, прогибая землю своей тяжестью. Желтые, жирные потоки света из окон храма вторгались во тьму над толпой, раздирали тьму, и по краям разрывов она светилась синевато, как лед. Свет падал на непокрытые головы, было много лысых черепов, похожих на картофель, орехи и горошины, все они были меньше естественного, дневного объема. и чем дальше, тем заметнее уменьшались, а еще дальше люди сливались в безглавое и бесформенное черное. Черными кентаврами возвышались над толпой конные полицейские; близко к одному из них стоял высокий, тучный человек в шубе с меховым воротником, а из воротника торчала голова лошади, кланяясь, оскалив зубы, сверкая удилами. Грозно, как огромный, уродливый палец с медным ногтем, вонзалась в темноту колокольня Ивана Великого, основание ее плотно окружала темная масса, волнуясь, как мертвая зыбь, и казалось, что колокольня тоже покачивается.

Клим Самгин подумал: упади она, и погибнут сотни людей из Охотного ряда, из Китай-города, с Ордынки и Арбата, замоскворецкие люди из пьес Островского. Еще бо̀льшие сотни, в ужасе перед смертью, изувечат, передавят друг друга. Или какой-нибудь иной ужас взорвет это крепко спрессованное тело, и тогда оно, разрушенное, разрушит все вокруг, все здания, храмы, стены Кремля.

Толпа вздыхала, ворчала, напоминая тот горячий шумок, который слышал Самгин в селе, когда там поднимали колокол, здесь люди, всей силою своей тоже как будто пытались поднять невидимую во тьме тяжесть и, покачиваясь, терлись друг о друга. Казалось, что вся сила людей, тяготея к желтой теплой полосе света, хочет втиснуться в двери собора, откуда, едва слышен, тоже плывет подавленный гул. Но все-таки было тихо, как-то особенно холодно-тихо. И становилось все тише, точно погружаясь в ненарушимое молчание холодной ночи и не оттаявшей земли. Лица ближайших людей Самгин видел угрюмыми, напряженно и нетерпеливо ожидающими рассвета и тепла. Варвара, стоя бок-о-бок с ним, вздрагивала, нерешительно шевелила правой рукой, прижатой ко груди, ее застывшее лицо Самгин находил деланно благочестивым и молчал, желая услышать жалобу на холод и на людей, толкавших Варвару.

Из толпы вывернулся Митрофанов, зажав шапку под мышкой, держа в руке серебряные часы, встал рядом и сказал вполголоса, заикаясь:

— Сейчас ударят. Сейчас.

Приоткрыв рот, он вскинул голову, уставился выпученными глазами в небо как мальчишка, очарованно наблюдающий полет охотницких голубей.

И вдруг с черного неба опрокинули огромную чашу густейшего медного звука, нелепо лопнуло что-то, как будто выстрел пушки, тишина взорвалась, во тьму влился свет, и стали видны улыбки радости, сияющие глаза, весь Кремль вспыхнул яркими огнями, торжественно и бурно поплыл над Москвой колокольный звон, а над толпой птицами затрепетали, крестясь, тысячи рук, на паперть собора вышло золотое духовенство, человек с горящей разноцветно головой осенил людей огненным крестом, и тысячеустый голос густо, потрясающе и убежденно, — трижды сказал:

— Воистину воскресе.

— Христос воскресе, — не сказал, а рявкнул Митрофанов, обняв Клима, целуя его; он сразу опьянел и плакал, радостно всхлипывая: — Вот как мы, а? Ах, господи...

Он обнял и Варвару; целуя, встряхивая ее, он бормотал:

— И не веришь, а — поверишь: воистину воскрес, а?

Слезы текли по лицу его так обильно, как будто вся кожа лица вспотела слезами, а Варвара, сконфуженно отталкивая его, умоляюще глядя на Клима, укоризненно позвала:

— Клим?

Голос ее прозвучал жалобой и упреком; все вокруг так сказочно чудесно изменилось; Самгин был взволнован волнением постояльца, смущенно улыбаясь, и, все еще боясь показаться смешным себе, он обнял жену:

— Христос воскресе, Варя.

Она крепко прижалась к нему, а он смотрел через плечо ее на Митрофанова, в его мокрое лицо, в счастливые глаза и слушал умиленный голос:

— Момент! Нигде в мире не могут так, как мы, а? За всех! Клим Иваныч, хорошо, ведь, что есть эдакое — за всех! И — надо всеми, одинаковое для нищих, для царей. Милый, а? Вот как мы...

Толпа быстро распадалась на отдельных, вполне ясных людей, это — очень обыкновенные люди, только празднично повеселевшие, они обнажали головы друг пред другом, обнимались, целовались и возглашали несчетное число раз:

— Христос...

— Воистину...

Как будто они впервые услыхали эту весть, и Самгин не мог не подумать, что раньше радость о Христе принималась им, как смешное лицемерие, а, вот, сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а, даже, и сам небывало растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что все страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминаций, внушительно гудел колокол Ивана Великого, и радостный звон всех церквей города не мог заглушить его торжественный голос. Всюду над Москвой, в небе, все еще густо черном, вспыхнули и трепетали зарева, можно было думать, что сотни медных голосов наполняют воздух светом, в церкви поднялись из хаоса домов золотыми кораблями сказки. Митрофанов, идя боком, кружась, бесцеремонно, но все-таки вежливо, расталкивал людей, очищая дорогу Варваре, и все говорил что-то значительное:

— Мы, — повторял он, — мы...

Праздничный шум людей мешал Климу понимать его. Самгиных пригласил разговляться патрон, но Клим вдруг решил:

— Знаешь, Варя, пойдем-ка домой. Иван Петрович с нами — хорошо?

— О, я так рада, — сказала она.

— А я — необыкновенно взволнован, — сознался Самгин нерешительно и смущенно. — Я завтра извинюсь пред патроном.

— Покорно благодарю, — говорил Митрофанов. — Я к вам — с радостью.

Он отирал лицо платком и, размахивая им, задевал людей, — Варвара ласково заметила ему это.

— Ничего, сегодня не обижаются, — сказал он.

Христосовались с Анфимьевной, которая, надев широчайшее шелковое платье, стала похожа на часовню, с поваром уже пьяным и нарядным, точно комик оперетки, с горничной в розовом платье и множестве лент, ленты напомнили Самгину свадебную лошадь в деревне. Но, отмечая все эти мелочи, он улыбался добродушно, потирая руки, снимал и надевал очки, сознавая, что ведет себя необычно. Возникали смешные желания, конфузившие его, хотелось похлопать Митрофанова по плечу, запеть «Христос воскресе», сказать Варваре ласковые и веселые слова. Варвара была вся в светлом, как невеста, и была она красиво, задумчиво тиха; это тоже волновало Самгина. Он стоял у стола, убранного цветами, смо-

трел на улыбающуюся мордочку поросенка, покручивал бородку и слушал, как за его спиною Митрофанов говорит:

— Господин Долганов — есть такой! — доказывал мне, что Христа не было, выдумка — Христос. А — хотя бы? Мне-то что? И выдумка, а — все-таки есть, живет! Живет, Варвара Кирилловна, в каждом из нас кусочек есть, вот в чем суть! Мы, голубушка, плохи, да не так уж страшно...

— Сядемте, — предложил Клим, любуясь оживлением постояльца, внимательно присматриваясь к нему и находя, что Митрофанов одновременно похож на регистратора в окружном суде, на кассира в магазине «Мюр и Мерилиз», одного из метр д'отелей в ресторане «Прага», на университетского педеля и еще на многих обыкновеннейших людей. Он был одет в черную, неоднократно утюженную визитку, в белый, пикейный жилет, воротник его туго-накрахмаленной рубашки замшился и подстрижен ножницами. Глотая рюмку за рюмкой «зубровку», он ораторствовал:

— Мы все от Христа пошли, и это для всех — один путь. И все хотим благоденственного и мирного жития, чего и Христос хотел, да!

— Один поэт, — сказал Клим, — т. е. он не поэт, а дьякон...

— Дьякон, да! — согласился или подтвердил Митрофанов. — Ну-с?

— Он сказал Христу:

Мы тебя — и ненавидя — любим,
Мы тебе и ненавистью служим.

— Как это? — спросил Митрофанов, держа рюмку в руке на уровне рта, а когда Клим повторил, он, поставив на стол не выпитую рюмку, нахмурился, вдумываясь и мигая.

— Может быть, это — и верно, но — как-то... дерзко, — задумчиво сказала Варвара.

— Дьякон, говорите? — спросил Митрофанов. — Что же он — пьяница? Эдакие слова в пьяном виде говорят, — объяснил он, выпил водки, попросил: — Довольно, Варвара Кирилловна, не наливайте больше, напьюсь.

И снова заговорил:

— Ненависть — я не признаю. Ненавидеть — нечего, некого. Озлиться можно, на часок, другой, а ненавидеть — да, за что же? Кого? Все идет по закону естества. И — в гору идет. Мой отец бил мою мать палкой, а я, вот, ни на одну женщину не замахивался даже... хотя, может, следовало бы и ударить.

— А если это не в гору идет, под гору? — тихо спросила Варвара и заставила Самгина пошутить:

— Ты хочешь, чтоб я тебя бил?

— Невозможно представить, — воскликнул Митрофанов, смеясь, затем, дважды качнув головою направо и налево, встал: — Я, знаете, несколько того... пьян. А пьяный я — не хорош.

Он снова, но уже громко, рассмеялся и сказал, тоже очень громко:

— Пьяный я — плакать начинаю, ей-богу. Плачу и плачу, и чорт знает о чем плачу, честное слово! Ну, спасибо вам за привет и ласку...

— Славный человек, — вздохнула Варвара, когда постоялец ушел.

Уже светало; в сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда.

— Человек от людей, — сказал Клим, подходя к жене. — Вот именно: от людей, да! Но я тоже немножко опьянел.

Он обнял Варвару, подняв ее со стула, поцеловал, но она, прильнув к нему, тихонько попросила:

— Нет, ты меня не трогай, пожалуйста.

И, освободясь из его рук, схватилась за виски несколько театральным жестом.

— Голова болит?

— Нет, но... Как непонятно все, Клим, милый, — шептала она, закрыв глаза. — Как непонятно прекрасное... Ведь было потрясающе прекрасно, да? А потом он... потом мы ели поросенка, говоря о Христе...

— Девочка моя, что ты? — спросил Самгин, ласково, но уже с легкой досадой.

— Да, глупо... я знаю! Но — обидно, видишь ли. Нет, не обидно?

Она смотрела в лицо его вопросительно, жалобно, и Клим почувствовал, что она готова заплакать.

— Ты переволновалась, вот что...

— Да, я пойду, лягу, — сказала она, быстро уходя в свою комнату. Дважды щелкнул замок двери.

— Устала. Капризничает, — решил Клим, довольный, что она ушла, не успев испортить его настроения. — Она, как будто, молодеет, становится более наивной, чем была.

Подойдя к столу, он выпил рюмку портвейна и, спрятав руки за спину, посмотрел в окно, на небо, на белую звезду, уже едва заметную в голубом, на огонь фонаря у ворот дома. В памяти неотвязно звучало:

— «Христос воскресе из мертвых»...

Клим Самгин оглянулся и тихонько пропел:

— «...смертию смерть попра».

— Или — поправ? — серьезно вполголоса спросил он кого-то, затем повторил тихо, тенорком:

— «...смертию смерть поправ».

Он снова оглянулся, прислушался, в доме и на улице было тихо.

— Это, разумеется, смешно, что я пою. Но я — не трезв, вот в чем дело, — объяснял он кому-то. — Пою, потому что немножко пьян.

Ему хотелось петь громко, торжественно, как поют в церкви. И чтоб из своей комнаты вышла Варвара, одетая в светлое, точно к венцу.

— Очень глупо, а — понятно! Митрофанов пьяный — плачет, я — пою, — оправдывался он, крепко и стыдливо закрыв глаза, чтоб удержать слезы. Не открывая глаз, он пощупал спинку стула и осторожно стараясь не шуметь, сел. Теперь ему не хотелось, чтоб вышла Варвара, он

даже боялся этого, потому что слезы, все-таки, текли из-под ресниц. И, торопливо стирая их платком, Клим Самгин подумал:

«В жизни моей что-то... не так, не ладно».

Звезда уже погасла, а огонь фонаря, побледнев, еще горел, слабо освещая окно дома напротив, кисейные занавески и тени цветов за ними.

На другой день, вспомнив этот припадок лиризма и жалобу свою на жизнь, Самгин снисходительно усмехнулся. Нет, жизнь налаживалась не плохо. Варвара усердно читала стихи и прозу символистов, обложилась сочинениями по истории искусства, Самгин, понимая, что это она готовится играть роль хозяйки «салона», поучал ее:

— Нужно знать, по возможности, все, но лучше — не увлекаться ничем. «Все приходит, и все проходит, а земля остается во веки». Хотя и о земле — не верно.

Она уже предложила ему устраивать по субботам маленькие вечера для знакомых, но Клим спросил:

— А ты уверена, что каждую субботу обязательно захочешь видеть у себя чужих людей? Нет, это преждевременно.

Она не много и не решительно поспорила с ним, Самгин с удовольствием подразнил ее, но, против желания его, количество знакомых непрерывно и механически росло. Размножались люди, странствующие неустанно по чужим квартирам, томимые любопытством, жаждой новостей и какой-то непонятной тревогой.

— Вы знаете? Вы слышали? Как вы думаете? — спрашивали они друг друга и Самгина.

Говорили о том, что Россия быстро богатеет, что купечество Островского почти вымерло и уже незаметно в Москве, что возникает новый слой промышленников, не чуждых интересам культуры, искусства, политики. Самгин находил, что об этом следовало бы говорить с радостью, с чувством удовлетворения, наконец — с завистью чужой удаче, но он слышал в этих разговорах только недоброжелательство. С радостью же говорили о волнениях студентов, стачках рабочих, о том, как беднеет деревня, о бездарности чиновничества. Но это не расстраивало его. Он был совершенно согласен с Татьяной Гогиной, которая, как-то, в разгаре спора крикнула:

— А — по-моему, все мы бездельники, лентяи и... и жертвы общественного оживления. Вот кто мы!

— Это — верно, — сказал он ей. — Собственно, эти суматошные люди, не зная, куда себя девать, и создают, так называемое, общественное оживление в стенах интеллигентских квартир, в пределах Москвы, а за пределами ее тихо идет нормальная, трудовая жизнь простых людей...

— Ну, знаете, вы, кажется, тоже, — перебила его Татьяна и, после паузы, договорила с неприятной усмешкой: — Тоже неизвестно кто!

Эта девица, не очень умея говорить дерзости, говорила их всегда и всем.

Приходил Митрофанов, не спеша выпивал пять-шесть стаканов чая, безразлично кушал хлеб, бисквиты, кушал все, что можно было съесть, и вносил успокоение.

— Что, не нашли еще места? — спрашивала Варвара.

— Нет, — говорил он без печали, без досады. — Здесь трудно человеку место найти. Никуда не проникнешь. Народ здесь, как пчела, — взятки любит, хоть гривенник, а — дай! Весьма жадный народ.

И, вытирая комочком носового платка мокрые губы, философствовал:

— А — чего ради жадность? Не по сту лет живем, всем хватит. Нет, Москва жадна. Не зря ее Сибирь, хохлы и прочее население не любит. А, вот, знаете, с татарами хорошо жить. Татарин — спокойный человек, ему Коран запрещает жадничать и суетиться. Мне один человек, почти профессор, жаловался — доказывал, что Дмитрий Донской и прочие зря татарское иго низвергли, большую пользу, будто бы, татары приносили нам, как народ тихий, чистоплотный и не жадный. А Петр Великий навез немцев, евреев, — у него, даже, будто бы, министр еврей был, — и этот навозный народ испортил Москву жадностью.

Да, жизнь Клима Самгина текла не плохо, но вдруг выбилась из спокойных берегов.

Началось это в знаменитом капище Шарля Омона, человека с лозунгом.

— Всякая столишни гор-род должьна бить, как Париж, — говорил он и еще говорил:— Когда шельовек мало веселий, это он мало шельовек, не совсем готови шельовек pour a vie.

И, чтоб довоспитать русских людей для жизни, Омон создал в Москве некое подобие огромной, огненной печи и в ней допекал, дожаривал сыроватых россиян, показывая им самых красивых и самых бесстыдных женщин.

Входя в зал Омона, человек испытывал впечатление именно вошедшего в печь, полную ослепительно и жарко сверкающих огней. Множество зеркал, несчетно увеличивая огни и расплавленный жир позолоты, показывали стены идольского капища раскаленными до красна. Впечатление огненной печи еще усиливалось, если смотреть с верха, с балкона; пред ослепленными глазами открывалась продолговатая, в форме могилы, яма, а на дне ее и по бокам в ложах, освещенные пылающей игрой огня, краснели, жарились лысины мужчин, таяли, как масло, голые спины, плечи женщин, трещали ладони, аплодируя ярко освещенным и еще более голым певицам. Выла и ревела музыка на эстраде, пронзительно пели, судорожно плясали женщины всех наций.

Самгины пошли к Омону, чтоб посмотреть дебют Алины Телепневой, она недавно возвратилась из-за границы, где, выступая в Париже и Вене, увеличила свою славу дорогой и безумствующей женщины анекдотами, которые вызывали возмущение знатоков и любителей морали. До ее поездки в Европу Алина уже сделала шумную карьеру «пожирательницы сердец», ее дебюты в провинции, куда она ездила с опереточной труппой,

сопровождались двумя покушениями на самоубийство и дикими выходками богатых кутил. Вера Петровна писала Климу, что Робинзон, не задолго до смерти своей ушел из «Нашего края», поссорившись с редактором, который отказался напечатать его фельетон «О прокаженных», «грубейший фельетон, в нем этот больной и жалкий человек называл Алину «Силоамской купелью», «целебной грязью» и бог знает как».

У Омона Телепнева выступала в конце программы, разыгрывая незатейливую сцену: открывался занавес, и пред глазами «всей Москвы» являлась богато обставленная уборная артистки; но среди ее, у зеркала в три створки и в рост человека, стояла, спиною к публике, Алина в пеньюаре, широком как мантия. Вполголоса напевая, женщина поправляла прическу, делала вид, будто гримируется, затем, сбросив с плеч мантию, оставалась в пенном облаке кружев и медленно, с мечтательной улыбкой, раза два-три, проходила пред рампой. Публика молча разглядывала ее в лорнеты и бинокли; в тишине зала ныли, под сурдинку, скрипки, виолончели, гнусавили кларнеты, посвистывала флейта, пылающий огнями зал наполняла чувственная и нарочно замедленная мелодия Ланнеровского вальса, не заглушая сантиментальную французскую песенку, которую мурлыкала Алина.

Женщина умела искусно и убедительно показать, что она — у себя и не видит, не чувствует зрителей. Она смотрела в зал, как смотрят в пустоту, в даль, и ее лицо мечтающей девушки, ее большие, мягкие глаза делали почти целомудренными неприличные одежды ее. Затем она хлопала ладонями, являлись две горничные, брюнетка в красном и рыжая в голубом, они, ловко надев на нее платье, сменяли его другим, третьим, — в партере, в ложах был слышен завистливый шопот, гул восхищения. Занавес опускался, публика аплодировала сдержанно, зная, что все это только прелюдия.

Главное начиналось, когда занавес снова исчезал, и к рампе величественно подходила Алина Августовна в белом, странно легком платье, которое не скрывало ни одного движения ее тела; с красными розами в каштановых волосах и у пояса. Покачиваясь, шевеля бедрами, она начинала петь, подчеркивая отдельные фразы острых французских песенок скупыми, красивыми жестами. Когда она поднимала руки, широкие рукава взмахивались, точно крылья, и получалось странное жуткое противоречие между ее белой крылатой фигурой, наглой, вызывающей улыбкой прекрасного лица, мягким блеском ласковых глаз и бесстыдством слов, которые наивно выговаривала она.

Пела она о том, как ее обыскивал таможенный чиновник.

— Ассэ! Финиссэ! — смешливо взвизгивая, утомленно вздыхая, просила она и защищалась от дерзких прикосновений невидимых рук таможенного сдержанными жестами своих рук и судорожными движениями тела, подчиненного чувственному ритму задорной музыки. Самгин подумал, что, если б ее движения не были так сдержанны, они были бы менее бесстыдны.

В то время, как, вздрагивая, извиваясь и обессилев, тело явно уступало грубым ласкам невидимых рук, лицо ее улыбалось томной, но остренькой улыбкой, глаза сверкали вызывающе и насмешливо. Эта искусная игра повела к тому, что, когда Алина перестала петь, невидимые руки, утомившие ее, превратились в сотни реальных, живых рук, неистово аплодируя, они все жадно тянулись к ней, готовые раздеть, измять ее. Прищурив глаза, облизывая губы кончиком языка, она победоносно смотрела на раскаленных людей и кивала им головою.

— Да, это Париж, — удовлетворенно и тоном знатока сказал кто-то сзади Самгиных.

Ему ответили, вздохнув:

— Шикарна.

Самгин не аплодировал. Он был возмущен. В антракте, открыв дверь туалетной комнаты, он увидал в зеркале отражение лица и фигуры Туробоева, он хотел уйти, но Туробоев, не оборачиваясь к нему, улыбнулся в зеркало:

— Вот встреча!

Приглаживая щеткой волосы, он протянул Самгину свободную руку, потом, закручивая эспаньолку, спросил о здоровьи и швырнул щетку на подзеркальник, свалив на пол медную пепельницу, щетка упала к ногам толстого человека с желтым лицом, тот ожидающим взглядом посмотрел на Туробоева, но, ничего не дождавшись, проворчал:

— В этих случаях — извиняются.

— Не все и не всегда, — как видите, — откликнулся Туробоев, бесцеремонно и с механической улыбкой рассматривая Клима. — Как вам нравится этот кабак?

Самгин молча пожал плечами, а Туробоев брезгливо продолжал:

— Не видел ничего более безобразного, чем это... учреждение. Впрочем, — люди еще отвратительнее. Здесь, очевидно, особенный подбор людей, не правда ли? До свидания, — он снова протянул руку Самгину и сквозь зубы сказал: — Знаете, — Равашоля можно понять, а?

Этими словами он разбудил всю неприязнь Самгина к нему; Клим почувствовал, что в нем что-то лопнуло, взорвалось, и сами собою ехидно выговорились сухие слова:

— Вероятно, вы бы не сказали этого, если б здесь был кто-нибудь третий.

— Почему же не сказать? — спросил Туробоев, приподняв брови, кривая улыбочка его исчезла, а лицо потемнело: — Нет, я всегда разрешаю себе говорить так, как думаю.

— Будто бы всегда, — пробормотал Самгин, глядя в зеркало.

— Вы — не в духе? — осведомился Туробоев и, небрежно кивнув головою, ушел, а Самгин, сняв очки, протирая стекла дрожащими пальцами, все еще видел пред собою его стройную фигуру, тонкое лицо и насмешливо сожалеющий взгляд модного портного на человека, который одет не по моде.

— Нахальная морда, — кипели на языке Самгина резкие слова. — Свинья, — пришел любоваться женщиной, которую сделал кокоткой. Радикальничает, из зависти нищего к богатым, потому что разорен.

Ругаясь, он смутно понимал, что негодование его преувеличено, но чувствовал, что оно растет и мутит голову его точно угар. И теперь, сидя плечо в плечо с Варварой, он все еще думал о дворянине, о барчуке, который счел возможным одобрить поступок анархиста и отравил ему вечер. Думал и упрямо искал Туробоева в тесно набитом людьми зале.

А на сцене белая, крылатая женщина снова пела, рассказывала что-то разжигающе соблазнительное, возбуждая в зале легкие смешки и шепоток. Варвара сидела, покачнувшись вперед, вытянув шею. Самгин искоса взглянул на нее и прошептал:

— Женщины должны бы протестовать против нее.

— Почему? — сонно спросила Варвара.

— Это обучение разврату.

— Но тогда и мужчины, — так же тихо и сонно заметила Варвара и вздохнула: — Какая фигура у нее... какая сила — поразительно!

— Она бесталанна.

— Разве красота — не талант?

Самгин замолчал, чувствуя, что может сказать грубость.

Туробоева в зале он не нашел, но ему показалось, что в одной из лож гримасничает характерное лицо Лютова. А осмотр усилил раздражение Самгина, невольно заставив его согласиться, что Туробоев прав: в этом капище собрались действительно отборные люди; среди мужчин преобладали толстые, лысые, среди женщин — пожилые и более или менее жестоко оголенные. Нагих спин, плеч, рук, обтянутых красноватой и желтой кожей, было чрезвычайно много. На барьерах лож, рядом с коробками конфект, букетами цветов лежали груди, и в их обнаженности было что-то от хвастовства нищих, которые показывают уродства свои для того, чтоб разжалобить. Зеркала фантастически размножали всю эту массу жирной плоти, как бы таявшей в жарком блеске огней, тоже бесчисленно умноженных белым блеском зеркал.

Крылатая женщина в белом поет циничные песенки, соблазнительно покачивается, возбуждая, разжигая чувственность мужчин, и заметно, что женщины тоже возбуждаются, поводят плечами; кажется, что по спинам их пробегает судорога вожделения. Нельзя представить, что и как могут думать и думают ли эти отцы, матери о студентах, которых предположено отдавать в солдаты, о России, в которой кружатся, все размножаясь, люди, настроенные революционно, и потомок удельных князей одобрительно говорит о бомбе анархиста.

Размышляя об этом, Самгин на минуту почувствовал себя способным встать и крикнуть какие-то грозные слова, даже представил, как повернутся к нему десятки изумленных, испуганных лиц. Но он тотчас сообразил, что, если б голос его обладал исключительной силой, он утонул бы в диком реве этих людей, в оглушительном плеске их рук.

— Этих бесноватых следовало бы полить водою из пожарного брандспойта, — довольно громко сказал он.

Варвара, стоя, бормотала:

— Овация. Как Ермоловой. Смотри, она точно лебедь...

— Иди.

На улице густо падал снег, поглощая людей, лошадей; белый пух тотчас осыпал шапочку Варвары, плечи ее, ослепил Самгина. Кто-то сильно толкнул его.

— Пардон... это вы?

И, прижав Самгина к стене, Лютов, в расстегнутом пальто, в шапке, сдвинутой на затылок, шепнул в лицо ему:

— Министра-то, Боголепова-то — застрелили, факт!

Повысив голос, он предложил:

— Ужинаем? Кабинетик возьмем, потолкуем... Егор!

Он взмахнул рукою и точно выхватил из тучи снега лошадь, запряженную в маленькие санки, толкнул Самгина, шепнув ему:

— Карпов, попович... Егор, — к Тестову! Варвара Кирилловна, вы — на колени.

Он действовал с такой быстротой, точно похищал Варвару; Самгин, обняв его, чтоб не выскочить из саней, ошеломленно молчал. Когда выехали на простор, кучер, туго повернув шею, сказал вполголоса:

— Владимир Васильевич, полицейский рассказывал: студенты министра убили.

— Да — ну! Какого? — быстренько, с испугом спросил Лютов, толкнув Клима локтем в бок.

— Своего, будто.

— За что?

— Кто их знает!

— А — как думаешь?

— Бунтуются. Студенты, рекрута, — всегда они...

— Ну, катай скорее! Ах, черти...

— Он был старик? — спросила Варвара.

— Не очень, — весело и громко ответил Лютов.

В кабинете ресторана он, потирая руки, спросил ее:

— Стерляжью ушку? Растегаи?

И сказал иконописному старику-лакею:

— Слышал, Макарий Петров! И все прочее, как следует, честно, быстро!

Едва лакей ушел, Лютов, хлопнув Клима по плечу, заговорил вполголоса, ломая лицо свое гримасами, разбрасывая глаза во все стороны:

— Что-с, подложили свинью вам, марксистам, народники, ага! Теперь-с, будьте уверены, — молодежь пойдет за ними, да-а! Суть акта не в том, что министр, — завтра же другого сделают, как мордва идола, суть в том, что молодежь с теми будет, кто не разговаривает, а действует, да-с!

— Если революционное движение снова встанет на путь террора, — строго начал Самгин, но Лютов оборвал его речь:

— Встало. Пойдет. Прямая есть кратчайшая...

— Не забывайте о воронах...

— ...которые летают прямо и превосходно живут. Милейший! Драться — легче, ждать — трудней.

— Вы слишком громко, — предупредила Варвара, задумчиво изучая себя в зеркале.

Ошеломленный убийством министра, как фактом, который неизбежно осложнит, спутает жизнь, Самгин еще не решил, как ему нужно говорить об этом факте с Лютовым, который бесил его неестественным, почти циничным оживлением и странным, упрекающим тоном.

— Может быть, на его деньги организовано это...

И, не удержавшись, он пробормотал:

— Вы говорите об этом, как о деле, выгодном лично для вас...

Толкнув Варвару и не извинясь пред нею, Лютов подскочил к нему, открыл рот, но тотчас судорожно чмокнул губами и выговорил явно не те слова, какие хотел сказать:

— Я — гражданин моей страны, и все, что творится в ней...

Вошли лакеи с подносами посуды и закусок, он оборвал речь и подмигнул Самгину:

— Кучер-то, а? Как о... зайце! Прошу, Варвара Кирилловна...

За ужином, судорожно глотая пищу, водку, говорил почти один он. Самгина еще более расстроила нелепая его фраза о выгоде. Варвара ела нехотя, и, когда Лютов взвизгивал, она приподнимала плечи, точно боясь удара по голове. Клим чувствовал, что жена все еще сидит в ослепительном зале Омона.

— Да-с, проиграли, — повторял Лютов, как бы дразня.

— Мне кажется, что теперь, когда рабочее движение принимает массовый характер... — начал Самгин.

Лютов, оттолкнув от себя тарелку, воскликнул тихонько и сладостно:

— Ну-те-с? Ну-те, — как это?

И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки, глаза его, спрятанные в щелочках морщин, щекотали Самгина точно мухи. Этот смех заставил Варвару положить нож и вилку; низко наклонив голову, она вытирала губы так торопливо, как будто обожгла их чем-то едким, а Самгин вспомнил, что вот именно таким противным и догадливым смехом смеялся Лютов на даче, после ловли воображаемого сома.

— Чему это вы обрадовались? — спросил он сердито и вместе с этим смущенно.

— Ох, дорогой мой! — устало отдуваясь, сказал Лютов и обратился к Варваре: — Рабочее движение, говорит, а? Вы как, Варвара Кирилловна, думаете, — зачем оно ему, рабочее-то движение?

— Меня политика не интересует, — сухо ответила Варвара, поднося стакан вина ко рту.

Лютов снова закачался в припадке смеха, а Самгин почувствовал, что смех этот уже пугает его возможностью скандала, и есть в этом смехе что-то разоблачающее.

— За наше благополучие! — взвизгнул Лютов, подняв стакан, и затем сказал, иронически утешая: — Да, да, — рабочее движение возбуждает большие надежды у некоторой части интеллигенции, которая хочет... ну, я не знаю, чего она хочет! Вот господин Зубатов, тоже интеллигент, он явно хочет, чтоб рабочие дрались с хозяевами, а царя — не трогали. Это — политика! Это — марксист! Будущий вождь интеллигенции...

Варвара смотрела на него испуганно и не скрывая изумления. — Лютов вдруг опьянел, его косые глаза потеряли бойкость, он дергался, цапал пальцами вилку и не мог поймать ее. Но Самгин не верил в это внезапное опьянение, он уже не первый раз наблюдал фокусническое уменье Лютова пьянеть и трезветь. Видел он также, что этот человек в купеческом сюртуке ничем, кроме косых глаз, не напоминает Лютова студента, даже строй его речи стал иным, — он уже не пользовался церковно-славянскими словечками, не щеголял цитатами, он говорил по-московски и простонародно. Все это намекало на какую-то хитрую игру.

— Да-с, — говорил он, — пошли в дело пистолеты. Слышали вы о тройном самоубийстве в Ямбурге? Студент, курсистка и офицер. Офицер, — повторил он, подчеркнув. — Понимаю это не как роман, а как романтизм. И за ними еще студент в Симферополе тоже пулю в голову себе. На двух концах России...

Понизив голос, он продолжал:

— А некий студент Познер, Позерн, — инородец, как слышите, — из окна вагона кричит простодушно: да здравствует революция! Его — в солдаты, а он, вот, извольте! Как же гениальная власть наша должна перевести возглас этот на язык, понятный ей? Идиотская власть я, — должна она сказать сама себе и...

Варвара встала.

Самгин благодарно кивнул ей головой:

— Да, нам пора...

— В безумной стране живем, — шепнул ему на прощанье Лютов. — В безумнейшей!

Как только вышли на улицу, Варвара брезгливо заговорила:

— Боже мой, — вот человек! От него — тошнит. Эта лакейская развязность и этот смех! Как ты можешь терпеть его? Почему не отчитаешь хорошенько?

В словах ее Самгин услышал нечто чрезмерное, и не ответил ей.

Дома она снова заговорила о Лютове:

— Я не понимаю: обрадован он или испуган убийством министра?

Но, видимо, ей не очень нужно было понять это, потому что она тотчас же сказала:

— Говорят, он тратит на Алину большие деньги.

— Возможно, — пробормотал Самгин, отягченный своим думами.

Он был очень доволен, когда жена спряталась в постель и — сказав со вздохом:

— Но до чего красива Алина! — замолчала.

Самгин мог бы сравнить себя с фонарем на площади: из улиц торопливо выходят, выбегают люди; попадая в круг его света, они покричат немножко, затем исчезают, показав ему свое ничтожество. Они уже не приносят ничего нового, интересного, а только оживляют в памяти знакомое, вычитанное из книг, подслушанное в жизни. Но убийство министра было неожиданностью, смутившей его, — он, конечно, отнесся к этому факту отрицательно, однако не представлял, как он будет говорить о нем.

Еще дорогой в ресторан, он вспомнил, что Любаша недели три тому назад уехала в Петербург, и теперь, лежа в постели, думал, что она, по доброте души, может быть причастна к убийству. Такие добрые люди способны на все; они, вообще, явление загадочное и едва ли нормальное. Во всяком случае — это люди слабовольные. Вот Митрофанов — нормальный человек: не добр, не зол. Очень жаль, что он уехал куда-то в провинцию, где ему предложили место. Дядя Миша — в больнице, лечит свой тюремный ревматизм. Он и Любаша — не желательные квартиранты; странно, что Варвара не понимает этого. Вообще она понимает людей как-то своеобразно.

К Сомовой она относится не ровно; иногда почти влюбленно ухаживает за нею, помогает обшивать заключенных в тюрьмах, усердно собирает подачки для политического «Красного Креста», но, вдруг, насмешливо спрашивает:

— Вы, Любаша, всю жизнь будете играть роль сестры милосердия?

И после этого как будто даже избегает встреч с нею. Самгина не интересовали ни мотивы их дружбы, ни причины разногласий, но однажды он спросил Варвару:

— Как ты смотришь на Сомову?

Варвара ответила тотчас же, как нечто продуманное и решенное:

— Настоящая русская добрая девушка, из тех, которые и без счастья умеют жить легко.

В другой раз она сказала:

— Иногда мне кажется, что, если б она была малограмотна и не занималась общественной деятельностью, она, от доброго сердца, могла бы сделаться распутной, даже проституткой и, наверное, сочиняла бы трогательные песенки, вроде:

Любила меня мать, обожала
Свою ненаглядную дочь,
А дочь с милым другом бежала
В осеннюю, темную ночь.

Сказав это задумчиво и серьезно, Варвара спросила:

— Ведь такие песни, как эта и «Маруся отравилась», проститутки сочиняют?

— Не осведомлен, — ответил Самгин.

Затем он снова задумался о петербургском выстреле; что̀ это: единоличное выступление озлобленного человека, или народники действительно решили перейти «от слов к делу»? Он заснул с мыслью, что террор, недопустимый морально, не может иметь и практического значения, как это обнаружилось двадцать лет тому назад. И, конечно, убийство министра возмутит всех здравомыслящих людей.

Но утром, когда он вошел в кабинет патрона, — патрон встретил его оживленным восклицанием:

— Читали, батенька? Боголепова-то ухлопал какой-то юнец. Вот к чему привело нас правительство. Бездарнейшие люди! Хотите кофе? Наливайте сами.

Самгин сосредоточенно занялся кофе, это позволяло ему молчать. Патрон никогда не говорил с ним о политике, и Самгин знал, что он вообще, не обнаруживая склонности к ней, держался в стороне от либеральных адвокатов. А теперь, вот, он говорит:

— Надо признать, что этот акт является вполне естественным ответом на Иродово избиение юношества. Сдача студентов в солдаты — это уж возвращение к эпохе Николая первого...

Патрон был мощный человек лет за пятьдесят; с большою, тяжелой головой в шапке густых, вихрастых волос сивого цвета с толстыми бровями; эти брови и яркие, точно у женщины, губы, поджатые брезгливо или скептически, очень украшали его бритое лицо актера на роли героев. На скулах — тонкая сетка багровых жилок, нижние веки несколько отвисли, обнажая выпуклые, рыбьи глаза с неуловимым в них выражением. Ходил он, наклонив голову, точно бык, торжественно нося свой солидный живот, левая рука его всегда играла кистью брелоков на цепочке часов, правая привычным жестом поднималась и опускалась в воздухе, широкая ладонь плавала в нем, как небольшой лещ. Руки у него были не по фигуре длинные, а кисти их некрасиво плоски. Он славился, как человек очень деловой, любил кутнуть в «Стрельне», у «Яра», ежегодно ездил в Париж, с женою давно развелся, жил одиноко в большой, холодной квартире, где даже в ясные дни стоял пыльный сумрак, неистребимый запах сигар и сухого тления. Особенно был густ этот запах в угрюмом кабинете, где два шкафа служили как бы окнами в мир толстых книг, а настоящие окна смотрели на тесный двор, среди которого спряталась в деревьях причудливая церковка. Патрон любил цитировать стихи, часто повторял строку Надсона: «Наше поколение юности не знает», но особенно пристрастен был к пессимистической лирике Голенищева-Кутузова. Еще недавно он говорил Самгину:

— Я, батенька, человек одинокий и уже сыгравший мою игру.

А сегодня говорит, дирижируя сигарой:

— Мы, испытанные общественные работники..

И голос его струится так же фигурно, как дым сигары:

— Наш фабричный котел еще мало вместителен и долго придется ждать, когда он, переварив русского мужика в пролетария, сделает его восприимчивым к вопросам государственной важности... Вполне естественно, что ваше поколение, богатое волею к жизни, склоняется к методам активного воздействия на реакцию...

Говорил он долго, до конца сигары. Самгину казалось, что патрон хочет убедить его в чем-то, а — в чем? — нельзя было понять.

Он поехал с патроном в суд, там и адвокаты и чиновники говорили об убийстве как-то слишком просто, точно о преступлении обыкновенном, и утешительно было лишь то, что почти все сходились на одном: это — личная месть одиночки. А один из адвокатов, носивший необыкновенную фамилию Магнит, рыжий, зубастый, шумный и напоминавший Самгину неудачную карикатуру на англичанина, громко и как-то бесстыдно отчеканил:

— Как единоличный выпад — это не имеет смысла.

Через несколько дней Самгин убедился, что в Москве нет людей здравомыслящих, ибо возмущенных убийством министра он не встретил. Студенты расхаживали по улицам с видом победителей. Только в кружке Прейса к событию отнеслись тревожно; Змиев, возбужденный до дрожи в руках, кричал:

— Этот укол только взбесит щедринскую свинью.

Кричал он на Редозубова, который, сидя в углу и, как всегда, упираясь руками в колена, смотрел на него снизу вверх, пошевеливая бровями и губами, покрякивая; Берендеев тоже наскакивал на него, как бы желая проткнуть лоб Редозубова пальцем:

— Сказано: взявший меч...

— Но им же сказано: не мир, а меч, — угрожающе ответил Редозубов.

— Поступок, вызванный отчаянием, не может иметь благих последствий, — внушал ему Тарасов.

Даже всегда корректный Прейс говорил с ним тоном, в котором совершенно ясно звучало, что он, Прейс, говорит дикарю:

— Неужели для вас все еще не ясно, что террор — лечение застарелой болезни домашними средствами? Нам нужны вожди, люди высокой культуры духа, а не деревенские знахари...

Редозубов крякнул и угрюмо сказал:

— Вождей будущих гонят в рядовые солдаты, — вы понимаете, что̀ это значит? Это значит, что они революционизируют армию. Это значит, что правительство ведет страну к анархии. Вы — этого хотите?

Здесь Самгину было все знакомо, кроме защиты террора бывшим проповедником непротивления злу насилием. Да, пожалуй, здесь говорят люди здравого смысла, но Самгин чувствовал, что он в чем-то перерос их, они кружатся в словах, никуда не двигаясь и в стороне от жизни, которая становится все тревожней.

Приехала Любаша, измятая, простуженная, с покрасневшими глазами, с высокой температурой. Кашляя, чихая, она рассказывала осипшим голосом о демонстрации у Казанского собора, о том, как полиция и казаки били демонстрантов и зрителей, рассказывала с восторгом:

— Вы представьте: когда эта пьяная челядь бросилась на паперть, никто не побежал, никто! Дрались и — как еще! Милые мои, — воскликнула она, взмахнув руками, — каких людей видела я! Струве, Туган-Барановского, Михайловского видела, Якубовича...

Не угашая восторга, она рассказала, что в Петербургском университете организовалась группа студентов под лозунгом: «Университет — для науки, долой политику».

— Это тебя тоже радует? — спросил Самгин, усмехаясь.

— Представь — не огорчает, — как бы с удивлением отозвалась она. — Знаешь, как-то понятнее все становится: кто, куда, зачем.

На вопрос Клима о Боголепове она ответила:

— Ах, да... Говорят, Карповича не казнят, а пошлют на каторгу. Я была во Пскове в тот день, когда он стрелял, а когда воротилась в Петербург, об этом уже не говорили. Ой, Клим, как там живут, в Петербурге!

Ее восторг иссяк, когда она стала рассказывать о знакомых:

— Лидия изучает историю религии, а зачем ей нужно это — я не поняла. Живет монахиней, одиноко, ходит в оперу, в концерты.

Помолчав, подумав, Любаша сказала с грустью:

— Она всегда была трудная, а теперь уж и совсем нельзя понять. Говорит все не о том, как-то все рядом с тем, что интересно. Восхищается какой-то поэтессой, которая нарядилась ангелом, крылья приделала к платью и публично читала стихи: «Я хочу того, чего нет на свете». Макаров тоже восхищается, но как-то не так, и они с Лидою спорят, а — о чем? Не знаю. У Макарова, оказывается, скандал здесь был; он ассистировал своему профессору, а тот сказал о пациентке что-то игривое. Макаров, после операции, наговорил ему резкостей и отказался работать с ним.

— Какой рыцарь! — иронически фыркнула Варвара.

— Сумеречный мужчина, — сказал Клим и спросил: — У них — роман, у Макарова и Лидии?

— Ой, нет! — живо сказала Любаша. — Куда им! Они такие... мудрые. Но там была свадьба; Лида живет у Премировой, и племянница ее вышла замуж за торговца церковной утварью. Жуткий такой брак и — по Шопенгауэру: невеста — огромная, красивая такая, Валькирия; а жених — маленький, лысый, желтый, бородища, как у Варавки, глаза святого, но — крепенький такой дубок. Ему лет за сорок.

— Ты знаешь, что у Марины был роман с Кутузовым? — спросил Самгин, улыбаясь.

— Нет! — изумленно вскричала Любаша, но, когда Клим утвердительно кивнул головою, она протяжно сказала: — Какая дуреха!

Ее возмущение рассмешило Самгиных.

— Не понимаю, — чему смеетесь? — возмутилась Любаша. — Выйти замуж за торговца паникадилами... А, ну вас! — сказала она, видя, что Самгины продолжают смеяться.

Устав рассказывать, она ушла к себе. Варвара закурила папиросу, посидела, закрыв глаза, потом сказала, вздыхая:

— Как все просто у нее.

Самгин встал и, шагая по комнате, пробормотал, вспомнив слова Туробоева:

— В русских университетах не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков.

— Наш повар утверждает, что студенты бунтуют одни — от голода, а другие из дружбы к ним, — заговорила Варвара, усмехаясь. — Если б, говорит, я был министром, я бы посадил всех на казенный паек, одинаковый для богатых и бедных, — сытым нет причины бунтовать. И привел изумительное доказательство: нищие — сыты, и — не бунтуют.

— Алкоголик, — напомнил Самгин, продолжая ходить, а Варвара сказала, очень тихо:

— Знаешь, есть что-то пугающее в том, что, вот, прожил человек семьдесят лет, много видел, и все у него сложилось в какие-то дикие мысли, в глупые пословицы.

— Пословицы — не глупы, — авторитетно заявил Самгин. — Мышление афоризмами характерно для народа, — продолжал он, и — обиделся: жена не слушала его.

— Он очень не любит студентов, повар. Доказывал мне, что их надо ссылать в Сибирь, а не в солдаты. Солдатам, — говорит, — они мозги ломать станут: в бога — не верьте, царскую фамилию — не уважайте. У них, говорит, в головах шум, а они думают — ум.

Погасив недокуренную папиросу, она встала, взяла мужа под руку и пошла в ногу с ним.

— Нет, я не люблю мышления пословицами. Не люблю. Ты послушай когда-нибудь, как повар беседует с Митрофановым.

— Да, — неопределенно отозвался Клим.

— Милый Клим, — сказала она, прижимаясь к нему. — Не находишь ли ты, что жизнь становится очень... странной?

— Я нахожу, что пора спать, вот что, — сказал он. — У меня завтра куча работы.

Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философический разговор. Он не догадывался, на какую тему будет говорить Варвара, но был почти уверен, что беседа не обещает ничего приятного.

— О жизни и прочем поговорим когда-нибудь в другой раз, — обещал он и, заметив, что Варвара опечалена, прибавил, гладя плечо ее: — О жизни, друг мой, надобно говорить со свежей головой, а не после Любашиных новостей. Ты заметила, что она говорила о Струве и прочих, как верующая об угодниках божьих?

— Да, — сказала Варвара, усмехаясь, но глядя в сторону, в окно, освещенное луною.

Недели через три Самгин сидел в почтовой бричке, ее катила по дороге, размытой вешними водами, пара шершавых, рыженьких лошадей, механически, точно заводные игрушки, перебирая ногами. Ехали мимо пашен, скучно покрытых всходами озими; неплодородная тверская земля усеяна каким-то щебнем, вымытым до бела.

— Хлеба здесь рыжик одолевает, дави его леший, — сказал возница, махнув кнутом в поле. — Это — вредная растения такая, рыжик, желтеньки светочки, — объяснил он, взглянув на седока через плечо.

— Говорит со мною, как с иностранцем, — отметил Самгин.

День был воскресный, поля пустынны; лишь кое-где солидно гуляли желтоносые грачи, да по невидимым тропам между пашен, покачиваясь, двигались в разные стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц. С неба, покрытого рваной овчиной облаков, нерешительно и ненадолго выглядывало солнце, кисейные тряпочки теней развешивались на голых прутьях кустарника, на серых ветках ольхи, ползли по влажной земле. Утомленный унылым однообразием пейзажа, Самгин дремотно и расслабленно подпрыгивал в бричке, мысли из него вытрясло, лишь назойливо вспоминался чей-то невеселый рассказ о человеке, который, после неудачных попыток найти в жизни смысл, возвращается домой, а дома встречает его еще более злая бессмыслица. Маленький чемодан Самгина тоже подпрыгивал, бил по ногам, но поправить его было лень.

Въехали в рощу тонкоствольной, свинцовой ольхи, в кислый запах болота, гниющей листвы, под бричкой что-то хрястнуло, она запрокинулась назад и на бок, вытряхнув Самгина. Лошади тотчас остановились. Самгин ударился локтем и плечом о землю, вскочил на ноги, сердито закричал:

— Какого ты чорта...

Возница, мужичок средних лет, с реденькой, серой бородкой на жидком лице, не торопясь слез с козел, взглянул под задок брички и сказал, улыбаясь:

— Ось пополам, драть ее с хвоста, я тут — не при чем, господин, железо не вытерпело.

Молчаливый и унылый, как все вокруг, он оживился, поправил на голове трепаную шапку, подтянул потуже кушак и успокоил:

— Происшествия — пустяки; тут, до Тарасовки не боле полутора верст, а там кузнец дела наши поправит в тую же минуту. Вы, значит, пешечком дойдете. Н-но, уточки, — весело сказал он лошадям, попятив их.

Достал из-под облучка топор, в три удара срубил ольху и обрубая ветки ее, продолжал:

— Там кузнец, Василий Микитич, мастер, какого в Москве не сыскать, гремучего ума человек...

— Что же мне, итти?

— С богом. Я — догоню.

И хотя лошади стояли неподвижно, как бронзовые, он посоветовал им:

— Смирненько, птички!

Самгин поднял с земли ветку и пошел лукаво изогнутой между деревьев дорогой из тени в свет и снова в тень. Шел и думал, что можно было не учиться в гимназии и университете четырнадцать лет для того, чтоб ездить по избитым дорогам на скверных лошадях в неудобной бричке, с полудикими людьми на козлах. В голове, как медные пятаки в кармане пальто болтались, позванивали в такт шагам слова:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

Неужели барственный Григорович, картежный игрок Некрасов, Златовратский и другие действительно обладали каким-то странным чувством, которое казалось им любовью к народу?

Роща редела, отступая от дороги в поле, спускаясь в овраг; вдали, на холме, стало видно мельницу, растопырив крылья, она как бы преграждала путь. Самгин остановился, поджидая лошадей, прислушиваясь к шелесту веток под толчками сыроватого ветра, в шелест вливалось пение жаворонка. Когда лошади подошли, Клим увидал, что грязное колесо лежит в бричке на его чемодане.

— Али вредно сундучку? — спросил возница, в ответ на окрик Самгина, переложил колесо под облучок и сказал: — Сейчас достигнем.

Но только лишь вышли из рощи к мосту чрез овраг, он, схватив лошадей за повода, круто повернул их назад.

— Так и есть: бунтуются! Эки, черти...

И вполголоса посоветовал:

— Вы, барин, отойдите куда погуще, а то — кто знает, как они поглядят на вас? Дело — незаконное, свидетели — нежелательны.

На тревожные вопросы Клима он, не спеша, рассказал, что тарасовские мужики давно живут без хлеба, детей и стариков послали по миру.

— В кусочки, да! Хлебушка у них — ни поесть, ни посеять. Просили они на посев — не вышло, отказали им. Вот они и решили самосильно взять хлеб силою бунта, значит. Они еще в среду хотели дело это сделать, да приехал земской, напугал. К тому же и день будний, не соберешь весь-то народ, а сегодня — воскресенье.

Пока он рассказывал, Самгин присмотрелся и увидал, что по деревне двигается на околицу к запасному магазину густая толпа мужиков, баб, детей, двигается не очень шумно, а с каким-то урчащим гулом; впереди шагал небольшой, широкоплечий мужик с толстым пучком веревки на плече.

— Это — Кубасов, печник, он тут, у них, во всем — первый. Кузнецы, печники, плотники, они, все едино, как фабричные, им — плевать на законы, — вздохнув, сказал мужик, точно жалея законы. — Происшествия эта задержит вас, господин, — прибавил он, переступая с ноги

на ногу, и на жидком лице его появилась угрюмая озабоченность, все оно как-то оплыло вниз, к тряпичной шее.

До деревни было сажен полтораста, она вытянулась по течению узенькой речки, с мохнатым кустарником на берегах; Самгин хорошо видел все, что творится в ней, видел, но не понимал. Казалось ему, что толпа идет торжественно, как за крестным ходом, она даже сбита в пеструю кучу теснее, чем вокруг икон и хоругвей. Ветер лениво гнал шумок в сторону Самгина, были слышны даже отдельные голоса и особенно разрушал слитный гул чей-то пронзительный крик:

— Ирмаков! Братцы — Ирмаков отклоняется!

Через плетень на улицу перевалился человек в красной рубахе, без пояса, босой, в подсученных до колен штанах; он забежал вперед толпы и, размахивая руками, страдальчески взвизгнул:

— Ежели Ирмаков, так и я отклоняюсь!

Печник наотмашь хлестнул его связкой веревок, человечек отскочил, забежал во двор и оттуда снова раздался его истерический крик:

— Отклоняюсь... Не правильно-о!

— Приведите Ермакова, — сказал печник так слышно, как будто он был где-то очень близко от Самгина.

— Что они хотят делать? — спросил Клим.

Возница, сдвинув кнутовищем шапку на ухо и ковыряя в спутанных волосах, вздохнул:

— Да, ведь, что же им делать-то? Желают отпереть магазин, а ключа у них — нету. Ключ, в этом деле, даже и ненужная вещь, — продолжал он, глядя на деревню из-под ладони. — Ключем только одна рука может действовать, а тут требовается приложение руки всего мира. Чтобы даже и ребятишки. Детей-то — не осудите? — спросил он, заглянув в лицо Самгина вопросительно, с улыбочкой.

Самгин, не ответив, смотрел, как двое мужиков ведут под руки какого-то бородатого в длинной, ниже колен холщевой рубахе, бородатый, упираясь руками в землю, вырывался и что-то говорил, как видно было по движению его бороды, но голос его заглушался торжествующим визгом человека в красной рубахе, подскакивая, он тыкал кулаком в шею бородатого и орал:

— Отклоняиси, подлая душа-а?

— Гляди-ко ты, как разъярился человек, — с восхищением сказал возница, присев на подножку брички и снимая сапог. — Это он — правильно! Такое дело всем надобно делать, в одну душу.

Сняв сапог, развернув онучу, он испортил воздух крепким запахом пота, Самгин отодвинулся в сторону, но возница предупредил его:

— Не очень показывайтесь. А которого ведут, это — Ермаков, он тут — посторонний житель, пасека у него и рыболов. Он, видите, сектарь, малмонит, секта такая, чтобы в солдатах не служить.

Сектанта подвели к печнику, толпа примолкла, и отчетливо прозвучал голос печника:

— Ты — что же, Ермаков? Твердишь — Христос, а сам народу враг? Гляди — в омут башкой спустим, сволочь!

Шумный, красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех, бил мальчишек, орал:

— Становись, хрестьяне!

Толпа из бесформенной кучи перестроилась в клин, острый конец его уперся в стену хлебного магазина, и как раз на самом острие завертелся, точно ввертываясь в дверь, красненький мужичек. Печник обернулся лицом к растянувшейся толпе, бросил на головы ее длинную веревку и закричал, грозя кулаком:

— Все до одного берись, мать...

Мужичок тоже грозил и визжал истерически:

— Честно-о! А то — руки выломам!

Крестясь, мужики и бабы нанизывались на веревку, вытягиваясь в одну линию, пятясь назад, в улицу. Это напомнило Самгину поднятие колокола, так же, как тогда, люди благочестиво примолкли, веревка, привязанная к замку магазина, натянулась струною. Печник, перекрестясь, крикнул:

— По третьему разу — дергай!

— Эй, все ли схватились?

— Ну — р-раз!

— Глядите, чтобы Ермаков...

— К-куда, пес?

— Три!

Длинная линия людей покачнулась, веревка, дрогнув, отскочила от стены, упала, брякнув железом.

— Ну, вот и слава тебе, господи, — сказал возница, надевая сапог, подмигивая Самгину, улыбаясь: — Мы, господин, ничего этого не видели — верно? Магазея — отперта, а как, нам неизвестно. Отперта, стало быть ссуду выдают, — так ли?

Он стал оправлять сбрую на лошадях, продолжая веселеньким голосом:

— Замок, конечно, сорван, а — кто виноват? Кроме пастуха, да каких-нибудь старичков, старух, которые на печках смерти ждут, — весь мир виноват, от мала до велика. Всю деревню, с детями, с бабами, ведь, не загоните в тюрьму, господин? Вот в этом и фокус: бунтовать — бунтовали, а виноватых — нету! Ну, теперь идемте...

Отдохнувшие лошади пошли бойко; жердь, заменяя колесо, чертила землю, возница вел лошадей, покрикивая:

— Эхма, уточки, куропаточки!

Самгин шагал в стороне, нахмурясь, присматриваясь, как по деревне бегают люди с мешками в руках, кричат друг на друга, столбом стоит среди улицы бородатый сектант Ермаков. Когда вошли в деревню, возница, сорвав шапку с головы, закричал:

— Эй, Василий Митрич!

Сразу стало тише, люди, как будто, испугались, замерли на минуту глядя на лошадей и Самгина, потом осторожно начали подходить к нему

— Дали ссуду-то? — радостно спрашивал возница, а перед ним уже подпрыгивал красненький мужичок, торопливо спрашивая:

— Ты — кого привез? Ты — куда его?

К Самгину подошли двое: печник, коренастый, с каменным лицом, и черный человек, похожий на цыгана. Печник смотрел таким тяжелым, отталкивающим взглядом, что Самгин невольно поддался назад и встал за бричку. Возница и черный человек, взяв лошадей под уздцы, повели их куда-то в сторону, мужиченко подскочил к Самгину, подсучивая разорванный рукав рубахи, мотаясь, как волчок, который уже устал вертеться.

— Куда едете? В какой должности? — пугливо спрашивал он.

Печник поймал его за плечо и отшвырнул прочь, как мальчишку, а когда мужичок растянулся на земле, сказал ему:

— Отойди прочь, Иван!

Он выговорил эти три слова так, как будто они стоили ему большого усилия. Его лицо изъедено оспой, поэтому оно и было шероховатым, точно камень, из-под выщипанных бровей угрюмо смотрели синеватые глаза. Стоял он, широко раздвинув ноги, засунув большие пальцы рук за пояс, выпятив обширный живот, молча двигал челюстью, и редкая, толстоволосая борода его неприятно шевелилась. Самгин чувствовал, что этот человек не знает, что ему делать с ним, и нельзя было представить, что он сделает в следующую минуту. Подошло с десяток мужиков, все суровые, прихмуренные.

— Вы — староста? — спросил Самгин, думая, что в следующий раз он возьмет револьвер.

— Староста арестованный, — сказал один из мужиков.

Печник посмотрел на него, плюнул под ноги себе и сказал:

— Что врешь? Староста у нас захворал. В городе лежит.

Беременная баба, проходя мимо, взмахнула мешком и проворчала:

— Рады, галманы, случаю... Кончали бы скорее.

— А вам зачем старосту? — спросил печник. — Пачпорт и я могу посмотреть. Грамотный. Наказано — смотреть пачпорта у проходящих, проезжающих, — говорил он, думая явно о чем-то другом. — Вы от земства, что ли, едете?

— Я — адвокат.

— Адвокат, — повторил печник, поглядев на мужиков.

Кто-то из них проворчал:

— Стало быть: и нашим, и вашим.

— Ну, — что ж. Яишну кушать желаете? — спросил печник, подмигнув мужикам, и почти весело сказал: — Господа обязательно яишну едят.

Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку, зачерпнул ею табаку и стал приминать его пальцем. Настроенный тревожно, Самгин вдруг спросил:

— Вы чего хотите от меня?

— Мы? — удивился печник. — А — чего нам хотеть? Мы — дома. Вот, — заехал к нам, по нужде, человек, мы — глядим.

Сморщив лицо, он раскурил трубку, подвинулся ближе к Самгину и грубо сказал:

— Идите.

— Куда?

— Туда, — печник ткнул трубкой влево, на группу ветел, откуда доносились вздохи мехов, стук молотка и сиплый голос:

— Дуй, дуй...

На перекладине станка для ковки лошадей сидел возница; обняв стойку, болтая ногами, он что-то рассказывал кузнецу.

Печник подошел к нему и скомандовал:

— Подь сюда, Косарев.

Отвел его в сторону, шагов на пять, там они поговорили о чем-то, затем кузнец спросил:

— Не врешь? Перекрестись.

И пригрозил:

— Ну, гляди же!

Кузнец начал яростно работать; было что-то припадочное в его ненужной беготне от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях.

— Дуй, бей, давай углей! — сипло кричал он, повертываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста, с неясным, под копотью, лицом.

— Живее, Вася, не задерживай барина, — сказал печник, отходя прочь от кузницы.

— Злой работник, а? — спросил Косарев, подходя к Самгину. — Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был — не ходи мимо. Баба, сестра его, дурочкой родилась.

Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краюху ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукою корку и снова любовно спрятал:

— Заметно, господин, что дураков прибывает; тут, кругом, в каждой деревне два-три дуренка есть. Одни говорят: это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметой на счастье.

— Эй, Косарев, помогай! — крикнул кузнец.

Ветер нагнал множество весенних облаков, около солнца они были забавно кудрявы, точно парики вельмож XVIII века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы, сновали дети точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик, с козлиной бородой на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал:

— Черти носят...

Самгин отошел подальше от кузницы, спрашивая себя: боится он или не боится мужиков. Как будто не боялся, но чувствовал свою беззащитность и унижение пред откровенной враждебностью печника.

— Это они, конечно, потому, что я — свидетель, видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб.

Он лениво поискал: какая статья «Уложения о наказаниях» карает этот «мирской» поступок? Статьи — не нашел, да и думать о ней не хотелось, одолевали другие мысли:

— Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак...

— Готово, — с радостью объявил Косарев и усердно начал хвалить кузнеца: — Крепче новой стала ось: ну, и мастер!

А мастер, встряхнув на ладони деньги, сердито посоветовал Самгину:

— Прибавьте на бутылку казенки. Ну, вот, — езжай, Косарев!

Лошади бойко побежали, и на улице стало тише. Мужики, бабы, встречая и провожая бричку косыми взглядами, молча, нехотя кланялись Косареву, который, размахивая кнутом, весело выкрикивал имена знакомых, поощрял лошадей:

— Эх, птички-и!

Но, выехав за околицу, обернулся к седоку и сказал:

— Сволочь народ!

Это было так неожиданно, что Самгин не сразу спросил:

— Почему?

— Да как же, — обиженно заговорил Косарев. — Али это порядок: хлеб воровать? Нет, господин, я своевольства не признаю. Конечно: и есть надо, и сеять пора. Ну, все-таки: начальство-то знает что-нибудь, али — не знает?

Он погрозил кнутом в даль, в синеватый сумрак вечера и продолжал вдохновенно:

— Ежели вы докладать будете про этот грабеж, так самый главный у них — печник. Потом этот, в красной рубахе, Мишка Вавилов, ну, и кузнец тоже. Мосеевы братья... Вам бы, для памяти, записать фамилии ихние, — как думаете?

— Перестань, — строго сказал Самгин. — Меня это не касается.

Он рассердился, но не находил достаточно веских слов, чтоб устыдить возницу.

— Разве тебе не стыдно доносить на своих?

— Да я — не здешний...

— Все равно. Это — не хорошо.

— Уж чего хорошего, — согласился Косарев. — Али это — жизнь?

— Удивляюсь я, — продолжал Самгин, но возница прервал его:

— Еще бы не удивиться! Я сам, как увидал чего они делают, — испугался.

— Довольно! — крикнул Самгин.

— Как желаете, — сказал Косарев, вздохнув, уселся на облучке покрепче и, размахивая кнутом над крупами лошадей, жалобно прибавил: — Вы сами видели, господин, я тут посторонний человек. Но, но,

яростные! — крикнул он и, помолчав минуту, сообщил: — Ночью — дождик будет, — и как черепаха спрятал голову в плечи.

— Народ, — возмущенно думал Самгин. — Бунтовщики, — иронически думал он, но думалось неохотно и только словами; а возмущение, ирония, вспыхнув, исчезали так же быстро, как отблески молний на горизонте. Там, на востоке, поднимались тяжко синие тучи, отемняя серую полосу дороги, и когда лошади пробегали мимо одиноких деревьев, казалось, что с голых веток сыплется темная пыль. Синеватая скука холодного вечера настраивала Самгина лирически и жалобно. Жалко было себя, человека, который не хотел бы, но принужден видеть и слышать неприятное и непонятное. Зачем ему эти поля, мужики и вообще все то, что возбуждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает сознание внутренней свободы и права жить по своим законам, теряется ощущение своей самости, оригинальности и думаешь как бы тенями чужих мыслей? Почему на нем лежит обязанность быть умником, все знать, обо всем говорить, служить Эоловой арфой, — кому служить?

Но тут он почувствовал, что это именно чужие мысли подвели его к противоречию, и тотчас же напомнил себе, что стремление быть на виду, показывать себя большим человеком — вполне естественное стремление, и — не будь его — жизнь потеряла бы смысл.

«Я изобразил себя себе орудием чьей-то чужой воли», — подумал он.

Лошади подбежали к вокзалу маленькой станции. Косарев, получив на чай, быстро погнал их куда-то во тьму, в мелкий почти бесшумный дождь, и через десяток минут Самгин раздевался в пустом купэ второго класса, посматривая в окно, где сквозь мокрую тьму летели злые огни, освещая на минуту черные кучи деревьев и крыши изб, похожие на крышки огромных гробов. Проплыла стена фабрики, десятки красных окон оскалились, точно зубы, и показалось, что от них в шум поезда вторгается лязгающий звук.

Самгин лег, но от усталости не спалось; а через две остановки в купэ шумно влез большой человек, приказал проводнику зажечь огонь, посмотрел на Самгина и закричал:

— Ба, это вы? Куда? Откуда? Не узнаете? Ипполит Стратонов.

Расстегиваясь, пошатывая вагон, он заговорил с Климом, как с человеком, с которым хотел бы поссориться:

— Слышали? Какой-то идиот стрелял в Победоносцева, с улицы, в окно, чорт его побери! Как это вам нравится, а?

Он был выпивши, наклоняясь, чтоб снять ботинки, он почти боднул головою бок Самгина. Клим поднялся, отодвигаясь в угол, к двери.

— Недоучки, пошехонцы, — бормотал Стратонов.

Сюртук студента, делавший его похожим на офицера, должно быть мешал ему расти, и теперь, в «цивильном» костюме, Стратонов необыкновенно увеличился по всем измерениям, стал еще длиннее, шире в плечах и бедрах, усатое лицо округлилось, даже глаза и рот стали, как будто,

больше. Он подавлял Самгина своим объемом, голосом, неуклюжими движениями циркового борца, и почти не верилось, что этот человек был студентом.

— Уже один раз испортили игру, дураки, — говорил он, отпирая замок обшитой кожею корзины. — Если б не это чортово первое марта, мы бы теперь держали Европу за рога...

Говорил он не озлобленно, а как человек, хотя и рассерженный, но хорошо знающий, как надобно исправлять чужие ошибки, и готовый немедля взяться за это. В полосатой фуфайке жокея, в каких-то необыкновенного цвета широких кальсонах, он доставал из корзины свертки и, наклонив кудлатую голову, предлагал Самгину:

— Ну-те-ко, давайте, закусим на сон грядущий. Я без этого — не могу, привычка. Я, знаете, четверо суток провел с дамой купеческого сословия, вдовой и за тридцать лет, — сами вообразите, что это значит! Так и то, ночами, среди сладостных трудов любви, нет-нет, да и скушаю чего-нибудь. Извины, говорю, машер...

Самгин был голоден и находил, что лучше есть, чем говорить с полупьяным человеком. Стратонов налил из черной бутылки в серебряную стопку какой-то сильно пахучей жидкости.

— Проглотите-ко. Весьма забавная штука.

Клим выпил, задохнулся и, открыв рот, сердито зашипел:

— Что — яд? У моей дамы старичок буфетчик есть, такой, я вам скажу, Менделеев!.. Гуся возьмите.

Дождь вдруг перестал мыть окно, в небо золотым мячом выкатилась луна: огни станций и фабрик стали скромнее, побледнели, стекло окна казалось обрызганным каплями ртути. По земле скользили избы деревень, точно барки по реке.

— Твэна — любите? А — Джерома? Да, никто не может возбудить такой здоровый смех, как эти двое, — говорил Стратонов, усердно кушая. Затем, вытирая руки салфеткой, сокрушенно вздохнул: У людей — Твэн, а у нас — Чехов. Недавно мне рекомендовали: прочитайте «Унтера Пришибеева» — очень смешно. Читаю — вовсе не смешно, а очень грустно. И нельзя понять: как же относится автор к человеку, которого осмеивают за то, что он любит порядок? Давайте-ко, выпьем еще.

Ядовитую настойку Стратонов пил бесстрашно, как лимонад. Выпив, он продолжал, собирая не съеденную пищу в корзину:

— Вообще в России, кроме социалистов, — ничего смешного нет. Юмористика у нас — глупая; полячек или еврейчик, стреляющий с улицы в окно обер-прокурора Святейшего синода, — вот. Пистолетишко, наверное, был плохонький.

Через несколько минут он растянулся на диване и замолчал; одеяло на груди его волнообразно поднималось и опускалось, как земля за окном. Окно то срезало верхушки деревьев, то резало деревья под корень; взмахивая ветвями, они бежали прочь. Самгин смотрел на крупный, вздерну-

тый нос, на обнаженные зубы Стратонова и представлял его в деревне Тарасовке, пред толпой мужиков. Не поздоровилось бы печнику при встрече с таким барином...

Клим считал Стратонова самонадеянным, не умным, но теперь ему вдруг захотелось украсить этого человека какими-то достоинствами, и через некоторое время он наделил его энергией Варавки, национальным чувством Козлова и оптимизмом Митрофанова, — получилась очень внушительная фигура.

— Может быть, вот такие люди и нужны России.

Он вспомнил успокоительные слова Митрофанова по поводу студенческих волнений.

— Ничего. Это — кожа зудит, а внутренность у нас здоровая. Возьмите, например, гречневую кашу: когда она варится, кипит, — легкое зерно всплывает к верху, а потом из него образуется эдакая вкусная корочка, с хрустом. Так? Но, ведь, сыты мы не корочкой, а кашей...

Засыпая, Самгин думал:

«Да, России нужны здоровые люди, оптимисты, а не «желчевники», как говорил Герцен. Щедрин и Успенский — вот кто, больше других, испортили характер интеллигенции.

Но поутру Стратонов разочаровал Клима; он проснулся первый, разбудил его своей возней и предложил кофе.

— У меня термос, сейчас проводник принесет стаканы, — говорил он, любовно надевая новенькие светлые брюки.

Клим спросил:

— Вы, кажется, перестали бывать у Прейса?

— Нет, иногда захожу, — неохотно ответил Стратонов. — Но, знаете, скучновато. И, между нами, — «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», это так! Но дальше я не согласен. Или вы стоите на пути грешных, в целях преградить им путь, или вы идете в ногу с ними. Вот-с. Прейс — умница, — продолжал он, наморщив нос, — умница и очень знающий человек, но стадо, пасомое им, — это все разговорщики, пустой народ.

Тщательно вытирая салфеткой стаканы, он заговорил с великим воодушевлением:

— История, дорогой мой, поставила пред нами задачу: выйти на берег Тихого океана, сначала — через Манчжурию, затем, наверняка, через Персидский залив. Да, да, — вы не улыбайтесь. И то, и другое — необходимо, так же, как необходимо открыть Черное море. И с этим надобно торопиться, потому что...

Вагон сильно тряхнуло. Стратонов плеснул кофе из термоса на колени себе, на светло-серые брюки, вспыхнул и четко выругался математическими словами.

— Вот скандал, — сокрушенно вздохнул он, пробуя стереть платком рыжие пятна с брюк. Кофе из стакана он выплеснул в плевательницу, а термос сунул в корзину, забыв о том, что предложил кофе Самгину.

— А — революция? — спросил Клим.

Снимая брюки, Стратонов проворчал:

— Ну, какая, там, революция? Мальчишки стреляют из пис

— Мальчишки или нет, но они организовали две партии, ваших взглядов...

Вывернув брюки наизнанку, Стратонов тщательно сложил с полки тяжелый чемодан, затем, надув щеки, сердито глядя на С вытянул руку ладонью вверх и сильно дунул на ладонь:

— Вот ваши партии. Пыль — ваши партии.

И, вынув из чемодана другие брюки, рассматривая их, бормотал:

— Россия вступила на путь мировой политики, а вы — с летах. Смешно...

Самгин замолчал. Стратонов опрокинул себя в его глаз глупым жестом и огорчением по поводу брюк. Выходя из вагона, стился со Стратоновым пренебрежительно, а, сидя в пролетке из думал с презрением:

«Бык. Идиот. На что же ты годишься в борьбе против которые, стремясь к своим целям, способны жертвовать св жизнью?»

Эта, слишком определенная, мысль смутила Самгина; мысли тона, являясь внезапно, заставляли его протестовать против них.

«Разумеется, я вовсе не желаю победы таким быкам», — он и решил вычеркнуть из своей памяти эту неприятную встречу, тался вычеркивать многое, чему не находил удобного места в хра своих впечатлений.

Он видел, что «общественное движение» возрастает; люд будто, готовились к парадному смотру, ждали, что скоро чей-то голос позовет их на Красную площадь к монументу бр героев Минина и Пожарского, позовет и с Лобного места спросит всех о символе веры. Все горячее спорили, все чаще с вопрос:

— Как вы думаете?

Гусаров сбрил бородку, оставив сердитые черные усы и стал на армянина. Он снял крахмаленную рубашку, надел суконную ротку, сапоги до колена, заменил шляпу фуражкой, и это сделало е веком, который сразу, издали, бросался в глаза. Он уже не пропо необходимости слияния партий, социал-демократов называл — «с социалистов-революционеров — «серыми», очень гордился своей вы и говорил:

— Седые должны взяться за пропаганду действием; нужен ный террор, нужно бить хозяев, директоров, мастеров. Если седые это, тогда серым — каюк.

— Болтун, — сказала о нем Любаша. — Говорит, что у н рокие связи среди рабочих, а никому не передает их. Теперь мно

стаются связями с рабочими, но это очень похоже на охотничьи рассказы. А, вот, господин Зубатов имеет основание хвастаться...

Любаша становилась все более озабоченной, грубоватой, она похудела, раздраженно заикалась, не договаривая фраз, и однажды, при Варваре, с удивлением, с гневом крикнула Самгину:

— Ты, Клим, глупеешь, честное слово! Ты говоришь так путано, что я ничего не понимаю.

— У тебя вредная привычка понимать слишком упрощенно, — сказал Клим первое, что пришло в голову.

Любаша часто получала длинные письма от Кутузова; Самгин называл их «апостольскими посланиями». Получая эти письма, Сомова чувствовала себя именинницей, и все понимали, что эти листочки тонкой почтовой бумаги, плотно исписанные мелким четким почерком, — самое дорогое и радостное в жизни этой девушки. Самгин с трудом верил, что именно Кутузов тяжелой рукой своей мог нанизать строчки маленьких острых букв.

«Мир тяжко болен, и совершенно ясно, что сладенькой микстурой гуманизма либералов его нельзя вылечить, — писал Кутузов. — Требуется хирургическое вмешательство, необходимо вскрыть назревшие нарывы, вырезать гнилые опухоли».

— Правильно, — соглашался Алексей Гогин, прищурив глаз, почесывая ногтем мизинца бровь. — И раньше он писал хорошо... как это? О шиле и мешке.

Любаша с явной гордостью цитировала по памяти:

«Как бы хитроумно ни сшивались народниками мешки красивеньких словечек, — классовое шило невозможно утаить в них».

— Ха-арошая голова у Степана, — похвалил Гогин, а сестра его сказала, отрицательно качая головой:

— Я — не поклонница людей такого типа. Люди, которых понимаешь сразу, люди без остатка — не интересны. Человек должен вмещать в себе, но возможности, все, плюс — еще нечто.

Принято было не обращать внимания на ее словесные капризы, только Любаша, изредка, дразнила ее:

— Это, Танечка, у декадентов украдено.

Татьяна возражала:

— Декаденты — тоже революционеры.

Самгин, выслушав все мнения, выбирал удобную минуту и говорил:

— Нам необходимы такие люди, каков Кутузов, люди замкнутые в одной идее, пусть даже несколько уродливо ограниченные ею, ослепленные своей верою...

— Зачем это? — спросила Татьяна, недоверчиво глядя на него.

— Затем, чтоб избавить нас от всевозможных лишних людей, от любителей словесного романтизма, от нашей склонности ко всяческим ересям и модам, от умственной распущенности...

Он выработал манеру говорить без интонаций, говорил, как бы цитируя серьезную книгу, и был уверен, что эта манера, придавая его словам солидность, хорошо скрывает их двусмысленность. Но от размышлений он воздерживался, предпочитая им «факты». Он тоже читал вслух письма брата, всегда унылые:

«Здесь живут все еще так, как жили во времена Гоголя; кажется, что 95 процентов жителей — «мертвые души», и так жутко мертвые, что и не хочется видеть их ожившими»... «В гимназии введено обучение военному строю, обучают офицера местного гарнизона, и, представь, многие гимназисты искренно увлекаются этой вредной игрой. Недавно один офицер уличен в том, что водил мальчиков в публичные дома».

Иван Дронов написал Самгину письмо с просьбой найти ему работу в московских газетах. Самгин затеял переписку с ним, и Дронов тоже обогащал его фактами:

«Один из студентов, возвращенных из Сибири, устроил здесь какие-то идиотские радения с гимназистками: гасил в комнате огонь, заставлял капать воду из умывальника в медный таз и, под равномерное падение капель в темноте, читал девицам эротические и мистические стишки. Этим он доводил девчонок до истерики, а недавно оказалось, что одна из них, четырнадцати лет, беременна».

Фактами такого рода Иван Дронов был богат, как еж иглами; он сообщал, кто из студентов подал просьбу о возвращении в университет, кто и почему пьянствует, он знал все плохое и пошлое, что делали люди, и охотно обогащал Самгина своим «знанием жизни». Клим рассказывал гостям впечатления своих поездок и не без удовольствия видел, что рассказы эти заставляют людей печально молчать. Это было его маленьким возмездием людям за то, что они не таковы, какими он хотел бы видеть их. Он давно уже, — и предусмотрительно, — заявил, что понимает: факты его несколько однообразно мрачны, но он затеял писать бытовые очерки «На границе двух веков».

— Я намерен показать процесс разрушения всяческих «устоев» и «традиций» накануне эпохи всяческих мятежей, — сказал он тоном хладнокровного ученого-социолога.

Но вообще он был доволен своим местом среди людей, уже привык вращаться в определенной атмосфере, вжился в нее, хорошо, — как ему казалось, — понимал все «системы фраз», и был уверен, что уже не встретит в жизни своей еще одного Бориса Варавку, который заставит его играть унизительные роли.

Незаметно для него Варвара все расширяла круг знакомств, обнаруживая неутомимую жажду «новых» людей. Около нее вертелись юноши и девицы, или равнодушные к «политике», «принципам», «традициям», или говорившие обо всем этом с иронией и скептицизмом стариков. Они воскрешали в памяти Самгина забытые им речи Серафимы Нехаевой о любви и смерти, о космосе, о Верлене, пьесах Ибсена, открывали Эдгара Поэ и Достоевского, восхищались «Паном» Гамсуна, утверждали за собою

право свободно отдаваться зову всех желаний, капризной игре всех чувств. Самгин не отказывал себе в удовольствии стравливать индивидуалистов с социалистами, осторожно подчеркивая непримиримость их противоречий.

Он видел, что Варвара особенно отличает Нифонта Кумова, высокого юношу, с головой, некрасиво удлиненной к затылку, и узким, большеносым лицом в темненьком пухе бороды и усов. Издали длинная и тощая фигура Кумова казалась комически заносчивой, — так смешно было вздернуто его лицо, но вблизи становилось понятно, что он «задирает нос» только потому, что широкий его затылок, должно быть, неестественно тяжел: Кумов был скромен, застенчив, говорил глуховатым баском, немножко шепеляво и всегда говорил стоя; даже произнося коротенькие фразы, он привставал со стула, точно школьник. Темное лицо его освещали серые глаза, очень мягкие и круглые, точно у птицы.

Он был сыном уфимского скотопромышленника, учился в гимназии, при переходе в седьмой класс был арестован, сидел несколько месяцев в тюрьме, отец его в это время помер, Кумов прожил некоторое время в Уфе под надзором полиции, затем, вытесненный из дома мачехой, пошел бродить по России, побывал на Урале, на Кавказе, жил у духоборов, хотел переселиться с ними в Канаду, но на острове Крите заболел, и его возвратили в Одессу. С юга пешком добрался до Москвы и здесь осел, решив:

— Поучиться чему-нибудь!

Самгину что-то понравилось в этом тихом человеке, он предложил ему работу письмоводителя у себя, и ежедневно Кумов скрипел пером в маленькой комнатке рядом с уборной, а вечерами таинственно и тихо рассказывал:

— Надо различать: — дух. — Он поднимал тонкую, бессильную руку на уровень головы. — И — душа. — Рука его мягко опускалась на колено. — Помните — Христос-то: «В руце твоя предаю дух мой», — а не душу. И — затем: «Духа не угашайте».— Дух разумом практическим не соблазняется, а душа — соблазнена. И все наши сектанты, как я вижу их, живут не духом, а — душой. И духоборы тоже: замкнули дух в душе. Народ вообще живет не духом, это — не верно мыслится о нем. Народ — сила душевная, разумная, практическая, — жесточайшая сила и, вся,— от интересов земли. Духом живет интеллигенция, потому она и числится непрактической. На Кубани субботники поют: «Града Сионска взыщем, в нем же душею исцелимся», а сами — богатые, жадные. То же и духоборы: будто бы за дух, за свободу его борются, а поехали туда, где лучше. Интеллигенция идет туда, где хуже, труднее.

Самгин слушал, улыбаясь и не находя нужным возражать Кумову. Он — пробовал и убедился, что это бесполезно: выслушав его доводы, Кумов продолжал говорить свое, как человек, несокрушимо верующий, что его истина — единственная. Он не сердился, не обижался, но иногда слова так опьяняли его, что он начинал говорить как-то судорожно и

уже совершенно непонятно; указывая рукой в окно, привстав, он говорил с восторгом, похожим на страх:

— Тело. Плоть. Воодушевлена, но — не одухотворена — вот. Учение богомилов — знаете? Бог дал форму, сатана — душу. Страшно верно! Вот почему в народе — нет духа. Дух создается избранными.

— Что же, нравится тебе эта философия? — спрашивал Самгин жену; его удивляло и смешило внимание, с которым она слушала Кумова.

— Он — славный, — уклончиво ответила Варвара. — Такой наивный.

Изредка появлялся Диомидов; его визиты подчинялись закону некой периодичности; он, как будто, медленно ходил по обширному кругу и в одной из точек окружности натыкался на квартиру Самгиных. Вел он себя так, как будто оказывал великое одолжение хозяевам тем, что, вот, пришел.

— Ну, как вы живете? — снисходительно спрашивал он. — Все еще стараетесь загнать всех людей в один угол?

Он усмехался с ироническим сожалением. В нем явилось нечто важное и самодовольное; ходил он медленно, выгибая грудь, как солдат, снова отрастил волосы до плеч, но завивались они у него уже только на концах, а со щек и подбородка опускались тяжело и прямо, как нитки деревенской пряжи. В пустынных глазах его сгустилось нечто гордое, и они стали менее прозрачны.

Всезнающая Любаша рассказала, что у Диомидова большой круг учеников из мелких торговцев, приказчиков, мастеровых, есть много женщин и девиц швеек, кухарок и что полиция смотрит на проповедь Диомидова очень благосклонно. Она относилась к Диомидову почти озлобленно; он платил ей пренебрежительными усмешками.

— Это — ваши книги читать? — спрашивал он. — Мелко написаны для меня.

Но возражал он ей редко, а чаще делал так: пристально глядя в лицо ее, шаркал ногою по полу, как бы растирая что-то.

Когда Алексей Гогин сказал при нем Кумову, что пред интеллигенцией два пути: покорная служба капиталу или полное слияние с рабочим классом, Диомидов громко и резко заметил:

— Это есть — заблуждение: пред человеком только один путь — от самого себя — к богу, а все другое для него не путь, а путаница.

Приятели Варвары шумно восхищались мудростью Диомидова, а Самгину показалось, что между бывшим бутафором и Кумовым есть что-то родственное, и он стравил их на спор. Но — он ошибся. Кумов спорить не стал: тихонько изложив свою теорию непримиримости души и духа, он молча и терпеливо выслушал сердитые окрики Диомидова.

— Не верно это, выдумка. Никакого духа нету, кроме души. «Душе моя, душе моя — что спиши? Конец приближается». Вот что надобно понять: конец приближается человеку от жизненной тесноты. И это вы,

молодой человек, напрасно интеллигентам поклоняетесь, — они, вот, начали людей в партии сбивать, новое солдатство строят.

Сильно разгневанный, Диомидов ушел, ни с кем не простясь, а Любаша, тоже очень сердитая, спросила Кумова: почему он молчал в ответ Диомидову?

— Я с эдаким — не могу, — виновато сказал Кумов, привстав на ноги, затем сел, подумал и, улыбаясь, снова встал: — Я — не умею с такими. Это, знаете, такие люди... очень смешные. Они — мстители, им хочется отомстить...

— Ну, милейший, вы, кажется, бредите, — сказала Сомова, махнув на него рукою.

— Нет, уверяю вас, — это так, честное слово! — несколько более оживленно и все еще виновато улыбаясь, говорил Кумов. — Я очень много видел таких; один духобор — хороший человек был, но ему сшили тесные сапоги, и, знаете, он так злился на всех, когда надевал сапоги, — вы не смейтесь. Это очень... даже страшно, что из-за плохих сапог человеку все делается ненавистно.

Самгин тоже засмеялся, но жена нетерпеливо сказала ему:

— Перестань, пожалуйста...

— Серьезно, — продолжал Кумов, опираясь руками о спинку стула. — Мой товарищ, беглый кадет кавалерийской школы в Елизаветграде, тоже, знаете... Его кто-то укусил в шею, шея распухла, и тогда он просто ужасно повел себя со мною, а мы были друзьями. Вот это — мстить за себя, например, за то, что бородавка на щеке, или за то, что — глуп, вообще за себя, за какой-нибудь свой недостаток; это очень распространено, уверяю вас.

— А за что, по-вашему, мстит Диомидов? — спросил Клим вполне серьезно.

— Я, ведь, его не знаю, я по словам вижу, что он из таких, — ответил Кумов и сел.

Самгин держал письмоводителя в почтительном отдалении, лишь изредка снисходя до бесед с ним; Кумов был рассеян и вообще плохой работник. Самгин опасался, что письмоводитель, заметив демократическое отношение к нему патрона, будет работать еще хуже. Он считал Кумова человеком по природе недалеким и забитым обилием впечатлений, непосильных его разуму. Но слова о мстителях неприятно удивили Самгина, и, подумав, что письмоводитель вовсе не так наивен, каким он кажется, он стал присматриваться к нему более внимательно, уже с неприязнью.

Как-то вечером, гуляя с женою, Самгин встретил Макарова и позвал его к себе на чай. Макаров еще более поседел, виски стали почти белыми, и сильнее выцвели темные клочья волос на голове. Это сделало его двуцветные волосы более естественными. Карие глаза стали задумчивее, мягче, и хотя он не казался постаревшим, но явилось в нем что-то печальное. Он все топтался на одном месте, говорил о француженках, которые отказываются родить детей, о Zweikindersystem в Германии, о неомальтузиан-

стве среди немецких социал-демократов; все это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает.

— Женщины не хотят родить детей для контор и машин.

Говорил он не воодушевленно, как бы отчитываясь пред Самгиными в своих наблюдениях.

Клим пошутил:

— Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?

— Нет, — взгляни серьезно, — начал Макаров, но, не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька.

— Консервативен, точно мужик, — отметил Самгин.

— В самом деле, — продолжал Макаров, — класс, экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей, но тогда — зачем же ему власть? Рабочие воздерживаются от деторождения, чтоб не голодать, ну, а эти? Это — не моя мысль, а Туробоева...

Самгин усмехнулся.

— Вот как! Что он делает?

— Он? Брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости.

Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно:

— Лидия Тимофеевна, за что-то рассердясь на него, спросила: почему вы не застрелитесь? Он ответил: не хочу, чтобы обо мне писали в «Биржевых ведомостях».

Самгин стал расспрашивать о Лидии. Варвара, все время сидевшая молча, встала и ушла,— она сделала это как будто демонстративно. О Лидии Макаров говорил не интересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился.

— Завтра возвращаюсь в Петербург, а весною переееду в Казань, должно быть, а может быть в Томск, — сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности.

— Ты что же это убежала? — спросил Самгин жену.

— Не выношу Макарова, — раздраженно ответила она. — Какой-то принципиальный евнух.

— Ого! — воскликнул Самгин шутливо, а она продолжала, наливая чай в свою чашку:

— Хотя не верю, чтоб человек с такой рожей и фигурой... отнимал себя от женщины из философических соображений, а не из простой боязни быть отцом... И эти его сожаления, что женщины не родят...

— Ты забыла... — начал Самгин, улыбаясь, но во-время замолчал; жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели.

— Ну, что же? — спросила она, покусывая губы. — Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?

— Ничего подобного, — решительно сказал он. — С чего ты взяла?

— А что же ты хотел сказать?

стве среди немецких социал-демократов; все это он считал признаком, что в странах высокой технической культуры инстинкт материнства исчезает.

— Женщины не хотят родить детей для контор и машин.

Говорил он не воодушевленно, как бы отчитываясь пред Самгиными в своих наблюдениях.

Клим пошутил:

— Гинеколог обеспокоен уменьшением практики?

— Нет, — взгляни серьезно, — начал Макаров, но, не кончив, зажег спичку, подождав, пока она хорошо разгорелась, погасил ее и стал осторожно закуривать папиросу от уголька.

— Консервативен, точно мужик, — отметил Самгин.

— В самом деле, — продолжал Макаров, — класс, экономически обеспеченный, даже, пожалуй, командующий, не хочет иметь детей, но тогда — зачем же ему власть? Рабочие воздерживаются от деторождения, чтоб не голодать, ну, а эти? Это — не моя мысль, а Туробоева...

Самгин усмехнулся.

— Вот как! Что он делает?

— Он? Брезгует. Он, на мой взгляд, совершенно парализован чувством брезгливости.

Взглянув на Варвару, Макаров помолчал несколько секунд, потом сказал очень спокойно:

— Лидия Тимофеевна, за что-то рассердясь на него, спросила: почему вы не застрелитесь? Он ответил: не хочу, чтобы обо мне писали в «Биржевых ведомостях».

Самгин стал расспрашивать о Лидии. Варвара, все время сидевшая молча, встала и ушла,— она сделала это как будто демонстративно. О Лидии Макаров говорил не интересно и, не сказав ничего нового для Самгина, простился.

— Завтра возвращаюсь в Петербург, а весною перееду в Казань, должно быть, а может быть в Томск, — сказал он, уходя и оставив по себе впечатление вялости, отчужденности.

— Ты что же это убежала? — спросил Самгин жену.

— Не выношу Макарова, — раздраженно ответила она. — Какой-то принципиальный евнух.

— Ого! — воскликнул Самгин шутливо, а она продолжала, наливая чай в свою чашку:

— Хотя не верю, чтоб человек с такой рожей и фигурой... отнимал себя от женщины из философических соображений, а не из простой боязни быть отцом... И эти его сожаления, что женщины не родят...

— Ты забыла... — начал Самгин, улыбаясь, но во-время замолчал; жена откинулась на спинку стула, глаза ее густо позеленели.

— Ну, что же? — спросила она, покусывая губы. — Ты хотел напомнить мне о выкидыше, да?

— Ничего подобного, — решительно сказал он. — С чего ты взяла?

— А что же ты хотел сказать?

— Напомнить, что деторождение среди обеспеченных классов дейтельно понижается, и — это признак плохой...

Он говорил докторально и до поры, пока Варвара не прервала его:

— Ну, извини. Мне показалось.

Самгин подумал, что извинилась она небрежно, и лучше бы ей не зть этого. Он давно уже заметил, что Варвара нервничает, но у него было желания спросить: что с нею? Он заботился только о том, чтоб раздражать ее, и, когда видел жену в дурном настроении, уходил от считая, что так всего лучше избежать возможных неприятных бесед цен. Она стала много курить, но он быстро примирился с этим, даже ел, что папироса в зубах украшает Варвару, а затем он и сам начал ить. В общем, — все-таки жилось не плохо, но после нового года донее, привычное как-то вдруг отскочило в сторону.

О Сергее Зубатове говорили давно и не мало; в начале — пренекительно, шутливо, затем все более серьезно, потом Самгин стал чать, что успехи работы охранника среди фабричных сильно смущают ал-демократов и как будто немножко радуют народников. Суслов, лампа вновь зажглась в окне мезонина, говорил, усмехаясь, пожимая ами:

— Зубатовщина — естественный результат пропаганды марксистов.

Любаша, рассказывая о том, как легко рабочие шли в «Общество много вспомоществования», гневно фыркала, безжалостно дергала за косу, изумлялась:

— Если б ткачи, но — ведь — металлисты идут на эту приманку, майте!

Ее не мог успокоить даже Кутузов, который писал ей:

«Опыт этого химика поставлен дерзко, но обречен на неудачу, почто закон химического сродства даже и полиция не может обойти. же совершится чудо, и жандармерия, инфантерия, кавалерия встанут орону эксплоатируемых против эксплоататоров, то — чего же лучше? удес не бывает ни туда, ни сюда, ошибки же возможны во все стороны».

— Вот уж не понимаю, как он может шутить, — огорченно неудоала Любаша.

Алексей Гогин тоже пробовал шутить, но как-то неудачно, по обяюсти веселого человека; его сестра, преподававшая в воскресной е, нервничая, рассказывала:

— Из семнадцати моих учеников только двое понимают, что Зу- — жулик.

И все уныло нахмурились, когда стало известно, что в день «освозния крестьян» рабочие пойдут в Кремль, к памятнику Освободителя. Пошли они не 19 февраля, а через три дня, в воскресенье, день был ий, почти мартовский, но не решительный, по Красной площади круя сыроватый ветер, угрожая снежной вьюгой, быстро и низко летели земль из-за Москва-реки облака, гудел колокольный звон. Двумя и на площадь вливалась темная, мохнатая толпа, подкатываясь к

стене Кремля, к Спасским и Никольским воротам. Шли рабочие не спеша, даже как бы лениво, шли не шумно, но и не торжественно. Говорили мало, не полными голосами, ворчливо, и говор не давал того слитного шума, который всегда сопутствует движению массы людей. Очень многие простуженно кашляли, и тяжелое шарканье тысяч ног по измятому снегу странно напоминало звук отхаркивания, влажный хрип чудовищно огромных легких.

Клим Самгин стоял в группе зрителей на крыльце Исторического музея. Рабочие обтекали музей с двух сторон и, как бы нерешительно застаиваясь у ворот Кремля, собирались в кулак и втискивались в каменные пасти ворот, точно разламывая их. Напряженно всматриваясь в бесконечное мелькание лиц, Самгин видел, что, пожалуй, две трети рабочих — люди пожилые, не мало седобородых, а молодежь не так заметна. И тогда, как солидные люди шли в сосредоточенном молчании или не громко переговариваясь, молодежь толкала, пошатывала их, перекликалась, посмеиваясь, поругиваясь, разглядывая чисто одетую публику у Музея бесцеремонно и даже дерзко. Но голоса заглушались шарканьем и топотом ног. Изредка в потоке шапок и фуражек мелькали головы, повязанные шалями, платками, но и женщины шли не шумно. Одна из них, в коротком, мужском полушубке, шла с палкой в руке и так необъяснимо вывертывая ногу из бедра, что, казалось, она, в отличие от всех, пытается итти боком вперед. Лицо у нее было большое, кирпичного цвета и жутко неподвижно, она вращала шеей и, как многие в толпе, осматривала площадь широко открытыми глазами, которые первый раз видят эти древние стены, тяжелые торговые ряды, пеструю церковь и бронзовые фигуры Минина, Пожарского.

Многократно и навязчиво повторялись сухое, длинное лицо Дьякона и круглое, невыразительное Митрофанова. Похожих на Дьякона было меньше, и только один человек напомнил Климу Дунаева.

— С каким чувством идут эти люди? — догадывался Самгин.

Ему казалось, что некоторые из них, — очень многие, может быть большинство, — смотрят на него и на толпу зрителей, среди которых он стоит, так же снисходительно, равнодушно, усмешливо, дерзко и угрюмо, а в общем глазами совершенно чужих людей, теми же глазами, как смотрят на них люди, окружающие его, — Самгина.

— Мы,— вспомнил он горячее и веское словцо Митрофанова в пасхальную ночь. — Класс, — думал он, вспоминая, что ни в деревне, когда мужики срывали замок с двери хлебного магазина, ни в Нижнем-Новгороде, при встрече царя, он не чувствовал раскольничьей правды учения о классовой структуре государства.

Рядом с Климом встал, сильно толкнув его, человек с круглой бородкой в поддевке на лисьем меху, в каракулевой фуражке; держа руки в карманах поддевки, он судорожно встряхивал полы ее, точно собираясь подпрыгнуть и взлететь на воздух, переступал с ноги на ногу и довольно громко спрашивал:

— Это — что же? Это — как понять? Вчерась — стачки, а сегодни — каяться пошли, — так, что ли?

Голосок его, довольно звонкий, звучал ехидно, также как и смех:

— Хэ, х-хэ.

Кто-то стоявший сзади и выше Самгина уверенно ответил:

— Это — против студентов. Они — бунтуют, а, вот, рабочие... Третий голос, слабенький и сиплый, уныло сказал:

— А по-моему — зря допущено прохождение.

Отозвались сразу двое:

— Верно!

— Почему же зря?

— Да, знаете, — нерешительно сказал слабенький голосок. — Уже коли через двадцать лет убиенного царя вспомнили, — ну, иди каждый в свой приходский храм, панихиду служи, что ли...

— Верно! Подождали бы первого марта, а то...

— Освобожденные-то крестьяне голодом подыхают...

— Правильно, правильно, — торопливо сказал человек в каракулевой фуражке.— А то — вывалились на улицу, да еще в Кремль прут, а там, — царские короны, регалии и, вообще, сокровища...

— Кто это придумал? — спросил строгий бас, ему не ответили, и через минуту он, покрыв разрозненные голоса, театрально возмутился: — превратить Кремль в скотопригонный двор...

— Позвольте! Это, уж, напрасно, — сказал тоном обиженного человека кто-то за спиною Самгина. — Тут происходит событие, которое надо понимать, как единение народа с царем...

— Не с царем, а с плохим памятником цареву дедушке...

И тотчас же бойкий голосок продекламировал забытую эпиграмму:

Нелепого строителя
Архи-нелепый план:
Царя-Освободителя
Поставить в кегельбан.

Толпа зрителей росла; перед Самгиным встал высокий судейский чиновник, с желчным лицом, подошел знакомый адвокат с необыкновенной фамилией Магнит. Он поздоровался с чиновником, толкнул Самгина локтем и спросил:

— Ну, что скажете?

Самгин молча пожал плечами, а чиновник, взглянув на него желтыми глазами, сказал:

— Странная затея — внушать рабочим, что правительство с ними против хозяев.

— Вы повторите эти слова в будущей вашей обвинительной речи, — посоветовал адвокат и засмеялся так громко, что из толпы рабочих несколько человек взглянули на него, и сначала один, седой, а за ним двое помоложе присоединились к зрителям. Рабочих уже много было среди зрителей, они откалывались от своих и, останавливаясь у музея, старались забиться поглубже в публику. Самгин мельком подумал, что они пря-

чутся. Но он видел, что это не верно: рабочие стояли уже и впереди его, от них исходил тяжелый запах машинного масла. По площади ненужно гуляли полицейские, ветер раздувал полы их шинелей, и можно было думать, что полицейских не мало скрыто за Торговыми рядами, в узких переулках Китай-города. На Лобном месте стояла тесная группа людей,— казалось, что они набиты в бочку. И у монумента спасителя Москвы тоже сгрудилось много зрителей, Козьма Минин бронзовою рукою указывал им на Кремль, но они стояли неподвижно.

А рабочие шли все так же густо, не стройно и не спеша; было много сутулых, многие держали руки в карманах и за спиною. Это вызвало в памяти Самгина снимок с чьей-то картины, напечатанный в «Ниве»: чудовищная фигура Молоха и к ней, сквозь толпу карфагенян, идет, согнувшись, вереница людей, нанизанных на цепь, обреченных в жертву страшному богу.

Но, это воспоминание, возникнув механически, было явно неуместно, оно тотчас исчезло, и Самгин продолжал соображать: чем отличаются эти бородатые, взлохмаченные ветром, очень однообразные люди от всех других множеств людей, которые он наблюдал? Он уже подумал, что это такая же толпа, как и всякая другая, и что народники—правы: без вождя, без героя, она — тело неодухотворенное. Сегодня ее вождь — чиновник «Охранного отделения» Сергей Зубатов.

— Классовое самосознание. «Да, был ли мальчик-то?»

Вспомнил Самгин о Сусанине и Комиссарове, а вслед за ними о Халтурине. Но все эти мысли, быстро сменяя одна другую, скользили поверх глубокого и тревожного впечатления, не задевая его, да и говор в толпе зрителей мешал думать связно.

— Ничего своеобразного в этих людях — нет, просто я несколько отравлен марксизмом, — уговаривал себя Самгин, присматриваясь к тяжелому, нестройному ходу рабочих, глядя, как они, замедляя шаги у ворот, туго уплотняясь, вламываются в Кремль.

«Как слепые, — если кто-нибудь упадет под ноги им — растопчут, не заметив», — вдруг подумал он, и эта мысль была ему ближе всех других. Он сознавал, что в нем поднимается, как температура, некое сильное чувство, ростки которого и раньше, но — слабо, ощущались им. Растет оно, как нарыв, с эдакой дергающей болью, и размышления ни мало не мешают его росту. Он совершенно определенно понимал, что не следует формулировать это чувство, не нужно одевать его в точные слова, а, наоборот, надо чем-то погасить его, забыть о нем.

У ворот кричали:

— Шапки! Эй, ребята, шапки снимай!

Команда эта напомнила Самгину наивно-хвастливые стихи:

Шапки кто, злодей, не снимет
У святых в Кремле ворот.

Размахивая шапкой, из толпы рабочих оторвался маленький старичок в черном тулупчике нараспашку и радостно сказал:

— Сейчас одного заарестовали. Разговаривал, пес, — куда идете? Куда, кричит, идете, дураки, хамово племя? Так и садит, будто с ума соскочил, сукин сын!

— Без скандала мы не можем, — угрюмо заметил усатый человек с закопченным лицом.

— Сволочи, говорит...

— Студент?

— Штатский.

— Пьяный?

— Кто знает? Не разберешь.

— А — молодой?

— Это верно, молодой. Трясется весь, озлился, что ли... Куда, говорит?

— Сколько ж это тысяч? — озабоченно спросил очень толстый, но плохо одетый, стоя впереди Самгина.

Ему ответили:

— Тысяч десять.

— Бо-ольше.

С крыльца, через голову Клима кто-то крикнул успокоительно и даже с удальством:

— Москва людей не боится.

И тотчас же отозвался угрюмый бас:

— Люди ей — зерно под жернов.

А человек в тулупчике назойливо допрашивал двух рабочих, которые только что присоединились к публике:

— Вы что ж отстали от своих, а?

— Не твое дело, — сказал один, похожий на Вараксина, а другой, с лицом старого солдата, миролюбиво объяснил:

— Тесно, не пробьешься в ворота, ребра ломают.

— А — для чего затеяли это самое? Затеяли и — в сторону?

И сквозь все голоса из глубины зрителей ручейком пробивался один тревожный чей-то голосок:

— Я — не понимаю: к чему этот парад? Ей-богу, право, не знаю — зачем? Если б, например, войска с музыкой... и чтобы духовенство участвовало, хоругви, иконы и — вообще — всенародно, ну, тогда, — пожалуйста! А так, знаете, что же получается? Раздробление, как будто. Сегодня — фабричные, завтра приказчики пойдут или, скажем, трубочисты, или еще кто, а — зачем собственно? Ведь, вот какой вопрос поднимается! Ведь не на Ходынское поле гулять пошли, вот что-с...

В бессвязном говоре зрителей и в этой тревожной воркотне Самгин улавливал клочья очень знакомых ему и даже близких мыслей, но они были так изуродованы, растрепаны, так легко заглушались шарканьем ног, что Клим подумал с негодованием:

— Какое мещанство. Нищенство.

Из Кремля поплыл густой рев, было в нем что-то шерстяное, мохнатое, и казалось, что он согревает сыроватый, холодный воздух. Человек в поддевке на лисьем меху успокоительно сообщил:

— Поют! «Спаси, господи» поют!

Снял шапку, перекрестился на храм Василия Блаженного и торопливо пошел прочь.

Все зрители как бы только этого и ждали, плотная стена их стала быстро разваливаться, расползаться; пошел и Самгин. У Торговых рядов он наткнулся на Митрофанова; Иван Петрович стоял, прислонясь к фонарю, надув щеки, оттопырив губы, шапка съехала на глаза ему, и вид у него был такой, точно он только что получил удар по затылку. Самгину даже показалось, что он — пьяный. Иван Петрович смотрел прямо в лицо его, но не здоровался. Эта встреча обрадовала Клима, как встреча с приятным человеком после долгого и грустного одиночества; он протянул ему руку и заметил, что постоялец, прежде чем пожать ее, беспокойно оглянулся.

— Ну, что вы скажете?

— Замечательно, — быстро ответил Митрофанов. — Замечательно, — повторил он, вскинув голову и этим поправив шапку. — Стройно, — сказал он, щупая пальцами пуговицу пальто. — Весьма... внушительно!

В его поведении было что-то странное, он возбудил любопытство Самгина, и Клим предложил ему позавтракать. Митрофанов согласился не сразу, стесненно поеживаясь, оглядываясь, а согласясь, пошел быстро, молча и впереди Самгина.

В полуподвальном ресторане, тесно набитом людьми, они устроились в углу, около какого-то шкафа. Гости ресторана вели себя так размашисто и бесцеремонно шумно, как будто все они были близко знакомы друг с другом и собрались на юбилейный или поминальный обед. Самгин прислушался к слитному говору и не услышал ни слова о манифестации рабочих. Он очень торопился определить свое настроение, услыхать слова здравого смысла, но ему не сразу удалось заставить Митрофанова разговориться. Иван Петрович согласно кивал головою и говорил не своим тоном:

— Затея — умственная. Это — верно: хозяева мало чего видят, кроме своей пользы. Конечно — облегчить рабочих людей надо.

Но, выпив рюмки три водки, он глубоко вздохнул, закрыл глаза, сморщился и, качая головою, тихонько сказал:

— Эх, Клим Иванович, клюква это!

— Что? — так же тихо спросил Самгин, уже зная, что сейчас услышит нечто своеобразное и наверное, как всегда от Митрофанова, успокаивающее.

— Клюква, — повторил Митрофанов, наклоняясь к нему через стол. — Вы, Клим Иванович, не верьте: волка клюквой не накормишь, не ест! — зашептал он, часто мигая глазами, и еще более налег на стол. — Не верьте — притворяются. Я знаю.

Погрозив пальцем, он торопливо налил и быстро выпил еще рюмку, взял кусок хлеба, понюхал его и снова положил на тарелку.

— Вас благоразумие обманывает. Многие видят то, чего им хочется, а его, хотимого-то, нету. Призраки, воображаемые так сказать, видим.

Оглянувшись, он зашептал:

— Я с этой, так сказать, армией два часа шел, в самой гуще, я слышал, как они говорят. Вы думаете, действительно, к царю шли, мириться?

Усмехнувшись, Митрофанов махнул рукою над столом, задел бутылку и, удерживая ее, подскочил на стуле.

— Извините. Я фабричных знаю-с, — продолжал он шептать. — Это — народ особенный, им — наплевать на все, вот что! Тут один не пожелал кривить душою, арестовали его...

— Да, я слышал. Мальчишка?

— Зачем? Нет, он — бритый и ростом маловат, а годами — наверное старше вас.

— Рабочий?

Митрофанов, утвердительно кивнув головой, посмотрел через плечо свое, продолжая с усмешкой:

— Он их — матюками. Идет и садит прямо в морды: сволочь вы, говорит, да! Этого царя, говорит, убили за то, что он обманул народ — понимаете? А вы, говорит, на коленки встать пред ним идете. Его, знаете, бьют, толкают, молчи, дурак! А он, как пьяный, ничего не чувствует, снова ввернется в толпу, кричит: падаль! Клим Иванович, не в том дело, что человек буянит, а в том, что из десяти семеро одобряют его, а если и бьют, так это они из осторожности. Хитрость — простая! Весь этот ход не верный, Клим Иванович, это ход на проигрыш. Там, один гусь гоготал: дескать, народ во главе с царем, а ведь все знают: царь у нас несчастливый, неудачный царь! Передавили в коронацию тысячи народу, а он — даже не перекрестился. Хоть бы пяток полицейских повесил. Дедушка вешал, не стеснялся. А этот — дядю боится. Вы думаете народ Ходынку не помнит? Нет, народ злопамятен. Ему, кроме зла, и помнить нечего.

Митрофанов испуганно взмахнул головою.

— Это, конечно, не я говорю, а так вообще говорится...

— Да, — сказал Самгин, постукивая пальцами по столу.

Это было не то, чего он ожидал от Митрофанова, это не успокаивало, а вызывало двойственное впечатление: Митрофанов укреплял чувство, которое пугало, но было почти приятно, что именно он укрепляет это чувство.

— Да, правительство у нас бездарное, царь — бессилен, — пробормотал он, осматривая рассеянно десятки сытых лиц; красноватые лица эти в дымном тумане напоминали арбузы, разрезанные пополам. От шума, запахов и водки немножко кружилась голова.

— Вот вы, Иван Петрович, простой, честный, русский человек...

Митрофанов наклонил голову над столом.

— Ну, вот, скажите — как вам кажется: будет у нас революция?

Митрофанов поднял голову и шопотом сказал:

— Обязательно. Громаднейший будет бунт!

— Да? — спросил Самгин; определенность ответа была неприятна ему и мешала выразить назревающие большие мысли.

— Сами знаете, — шептал Митрофанов, сморщив лицо, отчего оно стало шершавым. — До крайности обозлен народ несоответствием благ земных и засилием полиции, — сообщил он, сжав кулак. — Возрастает уныние и... — подвинув отъехавший стул ближе ко столу, согнувшись так, что подбородок его почти лег на тарелку, он продолжал: — я вам покаюсь: я, вот, знаете, утешаю себя, — ничего, обойдется, мы — народ умный! — А вижу, что людей, лишенных разума вследствие уныния, все больше. Зайдешь, с холода, в чайную, в трактир, прислушаешься: о чем говорят? Так ведь что же? Идет всеобщее соревнование в рассказах о несчастии жизни, взвешивают люди кому тяжелее жить. До хвастовства доходят, до ярости. Мне — хуже! Нет, врешь, мне! Ведь это хвастовство для оправдания будущих поступков...

Тут Самгин увидал, что круглые глаза Митрофанова наполнились горестным удивлением:

— Вы подумайте, — насколько безумное это занятие при кратком сроке жизни нашей! Ведь вот какая штука, ведь жизни человеку в обрез дано. И все больше людей живет так, что все дни ихней жизни — постные пятницы. И — теснота! Ни вору, ни честному — ногу поставить некуда, а ведь человек желает жить в некотором просторе и на твердой почве. Где она, почва-то?

Клим Самгин остановил его, подняв руку как для пощечины, и спросил:

— Так, может быть, лучше, чтоб она скорей разразилась?

— Клим Иванович, — вполголоса воскликнул Митрофанов, и лицо его неестественно вздулось, покраснело, даже уши как будто пошевелились. — Понимаю я вас, ей-богу — понимаю!

— Ведь нельзя жить в постоянной тревоге, что завтра все полетит к чорту и вы окажетесь в мятеже страстей, чуждых вам.

— Обязательно окажемся, — сказал Митрофанов с тихим испугом.

Самгин тоже опрокинулся на стол, до боли крепко опираясь грудью о край его. Первый раз за всю жизнь он говорил совершенно искренно с человеком и с самим собою. Каким-то кусочком мозга он понимал, что отказывается от какой-то части себя, но это облегчало, подавляя темное, пугавшее его чувство. Он говорил чужими, книжными словами, и самолюбие его не смущалось этим.

— Самодержавие бессильно управлять народом. Нужно, чтоб власть взяли сильные люди, крепкие руки и очистили Россию от едкой человеческой пыли, которая мешает жить, дышать.

Он слышал, что Митрофанов, утвердительно качая головою, шепчет:

— Верно, — для хорошего порядка можно и революцию допустить.

Пред Самгиным над столом возвышалась точно отрезанная и уложенная на ладони голова, знакомое, но измененное лицо, нахмуренное, с крепко сжатыми губами; в темных глазах напряжение человека, который читает напечатанное слишком неясно или мелко.

— Правительство не может сладить ни с рабочим, ни со студенческим движением, — шептал Самгин.

— Эх, господи, — вздохнул Митрофанов, распустив тугое лицо, отчего оно стало нелепо широким и плачевным, а синие щеки побурели.— Я понимаю, Клим Иванович, вы меня, так сказать, привлекаете! — Он трижды, мелкими крестиками, перекрестил грудь и сказал: — я — готов, всею душой!

Самгин замолчал, несколько охлажденный этим изъявлением, даже, на секунду, уловил в этом нечто юмористическое, а Митрофанов, крякнув, продолжал очень тихо:

— Только, наверное, отвергнете, оттолкнете вы меня, потому что я — человек сомнительный, слабого характера и с фантазией, а при слабом характере фантазия — отрава и яд, как вы знаете. Нет, погодите, — попросил он, хотя Самгин ни словом, ни жестом не мешал ему говорить.— Я давно хотел сказать вам, — все не решался, а, вот, на-днях, был в театре, на модной этой пиесе, где показаны заслуженно несчастные люди и бормочут чорт знает что, а между ними утешительный старичок врет направо, налево...

Он передохнул, сморщил лицо неудавшейся усмешкой и развел руки:

— Тут меня вдруг осенило и даже в жар бросило: вредный старичишка этот похож на меня поведением своим, похож!

— Я не совсем понимаю, — сказал Самгин, нахмурясь.

— Похож — выдумывает, стерва! Клим Иванович, я вас уважаю и...

Споткнувшись о какое-то слово, он покачал головою:

— Видите ли... Рассказывал я вам о себе разное, там, ну винюсь: все это я выдумал для приличия. Жен выдумал и вообще всю жизнь...

— Позвольте, зачем же? — неприязненно и удивленно спросил Самгин.

— Для благоприличия...

Иван Петрович трясущейся рукою налил водки, но не выпил ее, а, отодвинув рюмку, засмеялся горловым, икающим смехом; на висках и под глазами его выступил пот, он быстро и крепко стер его платком, сжатым в комок.

— И вовсе я не Митрофанов, не Иван, а — Петр Яковлев Котельников, нижегородский купеческий сын, весьма известная фамилия была...

Он снова стер пот с лица, взмахнул платком и заерзал на стуле, как бы готовясь вскочить и убежать.

— С двадцати трех лет служу агентом сыскной полиции по уголовным делам, переведен сюда за успехи в розысках...

— По уголовным? — беспокойно, шопотом спросил Самгин, еще не зная, что сказать, но чувствуя, что Митрофанов чем-то обидел его.

— Не беспокойтесь, — подтвердил Иван Петрович. — Ни к чему другому не имею касательства. Да, если бы даже имел, и тогда — ваш слуга! Потому что вы и супруга ваша для меня — первые люди, которые...

Не окончив, он глубоко вздохнул и продолжал, удивленно мигая:

— Замечательно, — как вы не догадались обо мне тогда, во время студенческой драки? Ведь если б я был простой человек, разве мне дали б сопровождать вас в полицию? Это раз. Опять же и то: живет человек на глазах ваших два года, нигде не служит, все, будто бы, места ищет, а — на что живет, на какие средства? И ночей дома не ночует. Простодушные люди вы с супругой. Даже боязно за вас, честное слово! Анфимьевна, — та, наверное, вором считает меня...

По его лицу расплылась виноватая и добродушная улыбочка.

— Вы ни в каком случае не рассказывайте это жене, — строго сказал Митрофанов. — Потом, со временем, я сам скажу.

Митрофанов, вздохнув, замолчал, как бы давал Самгину время принять какое-то решение, а Самгин думал, что, вот, он считал этого человека своеобразно значительным, здравомыслящим...

— А что в сущности изменилось? — спросил он себя и не нашел ответа.

— Может быть, надо съехать мне с квартиры от вас? — услыхал он печальный шопот постояльца.

— Нет, этого не нужно. Я... подумаю, как...

— В сыщики я пошел не из корысти, а — по обстоятельствам нужды, — забормотал Митрофанов, выпив водки. — Ну, и фантазия, конечно. Начитался воровских книжек, интересно! Лекок был человек великого ума. Ах, боже мой, боже мой, — погромче сказал он,— простили бы вы мне обман мой! Честное слово — обманывал из любви и преданности, а ведь полюбить человека — трудно, Клим Иванович!

— Да, — невольно сказал Самгин, видя, что темные, глуповатые глаза взмокли и, как будто, тают. К его обиде на этого человека присоединилось удивление пред исповедью Митрофанова. Но все-таки эта исповедь немножко трогала своей несомненной искренностью, и все-таки было лестно слышать сердечные изъявления Митрофанова; он стал менее симпатичен, но еще более интересен.

— Хороших людей я не встречал, — говорил он, задумчиво и печально рассматривая вилку. — И — надоело мне у собаки блох вычесывать, — это я про свою должность. Ведь, что̀ такое вор, Клим Иванович, если правду сказать? Мелкая заноза, именно — блоха. Комар, так сказать. Без нужды и комар не кусает. Конечно, — есть ребята, застарелые в преступности. Но, ведь, все живем по нужде, а не по Евангелию. Вот — явилась нужда привести фабричных на поклон прославленному царю...

Приподняв плечи, Митрофанов спрятал, как черепаха, голову, показал пальцем за спину свою.

— А, вот, извольте видеть, сидит торговый народ, благополучно кушает отличнейшую пищу, глотает водку и вино дорогих сортов, говорит

о своих делах и как будто ничего не случилось. Но, ведь, я так понимаю, что фабричных водили в Кремль ради спокойствия и порядка, что для этого и ночные сторожа мерзнут, и воров ловят, и вообще — все! А — настоящей заботы о благополучии жизни во всем этом не вижу я, Клим Иванович, ей-богу, — не вижу! И, знаете, иной раз, как шило уколет, как подумаешь, что по-настоящему о народе заботятся, не щадя себя, только политические преступники... т. е. не преступники, конечно, а... роман «Овод» или «Спартак» изволили читать? Мне барышня Сомова посоветовала, — читал с удовольствием, знаете!

Самгин усмехнулся, он готов был даже засмеяться вслух, но не потому, что стало весело, а Митрофанов осторожно поднялся со стула и сказал, не протягивая руки:

— Покорнейше благодарю... от всего сердца!

Самгину показалось, что постоялец как будто вырос за этот час, лицо его похудело, сделалось благообразнее. Самгин великодушно подал ему руку.

— Так жене я сам скажу.

Митрофанов поклонился и ушел.

Клим посидел еще минут десять, стараясь уложить мысли в порядок, но думалось угловато, противоречиво и ясно было лишь одно — искренность Митрофанова.

— В конце концов получается то, что он отдает себя в мою волю. Агент уголовной полиции. Уголовной, — внушал себе Самгин. — Порядочные люди брезгают этой ролью, но это едва ли справедливо. В современном обществе тайные агенты — такая же неизбежность, как преступники. Он, бесспорно... добрый человек. И — не глуп. Он — человек типа Тани Куликовой, Анфимьевны. Человек для других...

Когда Самгин вышел на Красную площадь, на ней было пустынно, как бывает всегда по праздникам. Небо осело низко над Кремлем и рассыпалось тяжелыми хлопьями снега. На золотой чалме Ивана Великого снег не держался. У музея торопливо шевырялась стая голубей свинцового цвета. Трудно было представить, что на этой площади, за час пред текущей минутой, топтались, вторгаясь в Кремль, тысячи рабочих людей, которым, наверное, ничего не известно из истории Кремля, Москвы, России.

— Да, вот и Митрофанов считает революцию неустранимой. «Мы», — говорил он. Кто же это — «мы»? Но — какой неожиданный и... фантастический изгиб в этом человеке...

Дома, устало раздеваясь и с досадой думая, что сейчас надо будет рассказывать Варваре о манифестации, Самгин услышал в столовой звон чайных ложек, глуховатое воркованье Кумова и затем иронический вопрос дяди Миши:

— Это вы что же, молодой человек, Шеллинга начитались, что ли?

— Я Шеллинга не читал, я вообще философию не люблю, она от — разума, а я, как Лев Толстой, не верю в разум...

— Как Толстой? Ого-о!..

— Чорт вас побери, — мысленно выругался Клим.

Не желая видеть этих людей, он прошел в кабинет свой, прилег там на диван, но дверь в столовую была не плотно прикрыта, и он хорошо слышал беседу старого народника с письмоводителем.

— Человек живет не разумом, а воображением...

— Да — ну?

— То есть и разумом тоже, но это низшая форма, а высшие достижения наши не от разума...

— Наука, например?

— И наука тоже начинается с воображения.

— Налить вам? — спросила Варвара и по ласковому тону вопроса Клим понял, что она спрашивает Кумова. Ему захотелось чаю, он вышел в столовую, Кумов привстал на встречу ему, жена удивленно спросила:

— Ты пришел? Где ты был?

— Смотрел манифестацию рабочих, потом — у патрона.

— Ага! — вскричал дядя Миша, и маленькое его личико просияло добродушным ехидством. — Ну, что, как они? Пели «Боже, царя храни», да? Расскажите-ка, расскажите!

— Но ведь Гусаров рассказывал, — напомнила Варвара.

— А мы сопоставим показания, — шутливо сказал Суслов и, явно готовясь к бою, одернул на груди шерстяную, оранжевую курточку, вязанную Любашею. Но, прежде чем Самгин начал рассказывать, он заговорил сам:

— Гусаров этот в сильнейшей ажитации, ему, там, померещилось что-то, а здесь он Плеханова искажал, дескать, освобождение рабочего класса—дело самих рабочих, а мы, интеллигенция, ну, — и должны отойти прочь...

Не слушая его, Кумов вполголоса бормотал, опрокинув длинное тело свое к Варваре:

— Хлысты, во время радений, видят духа святого, а ведь духа-то святого нет...

Самгин, сделав удивленное лицо, посмотрел на него через очки, письмоводитель, сконфуженно улыбнувшись, примолк.

— Вообще выходило у него так, что интеллигенция — приказчица рабочего класса, не более, — говорил Суслов, морщась, накладывая ложкой варенье в стакан чаю. — Нет, сказал я ему, приказчики революций не делают, вожди, вожди нужны, а не приказчики. Вы, марксисты, по дурному примеру немцев, действительно становитесь в позицию приказчиков рабочего класса, но у немцев есть Бебель, Адлер, да — мало ли? А у вас таких нет, да и не дай бог, чтоб явились... провожать рабочих в Кремль, на поклонение царю...

Но хотя Суслов и ехидничал, Самгину было ясно, что он опечален, его маленькие глазки огорченно мигали, голос срывался и ложка в руке дрожала,

— Нет, Гусаров этот из таких, знаете, как будто «блажен муж», а на самом деле — «вскую шаташася»...

— Вы уже знаете? — спросила Татьяна Гогина, входя в комнату.

Самгин оглянулся и едва узнал ее: в простеньком платье, в грубых башмаках, гладко причесанная, она была похожа на горничную из небогатой семьи. За нею вошла Любаша и молча свалилась в кресло.

— Что это мы знаем? — спросил Суслов, осматривая ее и Любашу.

Любаша сердито фыркнула:

— Он — зубатовец, Гусаров-то...

— Позвольте, — беспокойно и громко сказал Суслов. — Такие вещи надо говорить имея основания, барышни!

— Он — дурак, но хочет играть большую роль, вот что, по-моему,— довольно спокойно сказала Татьяна. — Варя, дайте чашку крепкого чая Любаше, и я прогоню ее домой, она нездорова.

Суслов, нетерпеливо стуча ложкой по косточкам своих пальцев, спросил ее:

— Ну-те-с?

— Там, в Кремле, Гусаров сказал рабочим речь на тему долой политику, не верьте студентам, интеллигенция хочет на шее рабочих проехать к власти и все прочее в этом духе, — сказала Татьяна как будто равнодушно. — А вы откуда знаете это? — спросила она.

— Нет, сначала вы, — вам-то как это известно? — торопливо проговорил Суслов.

— Я стояла сзади его, когда он говорил, — я и еще один рабочий, ученик мой.

— Так, — сказал Суслов, глядя на Клима.

Прошло несколько секунд неприятнейшего, ожидающего молчания.

Потом Самгин, усмехаясь, напомнил:

— А еще недавно он утверждал необходимость фабричного террора.

Варвара ставила термометр Любаше, Кумов встал и ушел, ступая на пальцы ног, покачиваясь, балансируя руками. Сидя с чашкой чая в руке на ручке кресла, а другой рукой опираясь о плечо Любаши, Татьяна начала рассказывать невозмутимо и подробно, без обычных попыток острить:

— Слушало его человек... тридцать, может быть — сорок; он стоял у царь-колокола. Говорил без воодушевления, не храбро. Один рабочий отметил это, сказав соседу: «Опасается, парень, пошире-то рот раскрыть». Они удивительно чутко подмечали все.

— Ну, а как вообще были настроены? — спросил Суслов.

— Мне кажется — равнодушно. Впрочем, это не только мое впечатление. Один металлист, знакомый Любаши, пожалуй, вполне правильно определил настроение, когда еще шли туда: «Идем, — сказал, — в незнакомый лес по грибы, может быть будут грибы, а вернее — нету; ну, ничего, погуляем».

Варвара хотела зажечь огонь.

— Подожди, — сказал Самгин, хотя в комнате было уже сумрачно,

Суслов, потирая руки, тихонько засмеялся.

— Я никаких высоких чувств у рабочих не заметила, но я была далеко от памятника, где говорили речи, — продолжала Татьяна, удивляя Самгина спокойным тоном рассказа. — Там кто-то истерически умилялся, размахивал шапкой,— было видно, что люди крестятся. Но пробиться туда было невозможно.

— 38 и 6, — громко объявила Варвара.

Суслов поднял руку и прошипел:

— Шш!

— Ведет себя, как хозяин, — отметил Клим.

Прервав рассказ, Гогина начала уговаривать Любашу итти домой и лечь, но та упрямо и сердито отказалась:

— Отстань; уйду, когда расскажешь.

— Но уж вы, Сомова, не мешайте, — попросил Суслов, строго попросил. — Ну-с, дальше, Гогина, — сказал он тоном учителя в школе; улыбаясь, Варвара села рядом с ним.

— В закоулке, между монастырем и зданием Судебных установлений, какой-то барин, в пальто необыкновенного покроя, ругал Витте и убеждал рабочих, что бумажный рубль «христиански нравственная форма денег», именно так и говорил...

Суслов обрадовался, хлопнул себя по коленям ладонями и сказал сквозь смех:

— Это он, болван, из записки Сергея Шарапова о русских финансах. Вы слышите, Самгин? Вот как, а? Это — рабочим-то говорить о христиански нравственном рубле. Эх, эк-кономисты...

— Рабочие и о нравственном рубле слушали молча, покуривают, но не смеются, — рассказывала Татьяна, косясь на Сомову. — Вообще там, в разных местах, какие-то люди собирали вокруг себя небольшие группы рабочих, уговаривали. Были и бессловесные зрители; в этом качестве присутствовал Тагильский, — сказала она Самгину. — Я очень боялась, что он меня узнает. Рабочие узнавали сразу: барышня. И посматривают на меня подозрительно... Молодежь пробовала в царь-пушку залезать.

Она закрыла глаза, как бы вспоминая давно прошедшее, а Самгин подумал: зачем нужно было ей толкаться среди рабочих, ей, щеголихе, влюбленной в книги Пьера Луиса, поклоннице эротической литературы, восхищавшейся холодной чувственностью стихов Брюсова?

— Странно они осматривали все, — снова заговорила Татьяна, уже с оттенком недоумения, — точно первый раз видят Кремль, а ведь конечно, многие, если не все, бывали в нем пасхальными ночами. Как будто в чужой город пришли. Или — квартиры снимают. Какой-то рабочий сказал: «А дома-то не больно казисты». Интересная старуха была там, огромная, хромая, в мужском пальто и, должно быть, глуховата, все подставляла ухо тем, кто говорил с нею. Лицо — опухшее, совершенно неподвижно, глаза почти незаметны; жуткое лицо. Она все допрашивала:

«Чего они обещают?». И уговаривает: «Вы, мужики, не верьте. Я — крепостная была, я — знаю, этот царь обманул народ. Глядите, опять обманут».

Суслов снова захлебнулся тихим смехом:

— Я знаю ее. Это — Катерина Бочкарева. Хромая, да? Бедро разбито? Ну, да!

— Рабочие уговаривали ее: — «А ты не кричи!».

— Она! Слова ее. Жива! Ей — лет семьдесят, наверное. Я ее давно знаю, Александра Пругавина знакомил с нею. Сектантка была, «сютаевка», потом стала чем-то вроде гадалки-прорицательницы. Вот таких, тихонько, но упрямо разрушавших идею справедливого царя, мы недостаточно ценим, а они...

Любаша вдруг выскочила из кресла, шагнула и, взмахнув руками, точно бросаясь в воду, повалилась; если б Самгин не успел поддержать ее, она бы с размаха ударилась о пол лицом. Варвара и Татьяна взяли ее под руки и увели.

— Ведь, вот, какая упрямая, — обиженно сказал Суслов, — ей надо лечь, а она сидит.

Он подвинулся к Самгину и тотчас же спросил:

— Что — этот Гусаров в организации, в партии?

— Не знаю. Не думаю, — ответил Самгин, чувствуя, что рассказ Татьяны странно взволновал его и даже, как будто, озлобил.

— Негодяй какой, — проворчал Суслов сквозь зубы. — Ну, а вы, Самгин, что думаете о манифестации?

— Я ведь не был в Кремле, — неохотно начал Самгин, раскуривая папиросу. — Насколько могу судить, Гогина правильно освещает: рабочие относились к этой затее — в лучшем случае — только с любопытством...

— Мм, — недоверчиво промычал дядя Миша.

— Я стоял в публике, они шли мимо меня, — продолжал Самгин, глядя на дымящийся конец папиросы. Он рассказал, как некоторые из рабочих присоединялись к публике, и вдруг, с увлечением, стал говорить о ней. — Мне кажется, что многие из толпы зрителей чувствовали себя предаваемыми, т. е. довольно определенно выражали свой протест против заигрывания с рабочими. Это, конечно, инстинктивное...

— Классовое, думаете? — усмехнулся Суслов. — Нет, батенька, не надейтесь! Это сказывается нелюбовь к фабричным, вполне объяснимая в нашей крестьянской стране. Издавна принято смотреть на фабричных как на людей, отбившихся от земли, озорных...

Его вставки, мешая говорить, раздражали Самгина. И, поддаваясь раздражению, Клим продолжал:

— Взгляд — вредный. Стачки последних лет убеждают нас, что рабочие — сила, очень хорошо чувствующая свое значение. Затем — дляних готова идеология, оружие, которого нет у буржуазии и крестьянства.

— Будто бы нет? — вставил Суслов, поддразнивая.

Но Самгин уже не слушал его замечаний, не возражал на них, продолжая говорить все более возбужденно. Он до того увлекся, что не заметил, как вошла жена, и оборвал речь свою лишь тогда, когда она зажгла лампу. Опираясь рукою о стол, Варвара смотрела на него странными глазами, а Суслов, встав на ноги, оправляя куртку, сказал, явно довольный чем-то:

— А вы, Самгин, не очень правоверный марксист, оказывается, и даже...

Он с улыбкой проглотил конец фразы, пожал руку Варваре и снова обратился к Самгину:

— Не ожидал. Тем приятнее.

Когда он ушел, Самгин спросил жену:

— Что это ты как смотришь?

— Слушала тебя, — ответила она. — Почему ты говорил о рабочих так... раздраженно?

— Раздраженно? — с полной искренностью воскликнул он. — Ничего подобного! Откуда ты это взяла?

— Из твоего тона, слов.

— Во-первых, — я говорил не о рабочих, а о мещанах, обывателях.

— Да, но ты их казнил за то, что они не понимают, чем грозит для них рабочее движение...

— Они это понимают, но...

— Что — но?

— Они — бессильны, и это — порок.

— Не понимаю, — почему порок?

— Бессилие — порок.

Зеленые глаза Варвары усмехнулись, и голос ее прозвучал очень по-новому, когда она, вздохнув, сказала:

— Ах, Клим, не люблю я, когда ты говоришь о политике. Пойдем к тебе, здесь будут убирать.

Взяв его под руку и тяжело опираясь на нее, она с подозрительной осторожностью прошла в кабинет, усадила мужа на диван и даже подсунула за спину его подушку.

— У тебя ужасно усталое лицо, — объяснила она свою заботливость.

— Так тебе не нравится? — начал он.

— Да, — поторопилась ответить Варвара, усаживаясь на диван с ногами и оправляя платье. — Ты, конечно, говоришь всегда умно, интересно, но — как будто переводишь с иностранного.

— Гм, — сказал Самгин, пытаясь вспомнить свою речь к дяде Мише и понять, чем она обрадовала его, чем вызвала у жены этот новый, уговаривающий тон.

— Милый мой, — говорила Варвара, играя пальцами его руки, — я хочу побеседовать с тобою очень... от души! Мне кажется, что роль, которую ты играешь, тяготит тебя...

— Позволь, — нельзя говорить об игре, — внушительно остановил он ее.

Варвара, отклоняясь, пожала плечами.

— Ты забыл, что я — неудавшаяся актриса. Я тебе прямо скажу: для меня жизнь — театр, я — зритель. На сцене идет обозрение, revue, появляются, исчезают различно наряженные люди, которые, — как ты сам часто говорил, — хотят показать мне, тебе, друг другу свои таланты, свой внутренний мир. Я не знаю — насколько внутренний. Я думаю, что прав Кумов, — ты относишься к нему... барственно, небрежно, но это очень интересный юноша. Это — человек для себя...

Самгин внимательно заглянул в лицо жены, она кивнула головою и ласково сказала:

— Да, именно так: для себя...

— Что ж он проповедует, Кумов? — спросил Клим иронически, но чувствуя смутное беспокойство.

Жена прижалась плотнее к нему, ее высокий, несколько крикливый голос стал еще мягче, ласковее:

— Он говорит, что внутренний мир не может быть выяснен навыками разума мыслить мир внешний идеалистически или материалистически; эти навыки только суживают, уродуют подлинное человеческое, убивают свободу воображения идеями, догмами...

— Наивно, — сказал Самгин, не интересуясь философией письмоводителя. — И — малограмотно, — прибавил он. — Но что же ты хочешь сказать?

— Вот, — я говорю, — удивленно ответила она. — Видишь ли... Ты ведь знаешь, как дорог мне?

— Да. И — что же? — торопил Самгин.

Жена шутливо ударила его по плечу.

— Как это любезно ты сказал!

Но тотчас же нахмурилась:

— Я не хотела бы жалеть тебя, но, представь, — мне кажется, что тебя надо жалеть. Ты становишься недостаточно личным человеком, ты идешь на убыль.

Она говорила еще что-то, но Самгин, не слушая, думал:

«Какой тяжелый день. Она, в чем-то, права».

И он рассердился на себя за то, что не мог рассердиться на жену. Потом спросил, вынув из портсигара папиросу:

— Чего тебе не хватает?

— Тебя, конечно, — ответила Варвара, как будто она давно ожидала именно этого вопроса. Взяв из его руки папиросу, она закурила и прилегла в позе одалиски с какой-то картины, опираясь локтем о его колено, пуская в потолок струйки дыма. В этой позе она сказала фразу, не раз читанную Самгиным в романах, фразу, которую он не редко слышал со сцены театра:

— Ты меня не чувствуешь. Мы уже не созвучны.

«Только это», — подумал Самгин, слушая с улыбкой знакомые слова.

— Женщина, которую не ревнуют, не чувствует себя любимой...

— Видишь ли, — начал он солидно, — мы живем в такое время, когда...

— ... все мужчины и женщины, идеалисты и материалисты, хотят любить, — закончила Варвара нетерпеливо и уже своими словами, поднялась и села, швырнув недокуренную папиросу на пол. — Это, друг мой, главное содержание всех эпох, как ты знаешь. И — не сердись — для этого я пожертвовала ребенком...

— Поступок, которого я не одобрял, — напомнил Самгин.

— Да.

Она соскочила с дивана и, расхаживая по комнате, играя кушаком, продолжала:

— Что бы люди ни делали, они в конце концов хотят удобно устроиться мужчина со своей женщиной, женщина со своим мужчиной. Это — единственная, неоспоримая правда. Вот, я вижу идеалистов, материалистов. Я — немножко хозяйка, не правда ли? Ну, так я тебе скажу, что идеалисты циничнее, откровенней в своем стремлении к удобствам жизни. Не говоря о том, что они чувственнее и практичнее материалистов. Да, да, они не забегают так далеко, они практичнее людей, которым для того, чтобы жить хорошо, необходимо устроить революцию. Моим друзьям революция не нужна, им, вот, нужны деньги на книгоиздательство. Я могу уверенно сказать, что материалисты, при всем их увлечении цифрами, не могли бы сделать мне такое тонко разработанное и убыточное для меня предложение, какое сделали мои друзья. Ты назвал Кумова наивным, но это единственный человек, которому от меня, да, кажется, и вообще от жизни, не нужно ничего...

— Ты, что-то, слишком хорошо говоришь о нем, — вставил Самгин.

— Заслуживает. А ты хочешь показать, что способен к ревности? — небрежно спросила она. — Кумов — типичный зритель. И любит вспоминать о Спинозе, который наслаждался, изучая жизнь пауков. В нем, наконец, есть кое-что общее с тобою... каким ты был...

— Лестно слышать, — усмехнулся Клим и, чувствуя себя засыпанным ее словами, как снегом, сказал, вздохнув:

— Странно ты говоришь, Варвара.

— Странно? — переспросила она, заглянув на часы, ее подарок, стоявшие на столе Клима. — Ты хорошо сделаешь, если дашь себе труд подумать над этим. Мне кажется, что мы живем... не так, как могли бы! Я иду разговаривать по поводу книгоиздательства. Думаю, это — часа на два, на три.

Поцеловав его в лоб, она исчезла, и, хотя это вышло у нее как-то внезапно, Самгин был доволен, что она ушла. Он закурил папиросу и погасил огонь; на пол легла мутная полоса света от фонаря и темный крест рамы; вещи сомкнулись, в комнате стало тесней, теплей. За окном

влажно вздыхал ветер, падал густой снег, город был не слышен, точно глубокой ночью.

Клим Самгин задумался, вытянувшись на диване, закрыв глаза.

Варвара никогда не говорила с ним в таком тоне; он был уверен, что она смотрит на него все еще так, как смотрела, будучи девицей. Когда же и почему изменился ее взгляд? Он вспомнил, что за несколько недель до этого дня жена, проводив гостей, устало позевнув, спросила:

— Ты не замечаешь, что люди становятся скучнее?

А не так давно она заботливо, но как будто и упрекая, сказала:

— У тебя от очков краснеет кончик носа.

Затем Самгин вспомнил такой случай: месяца два тому назад он проработал с Кумовым далеко за полночь и, как это бывало не однажды, предложил письмоводителю остаться ночевать. Проснувшись поздно, он пошел мыться, но оказалось, что дверь ванной заперта изнутри. Он был уверен, что жена давно уже одета и вероятно в столовой, но все-таки постучал. Ему не ответили. Подумав, что крючок заскочил в кольцо сам собою, потому что дверью сильно хлопнули, Самгин пошел в столовую, взял хлебный нож, намереваясь просунуть его в щель между косяком и дверью и приподнять крючок. Варвары в столовой не было. Снова войдя в полутемный коридор, он увидал ее в двери ванной, растрепанная, в капоте на голом теле, она подавленно крикнула:

— Что ты?

Запахивая капот на груди, прислонясь спиною к косяку, она опускалась, как бы желая сесть на пол, колени ее выгнулись.

— Да что ты? — повторила она тише и плаксиво, тогда как ноги ее все подгибались, и одною рукой она стягивала ворот капота, а другой держалась за грудь.

Когда Клим, с ножом в руке, подошел вплоть к ней, он увидал в сумраке, что широко открытые глаза ее налиты страхом и блестят фосфорически, точно глаза кошки. Он, тоже до испуга удивленный ею, бросил нож, обнял ее, увел в столовую, и там все объяснилось очень просто: Варвара плохо спала, поздно встала, выкупавшись, прилегла на кушетке в ванной, задремала, и ей приснилось что-то страшное.

— Проснулась, открыла дверь и — вдруг идешь ты с ножом в руке! Ужасно глупо! — говорила она, посмеиваясь нервным смешком, прижимаясь к нему.

— Ты, что ж, — вообразила, что я хочу зарезать тебя? — шутливо спросил Самгин.

— Ничего я не воображала, а продолжался какой-то страшный сон, — объяснила она.

Самгин пошел мыться. Но, проходя мимо комнаты, где работал Кумов, — комната была рядом с ванной, — он, повинуясь толчку изнутри, тихо приотворил дверь. Кумов стоял спиной к двери, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу и напоминая фигуру повешенного. На скрип

двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его.

— Переписали?

— Да.

— Положите на стол ко мне, — сказал Самгин, думая: — «Не может быть! С таким полуидиотом? Не может быть!».

Теперь он готов был думать, что тогда Кумов находился с Варварой в ванной; этим и объясняется ее нелепый испуг.

«Наверное так», — подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды, подумал только для того, чтоб оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль.

— Это она говорит потому, что все более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма, — размышлял он, не открывая глаз. — Ограниченные люди понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно, вот в чем дело.

Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается, он помолодел, окреп, в его учительском голосе все громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на-днях сказала:

— Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал.

Она организовала группу «помощи рабочему движению» и, кажется, чувствует себя полковницей от революции.

Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе, на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер все более едкий, в ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий, к темам острым. Недавно она сказала, что «Цветы зла» Бодлэра — «панихида чорта по христианской культуре» и что Бодлэр — «шекспировский могильщик». Сегодня она настроена была иначе потому, что вероятно утомлена и обеспокоена болезнью Любаши. Тут Самгин подумал, что отношение Татьяны к брату очень похоже на обыкновеннейший роман, но вспомнил, что Алексей — приемыш в семье Гогиных. Алексей, видимо, «комитетчик». Он попрежнему весел, шутлив, но в нем явилась какая-то подозрительная сдержанность; Самгин заметил, что Алексей стал относиться к нему с любопытством, сквозь которое явно просвечивает недоверие.

— Да, все изменяются...

Социалисты бесцеремонно, даже дерзко высмеивают либералов, а либералы держатся так, как будто чувствуют себя виноватыми в том, что не могут быть социалистами. Но они помогают революционной молодежи, дают деньги, квартиры для собраний, даже хранят у себя нелегальную литературу.

двери он обернулся, улыбаясь, как всегда, глуповатой и покорной улыбкой, расширившей стиснутое лицо его.

— Переписали?

— Да.

— Положите на стол ко мне, — сказал Самгин, думая: — «Не может быть! С таким полуидиотом? Не может быть!».

Теперь он готов был думать, что тогда Кумов находился с Варварой в ванной; этим и объясняется ее нелепый испуг.

«Наверное так», — подумал он, не испытывая ни ревности, ни обиды, подумал только для того, чтоб оттолкнуть от себя эти мысли. Думать нужно было о словах Варвары, сказавшей, что он себя насилует и идет на убыль.

— Это она говорит потому, что все более заметными становятся люди, ограниченные идеологией русского или западного социализма, — размышлял он, не открывая глаз. — Ограниченные люди понятнее. Она видит, что к моим словам прислушиваются уже не так внимательно, вот в чем дело.

Самгин вспомнил отзыв Суслова о его марксизме и подумал, что этот человек, снедаемый различными болезнями, сам похож на болезнь, которая усиливается, он помолодел, окреп, в его учительском голосе все громче слышны командующие ноты. Вероятно, с его слов Любаша на-днях сказала:

— Ты, Клим, рассуждаешь, как престарелый либерал.

Она организовала группу «помощи рабочему движению» и, кажется, чувствует себя полковницей от революции.

Татьяна Гогина учит рабочих в полулегальной школе, на фабрике какого-то либерала из купцов. Ее насмешливость приобретает характер все более едкий, в ней заметно растет пристрастие к резкому подчеркиванию неустранимых противоречий, к темам острым. Недавно она сказала, что «Цветы зла» Бодлэра — «панихида чорта по христианской культуре» и что Бодлэр — «шекспировский могильщик». Сегодня она настроена была иначе потому, что вероятно утомлена и обеспокоена болезнью Любаши. Тут Самгин подумал, что отношени[illegible] Татьяны к брату очень похоже на обыкновеннейший роман, н[illegible] вспомнил, что Алексей — приемыш в семье Гогиных. Алексей, видимо «комитетчик». Он попрежнему весел, шутлив, но в нем явилас[illegible] какая-то подозрительная сдержанность; Самгин заметил, что Алексе[illegible] стал относиться к нему с любопытством, сквозь которое явно пр[illegible] свечивает недоверие.

— Да, все изменяются...

Социалисты бесцеремонно, даже дерзко высмеивают либералов, либералы держатся так, как будто чувствуют себя виноватыми в том, ч[illegible] не могут быть социалистами. Но они помогают революционной молодеж[illegible] дают деньги, квартиры для собраний, даже хранят у себя нелегальну[illegible] литературу.

Почувствовав, что им овладевает раздражение, Самгин вскочил с дивана, закурил папиросу и вспомнил крик горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете?»

— Зубатов — идиот, — мысленно выругался он и, наткнувшись в темноте на стул, снова лег. Да, хотя старики-либералы спорят с молодежью, но почти всегда оговариваются, что спорят лишь для того, чтоб предостеречь от ошибок, а, в сущности, они провоцируют молодежь, подстрекая ее к бо́льшей активности. Отец Татьяны, Гогин, обвиняет свое поколение в том, что оно не нашло в себе сил продолжить дело народовольцев и позволило разыграться реакции Победоносцева. На одном из вечеров он, покаянно, сказал:

— Щедрин будил нас, но мы не проснулись; история не простит нам этого.

Он человек среднего роста, грузный, двигается осторожно и почти каждое движение сопровождает покрякиванием. У него, должно быть, нездоровое сердце, под добрыми, серого цвета глазами набухли мешки. На лысом его черепе над ушами поднимаются, как рога, седые клочья, остатки пышных волос; бороду он бреет, из-под мягкого носа его уныло свисают толстые, казацкие усы, под губою — остренький хвостик эспаньолки. К Алексею и Татьяне он относится с нескрываемой, грустной нежностью.

— Наше поколение обязано облегчать молодежи ее крестный путь, — сказал он однажды другу и сожителю своему Рындину.

«Фабриканты жертв», — подумал Клим, вспомнив эти слова.

Рындин — разорившийся помещик, бывший товарищ народовольцев, потом — толстовец, теперь — фантазер и анархист, большой, сутулый, лет шестидесяти, но очень моложавый; у него грубое, всегда нахмуренное лицо, резкий голос, длинные руки. Он пользуется репутацией человека безгранично доброго, человека «не от мира сего». Старший сын его — сослан, средний — сидит в тюрьме, младший, отказавшись учиться в гимназии, ушел из шестого класса в столярную мастерскую.

О старике Рындине Татьяна сказала:

— Он, из сострадания к людям, готов убивать их.

У Гогина, по воскресеньям, бывали молодые адвокаты, земцы из провинций, статистики; горячились студенты и курсистки, мелькали усталые и таинственные молодые люди. Иногда являлся Редозубов, принося с собою угрюмое озлобление и нетерпимость церковника.

Самгин посещал два-три таких дома, именуя их про себя «странноприимными домами»; а Татьяна называла их:

— Гнездилища словесных ужасов.

Почти везде Самгин встречал Никонову; скромная, незаметная, она приятельски улыбалась ему, но никогда не говорила с ним на политические темы, и только один раз удивила его внезапным, странным вопросом:

— Правда, что Савва Морозов дает деньги на издание «Искры»?

Клим засмеялся:

— Савва Морозов? Это, конечно, шутка.

— Я тоже так думаю, — сказала она и отошла прочь.

Она, постепенно, возбуждала в Самгине симпатию. Было
что «митрофановское», располагающее к доверию, и напоминала о
то не сложную, честную машину.

«Жертва. Покорная раба жизни», — привык думать о не

Слух о том, что Савва Морозов и еще какой-то пермский
владелец щедро помогают революционерам деньгами, упорно
и теперь, лежа на диване, дымя папиросой в темноте, Самгин о
и уныло думал:

«Все может быть. Все может быть в этой безумной стран
ди отчаянно выдумывают себя и вся жизнь скверно выдумана».

Вспоминалось восхищение Радеева интеллигенцией, хозяй
Лютова в его беседе с Никоновой, окрик Саввы Морозова на уч
серватора, химика с мировым именем, вспомнилось еще много

— Да, возможно, что помогают. А если так, значит —
руют. Но где же мое место в этой фантастике? Спрятаться ку
в провинциальную трущобу, жить одиноко, попробовать писат

Он чувствовал, что это также не для него, как роль проп
среди рабочих или роль одного из приятелей жены, крикунов
и эросе, о боге и смерти. У него была органическая неприязнь к
дям красивых слов, к людям, которые, видимо, серьезно верили
уже не только европейцы, но и парижане. Их речи, долетая в
нему, вызывали в его памяти жалкий образ Нехаевой, с ее страх
и болезненной жаждой любви. Они раздражали его тем, что осм
пренебрежительно издеваться над социальными вопросами; они
мому, как-то вырвались или выродились из хаоса тех идей, о
он не мог не думать и которые, мешая ему жить, мучили его. В
себя он понимал, что эти люди очень образованы и что он, в с
с ними, невежда. В конце концов, они говорили о вещах, о кото
имел потребности думать. Иногда он чувствовал, что это его не
но недостаток лишь потому, что ограничивает его лексикон, впр
статочно богатый афоризмами.

— Философия — права, это попытка оправдать бесп
говорил он и говорил, что, признавая законом борьбу за сущес
бесполезно и лицемерно искать в жизни место религии, филосо
рали. Таких фраз он помнил много, хорошо пользовался ими и,
как они дешевы, называл их про себя «медной монетой мудро
вообще от философических размышлений он воздерживался,
тая им «факты», а когда замечал, что факты освещаются им неско
норечиво или слишком одноцветно, он объяснял это требовани
ективности.

В этот вечер тщательно, со всей доступной ему объективно
щупав, пересмотрев все впечатления последних лет, Самгин п
вал себя так совершенно одиноким человеком, таким чужим все

ıто даже испытал тоскливую боль, крепко сжавшую в нем что-то очень ıувствительное. Он приподнялся и долго сидел, бессмысленно глядя на ıокрытые льдом стекла окна, слабо освещенные золотистым огнем фонаря. Эн был в состоянии, близком к отчаянию. В памяти возникла фраза ›едактора «Нашего края»:

«Вся наша интеллигенция больна гипертрофией критического ›тношения к действительности».

«Возможно, что я тоже заразился этой болезнью, — подумал Самгин. — Заразился, и отсюда — все».

Подумав, он быстро нашел «но»:

— Но если я болен, то, в отличие от других, знаю — чем.

А в следующий момент подумал, что если он так одинок, то это зна-ıит, что он действительно исключительный человек. Он вспомнил, что ›щущение своей оторванности от людей было уже испытано им у себя в ороде, на паперти церкви Георгия Победоносца; тогда ему показалось, ıто в одиночестве есть нечто героическое, возвышающее.

— Нет у меня своих слов для голоса души, а чужими она не гово-›ит, — придумал Самгин.

На стене, по стеклу картины скользнуло темное пятно. Самгин оста-ıовился и сообразил, что это его голова, попав в луч света из окна, отра-илась на стекле. Он подошел к столу, закурил папиросу и снова стал ıагать в темноте.

(Продолжение следует).

Бродяга.

(Из «необыкновенных рассказов о мужиках»).

Леонид Леонов.

Чай мало походил на чай, а сахар отзывал керосином. Чадаев нул недопитое блюдце на стол и рассеянно внимал гомону постоя двора. К полудню, как всегда в дни воскресных базаров, сутолока растала, но Чадаева облекала пустая тишина. Вдруг он грузно в и с руками, выкинутыми вперед, двинулся в заднюю дверь тракт Блюдя беспорочную славу заведения больше, нежели единствен глаз свой, трактирщик вышел следом, но подозрения его приш впустую.

В зеленоватых пахучих сумерках двора, пронизанных лучам щелей, постоялец запрягал свою кобылу. Мягкая и расплетистая, неохотно отрывалась от сытной кормухи; постоялец не сердился, о замечал. Однако он поднял с грязной соломы оброненную кем-то крак хлеба и долго глядел на нее, прежде чем положить в дорожную с Тут, разочаровавшись в Чадаевском секрете, трактирщик выступи своего укрытия, и Чадаев смутился.

— Дома-то ведь собаки встренут, — тихо сказал он про хлеб

— А я тебя рази спрашиваю, человек, кто тебя встренет? — еще откликнулся тот и, поморгав злым, смешливым глазом, ушел вовн трактира.

Чадаев выехал со двора.

Рассыпчатыми жавороночьими трелями опутан был апрель полдень. Слепительно рябились лужи, неуловимое журчанье напол мир. Просачиваясь в сердце, оно вселяло приятную, почти хмель легкость, — но бесчинством ошалевших стихий показалась Чадаеву сорок пятая его весна. Достав из-за пазухи письмо жены, ради кото до срока и вопреки смыслу покидал уезд, он снова попытался понять задиристые каракули. «Дорогой мой супруг, — прочел он больше по мяти, — я скучаю. Дорогой мой супруг, я кажный день плачу. Дор мой супруг, не знаю, как время провести. Дорогой мой суп мы гулям...» Слова шумели на ветру, лукавили, хлестали Чадаева же

ким и счастливым смехом. С той же силой ударил он кнутом кобылу, и полоз зашипел унывней в разъезженной колее.

Всю жизнь, на зависть миру, сопровождала его привычная удача — награда ненасытным рукам. В предпризывный год женился он на веселой Катеринке, и даже в древнем, скрипучем доме его не меркла шумливая Катеринкина младость, а по веснам стоял в окнах неумолчный скворчиный свист. Снабженный всем на одоление жизни, одного лишь дара смеха лишен был Чадаев, но и эта горькая несправедливость судьбы приносила ему барыш: его боялись. Война пощадила это рослое и рыжее, как сосна в закате, тело; домой вернулся он целым и даже неподшибленным. Вдруг мелкие, как мыши, напали беды. Целый год он бился с ними, чумея от борьбы, но все новые набегали стайки подгрызать знаменитое его благополучие. В дни передышек он озлобленно вглядывался в самого себя и не находил причин своей разрухе. Лишь теперь ему, едущему на последнюю расправу судьбы, вспомнилось одно фронтовое приключение... и, хотя не стыден мужику никакой грех, прикрытый солдатской шинелью, это воспоминание жгло, точило норы в Чадаевском существе, и вот уже не вытравить его стало ничем.

В пору военного затишья и революционной вольности полгода томился под южным солнцем его бесславный полк. Там сошелся Чадаев с молдаванкой, такою же мужичкой, как и сам. Она была утешительна, как и собственная его Катеринка, ее и звали так же, и она скучала по муже, который, отвоевав положенное, сидел в плену. Ее прельстила неспокойная, северная Чадаевская сила; он дневал и ночевал в ее домике под акациями, жрал ее кур и пил ее вино и часто рассуждал в кругу друзей о разных доблестях своей молдаванки. То, что было ему временной утехой, была ее молдаванская любовь. Ее покинул Чадаев без сожаленья, а слезы помешали видеть женщине, что, увозя с собой на север ее кроткое счастье, он увозил и швейную ее машинку, приглянувшуюся в любовный час... Еще Чадаев не забыл, как ехал на вагоне семнадцать непогодных суток, валяясь в тифозной дремоте и цепко держа покражу между колен. Она стала ему дороже хлеба и жизни, потому что он вез ее в подарок северной Катеринке, которую положил в основу своего мечтательного, в сущности, счастья. Но когда вечером, по пригоне скотины, он всходил на крыльцо родного дома, весь в голодном поту и шатаясь от заветной ноши, Катеринка заплакала. Остановясь, Чадаев мутными глазами взирал на плачущую, и борода его огневела, точно в ней приносил он чужую кровь с войны.

Болезнь и пробуждение к жизни открыли ему странные сокровища, стоявшие дотоле вне скудного его муравьиного обихода. Почти ведовскими глазами он осмотрелся вокруг себя и всему — летящей мошке и растущему дереву — отдал дань своего немужицкого восхищения; мужик, однако, одолел в нем человека. С тем бо́льшим рвением подправлял он всю зиму пошатнувшееся хозяйство, чистил сад и выставил перед домом такое множество скворешен, точно самое счастье пытался приманить

в замшелые стены. Не прижились скворцы, яблони бил червяк, со
снегом вместе Катеринкина веселость. Тогда он растерянно ждал
но, хотя и плодовиты мечтательные, не было детей. Катеринка б
как в банное стекло крапивница, чаще сбегала из дому по сос
выглядела старше матери. Но раз вернулась она с покоса светлой и
лодевшей, была молчалива и весь вечер просидела у окна. Ночью,
спало все Чадаевское, скот и вещи, Катеринка засмеялась сквоз
Спустясь со своей печки, Чадаев сумрачно наблюдал ее, разметав
и освещаемую воровским светом луны. Как ни вглядывался Чадае
крохотную щелочку Катеринкиной тайны, ничего не разглядел в ту
Вокруг все было тихо, за окном ни малой ветринки.

На рассвете прошел дождь, дни побежали погожие, в до
вращалась утраченная улыбка. Оставаясь наедине со своими мы
Катеринка пела старые девичьи песни, и, хотя еще нехватало
допеть их до конца, муж тревожно радовался ее преобра
Изобилие снова посетило это скрипучее место, и птицы ора
деревьях точно купленные. Чадаев дремал, как гора, убаю
ветерками, и только последнее письмо жены, негаданный вспле
жого счастья, пробудило его громоздкое оцепенение. Бросив
в уезде, куда ездил просить о сложении недоимки, он ехал
как на неотвратимую могилу.

Трактирщик пророчил правду, — даже собаки сбежали на
собачью свадьбу: никто не встречал хозяина. Приарканив кобылу к
ню, Чадаев пристально глядел в безответные дыры окон, затянутые
ным глянцем. Ледяная сосулька под навесом роняла надоедные
Чадаев бешено схлестнул ее кнутом и ждал опять, но не было жен
мальчишка, пускавший кораблики в оттепельной лужице, крикну
сквозь палисад, что Катеринка у Сереги на выселках. Чадаев д
и огляделся: чесалась у дерева соседская кобыла, прося жеребца,
бабы у колодца откровенно наблюдали его смятение. Тогда, как был
мяге и с кнутом, Чадаев пошел на выселки, и опять руки его сами
гивались вперед, точно спешили на злодейство.

Пересекая церковную лощинку, все искал он качеств в Сереге,
рыми совратилась Катеринка. Был то беспутный мечтатель об таком
устройстве мужицкого хозяйства, чтоб росли у всех в садах зо
яблоки; за диковатину эту и был он наказан должностью в воло
исполкоме. Он жил со вдовым братом, и на шестах вкруг их жилья
шены были медные *советские нитки*. В зимние вечера зач
сбиралась к нему молодежь и с благоговейной дремотой взирала
передвигая рычажки на самодельном ящичке, прислушивается
к самому неслышному в мире. Приближаясь, Чадаев усмехался
косился на рыжий пожар заката, заливаемый вечерней тенью. У кр
толпились бабы; они враждебно расступились пред Чадаевым, ос
невший взор которого предостерегал грознее, чем кнут, стиснутый
рукавицу. Ни одна не посмела вступить за ним в горьковатую темень

Сперва только лиловые колеса, виясь и качаясь, всплывали в глазах Чадаева, но сердце уже учуяло преступное присутствие Катеринки. Тишина показалась ему неблагополучной, и он подозрительно переступил с ноги на ногу, не решаясь войти сразу на чужую беду. В предчувствиях своих он не ошибся: ранним утром Серегу захлестнуло деревом на рубке леса, и теперь он умирал, лежа на лавке посреди избы. Приподнятое подушкой желтое его лицо призрачно мерцало, точно большая восковая свеча отражалась в нем. Он лежал недвижно, но бегали в его теле суетливые мелкие струйки, а губы распахнула жадная и горькая улыбка. Чтоб утишить его страданья, под ухо ему подложили трубку радио; она одна жила холодными сверканьями в потемках избы. Чадаев увидел жену. Стоя возле на коленях, Катеринка жалостно смотрела в любовниково лицо и, повторяя все его движенья, как бы и сама слышала все то, чему последний раз улыбался Серега.

Оно длилось уже с утра, это необыкновенное свидание, и даже сам Чадаев не посмел прервать его. Он кашлянул, и Катеринка обернулась. По ее исплаканному лицу скользнул строгий ветер, едва она увидела в руке мужа кнут. Оживленный теплом Чадаевской руки, кнут бился и двигался, и Чадаеву стоило труда усмирить его злую прыть. С опущенными глазами Чадаев беспрепятственно прошел к изголовью соперника.

— Теперь уж не поблудуешь, Серега... а? — горько спросил он, протягивая ему прощенье, в котором тот уже не нуждался. Серега задвигался и неверной в ссадинах рукой стал натягивать на себя тулупчик, которым прикрыты были искалеченные ноги. — Холодно? Пока жив — все холодно, а как помрешь, так и согреешься, — строго и важно прибавил Чадаев и, сам дивясь силе, которая удерживала его на месте, помог Сереге переместить тулуп.

— Не стращай его смертью-то, ему и жить не слаще... — бросила Катеринка, и новый холодок, подувший с ее лица, заставил Чадаева умолкнуть. Она опять бесстрашно и жалобно припала к своему еще неоплаканному праху, точно была с ним наедине.

Серега, казалось, дремал; трубка радио отвалилась от его щеки. Чадаев взял ее украдкой и прижал к собственному уху. Там глухо звенела пустота, и, лишь вникнув всем существом своим, он различил глухое журчанье труб, обвиваемых длительными и гибкими вздохами. Музыка доносилась отдаленно и таинственно, как бы сквозь сотню закрытых дверей, но еще явственней, чем в ту свирепую ночь, раскрывалась в ней Катеринкина тайна. Он суеверно отдернул руку и дико покосился по углам: никто не следил за ним... и опять, весь красный и в поту, он подслушивал пугающий и влекущий Серегин мир. Музыка переменилась; человеческий голос, вкрадчивый и покорительный, пытал Чадаева его детьми, которых, как ни молил он, так и не дала ему судьба; его конями, деньгами и неутоленной страстью Чадаева, одна мысль о которых холодила лицо; всем самым дорогим для человека на земле. Качая головой, точно

чурался колдовской близости счастья, он ринулся из избы и на крыль
столкнулся с докторицей, за которой в обед уехал Серегин брат.

Катеринку поздно вечером привели бабы и оставили у крыльц
Чадаев видел с печки, как она, постояв с раскинутыми от горя рукам
пластом повалилась на лавку. Черный от любви и униженья, Чадаев сп
стился к ней и присел рядом. Катеринка в каменящем страхе глядела
обезображенное страстью лицо мужа, готовая к любому истязань
Тогда, едва смея дышать, он наклонился к ней и обнял ее плечи.

— Сука, сука моя... — шепнул он, люто страдая от недостат
иных, нужных слов.

Она медленно сдвигалась в угол, но едва коснулась ее виска рыж
проволока мужней бороды, она метнулась в сторону и закричала, как
ожога. Застигнутый врасплох Катеринкиным воплем, Чадаев озадачен
топтался посреди избы, а жар вторично неистраченного прощенья чад
дымился в нем. Потом он шатко потащился к своей печке. Нетоплен
накануне, она была холодна, а холод сообщал его забытью отрывист
и хрупкие виденья. Кроме прочего, ужасного как казнь, снилась ем
и молдаванка; она призывающе протягивала руки к уходящем
Чадаеву, и самые руки ее издавали звенящий и ранящий звук. К ра
свету стало сыро, в окнах падал скверный снежок, Катеринки не бы
в избе. Чадаев посидел на лавке, слушая, как охает что-то в подполь
потом вышел в сад, но там было еще неприютней, и он воротил
в дом. Тут-то и пришел к нему председатель Сорокин с повестк
о взыскании недоимки.

Маленький и по пронырливости с хорьком схожий мужик этот н
когда не приходился по душе Чадаеву; он все спешил куда-то и задыхалс
и дышал со злостью, точно исполнял досадную провинность. Полож
повестку на стол пред Чадаевым, он приказал расписаться.

— Печатный знак могу прочесть, а писать не надоумлен, — прос
сказал Чадаев.

— Крест поставь что читал, а завтра и опишем... — скрипу
отвечал Сорокин.

Они встретились глазами, и оба отвернулись, точно ловили дру
друга на лжи.

— Беда меня посетила, Сорокин, — глухо сознался хозяин, гля
в нелепую сургучную печать на поле председателева полушубка, доста
шегося ему, видимо, по описи. — Серега-то ведь на постель ко м
ходил!..

— Ну, и что ж в том особенного? — холодно ответствовал тот, да
и малой лжинкой не украшая этой страшной житейской мелочи.

— Так ведь Катеринка-то жена мне... одинцать лет вот где ее т
скал! — вскричал Чадаев, ударяя себя почему-то по шее. Борода его п
этом затлела и шарахнулась, как кусток в пожаре

— Что ж особенного? — еще невозмутимей возразил тот и распра
лял замятые уголки повестки.

— Любил ее... — скупо выцедил Чадаев, пробуя всяко сердце казенного человека.

Тут Сорокин поднялся.

— Какая ж твоя беда!.. Счастье тебе привалило. Помер Серега-то, нонче утром помер. Теперь владей, Фадей, своей Маланьей... — сказал он с лицом злым и скучным и, отвернувшись, барабанил пальцами в подоконник.

Чадаев сидел, низко склонясь к повестке; бумага слабо шевелилась от его дыхания. На мгновенье, когда узнал весть о Сереге, оглушительное ликование вспыхнуло в нем, но потом, точно весь сок вытек разом, существо его сомкнулось, смялся пузырь души, и даже сладкий звук Катеринкина имени не доставлял ему прежней утехи. Повестка росла в его рассеянном воображении, делалась в стол и больше, вставала на дыбы, наваливалась, душила... Повинуясь странному влеченью, Чадаев вдруг скомкал бумагу и, положив себе в рот, неспешно и на глазах у побледневшего председателя жевал эту тошную и насильственную пищу. Затем, проглотив, он опустелым глазом смотрел на Сорокина, который отражался там очень маленьким.

— Ответишь!.. — в смущении и не сразу нашелся тот, а застегивался и надевал картуз как-то очень долго, точно давал время обидчику на раскаянье.

— Вострый ты... а и коса об камень тупится, — сказал ему Чадаев вдогонку.

По его уходе, Чадаев достал суму и стал собираться в дорогу; при этом он разбил блюдце, но, хотя и не торопился никуда, не подбирал осколков. Одевшись, он вышел через двор. Ничто более не удерживало его в этой могиле обманутых чаяний. Сквозь пасмурное уныние сквозило солнечное тепло, но Чадаеву и без того не было холодно от гнева, который уносил в себе. У ворот сада он остановился и свистом позвал собак, сидевших у колодца. Они завиляли хвостами, заюлили, страдая от собачьего конфуза, и остались сидеть. Он крикнул их по именам, в смятеньи хлопая себя по колену, но одна повернулась к нему задом, а другая сделала вид, будто разглядывает жучка, который полз по срубу в полном очумении от снега. Чадаев ушел навсегда.

Сперва он отправился к вдовой сестре в недальнюю волость и просил приютить его хотя бы как батрака. Сестра, тоже рыжая, как все Чадаевы, рыжая и осатаневшая от нищеты, накинулась на него с бранью, а, выкричавшись, дала брату щей и отвела место на полатях по соседству с целым выводком тощих детей. Здесь он провел первый свой бездомный месяц, пахал землю и славил советского бога за освобождение от многих напрасных забот. Но однажды принесли повестку о вызове в суд, и тогда Чадаев скрылся от сестры в неизвестном направлении.

Все дороги были ему незагорожены, и в Поросятниково он поспел к покосу. Усердный в новой должности, он всемерно оправдывал своим хозяевам скудное содержание. Но раз прибежал на пойму, где он косил

со многими другими, секретаренок из волости с бумажкой на Чадаев: Время выпало страдное, а день погожий, и сопровождать преступник было некому. Потому и дали ему в конвоиры Аксюшу, девочку десят годков, отвести злодея за пять верст, на законную расправу. И ту Чадаев засмеялся впервые в жизни, беря девочку за руку и отправляяс в дорогу.

Они вышли близ полдня, а в полдень взбухло кудрявое облачк в зените, зарокотала возмущенная синева, и все растущее вытянулос в невыразимой тоске. Чадаев с Аксюшей едва успели укрыться под ель в перелеске, когда ливень ринулся со свистом на иссушенный прах полей Девочка боялась грозы; она жалась к дереву и дрожала, не выпуская однако, Чадаевской руки. Тогда, прикрывая Аксюшу от мелкой водяно пыли, он стал рассказывать ей все то, чем когда-то мать веселила ег собственное скудное детство. Там действовали черти, глупые и вол сатые бедокуры, колдуны и одноглазые прозорлиецы, а среди пр чих призраков, уходящих и наивных, сам Илья, тот самый, которь грозы содержит, как соколов на руке. Ни с кем еще не говорил с таким языком; голос его сплетался с треском леса, и самый смыс рассказа полностью совпадал с тем, о чем громово и огненно повеств вала гроза.

Настороженней, чем страшной перекличке туч, внимала Аксюш дикой сказке Чадаева. Казалось, Чадаев пугал ее, грозил разрывом н всегда, молил поверить, предупреждал в последний раз, терзался от н разделенного одиночества... Тут широким зеленым крылом солнце ома: нуло поля, задев и босые Аксюшины ноги. Ливень перестал; капл в воздухе, исполнились сверканья; у самых ног, в траве, не страшас повисшие на ветвях быть раздавленным, затрещал кузнечик... и тольк где-то вдали, под радугой еще урчала темная, несытая утроба.

— Врешь, поди? — лукаво покосилась девочка и, памятуя шутл вые наставления старших, деловито потащила Чадаева на дорогу. Ни сл вом до самой волости не обменялся он со своим неподкупным поводыре ком, точно и не сроднила их недавняя опасность грозы.

Из волостного узилища он сбежал лишь под утро, чтоб через недел поступить в лесные сторожа.

Лесами кичилась округа, но мужики и промышляли лесом, и потом на каждое дерево было по лесному вору. Воры были люты в своей борь за воровское право. Еще Чадаевскому предшественнику, поймав, вст вили воры жердь в рукава и пустили на волю, чтоб гулял всю жизнь мерил охраняемый лес. А лес был красный, нечистый, сдавна ославленнь молвой, будто камни в нем по осени поют, а елки с места на место перех дят... и если не имелось в нем лесовика, по заслугам вступил Чада в пустующую должность. Самым существованием своим в виде бессмысл цы уже устрашал Чадаев. Сидеть бы ворам без работы, ворятам без ед но под вечер однажды, когда сидел он, босой, у канавки да смотрел, ка пляшут в красной лесной воде комариные головастики, распахнулся ку

и вышел оттуда милиционер в полной форме и с бумагой на Чадаевскую волю. Чадаев засмеялся и вышел в сторожку обуться, а когда, не дождавшись, отправился за ним милиционер, никого там не нашел кроме сычонка, накануне из жалости подобранного Чадаевым в лесу. Сидел сычонок на столе и моргал на казенного человека, который даже отшатнулся от такой обиды. Чадаев растаял посреди лесных темнин.

Эта первая его бродяжная ночь, проведенная на дровяной заготовке, в поленнице, благоухала. Его разбудил жучок, залезший в просторный Чадаевский нос. В воздухе сновала птичура, и какой-то красноголовый носач, устав дубасить дерево, раздумчиво подглядывал за поведением пришельца. Чадаев вспомнил вчерашнее и рассмеялся на людей, которые все еще не устали записывать его преступления. А грех с грехом в дружбе живут: к делу о недоимке и самовольном съедении повестки присоединилась неявка в суд, потом объявилось самоукрывательство, а когда сюда же присовокупился и побег, стало ясно, что сам себя навсегда отлучил он от мира. Так родился бродяга.

Он уже не прикреплялся ни к чему, а существовал в постоянном движении. Он все ходил, а мир все писал. И никто не интересовался им самим, но его грехами. Порой, наскучив лодырным одиночеством, он брался за дело; лето ходил в пастухах, зиму почтальонил в уезде, весной попал на сплав, а осенью я встретил его на реке, куда забрел в поисках одной удивительной травы, воспоминания детства, названья которой я не знал никогда. Возможно, что меня приманил и странный квокающий звук. Спустившись с бугра, я увидел Чадаева; в занятиях его мне почудилось колдовское. Лежа на плоте и приподняв в одной руке полено, а в другой деревянный странной формы ковш, он изредка ударял им по воде. Полчаса спустя, когда окончились взаимные обнюхиванья и он удостоверился, что я не собираюсь свершить над ним закон, он объяснил мне, смеясь и потроша усатую добычу, что так он ловит сомов. При тихой погоде к в о к его слышен издалека; любопытствуя узнать, что за звук, сом подходит ближе... за что и бывает наказуем положением во щи.

Мы посидели у костерка. На высоком речном скате, укрытом черемуховой порослью и осинничком, оранжево и печально дотлевало лето. Дымок щекотал глаза, и что-то понуждало меня усерднее подсовывать в огонь обгоревшие и отвалившиеся ветки. Ни словом в скупой беседе не проговорился Чадаев о своей молдаванке, но я был уверен, что из дому его выгнала тоска по ней. Мне ясно представлялось, как вошел он, пустой и кроткий, во двор ее, а муж на дворе палил свинью. Он постоял недолго, привлекая на себя остренькое вниманьице хозяина, потом ушел. Домыслов моих ничем не подтвердил Чадаев, и я не утверждаю, что все это рассказал он мне сам.

— ... через годик совсем чортом стану, а чорту что! — густо сказал бродяга, и мне померещилось, что это он и есть, оживший предрассудок. — А чорту что, говорю! Сквозь него даже можно пройти, а он смеется...

Варево поспело, но ложка была одна. Я пошел по дороге, так и найдя моей травы. День меркнул, деревья стали плоски, дороги лилов поля влажны. Мне все казалось, что непременно встречу верхового, кот рый проскачет мимо меня, держа высоко над головой бумагу на Чадаев с предписанием зашить в рогожу и доставить на обследование в уез В ту минуту я почти верил в мужицкую легенду о медведе, который глазах очевидца вышел на опушку и, поклонясь деревне, близ котор прожил жизнь, ушел в глубь леса, чтоб не возвращаться никогда.

Квадратура круга.

(Шутка в трех действиях).

Валентин Катаев.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Большая, пустынная, запущенная комната в московском муниципализованном доме. Две двери. В левом (или правом) дальнем углу — подобие кровати — продавленный полосатый пружинный матрац, установленный на четырех кирпичах, из числа тех, что именуются злобно — «прохвостово ложе». На нем — ужасающего вида подушка в пятнистом напернике, без наволочки. Рядом стул. На стене висят старые штаны. В правом (или левом), дальнем углу груда книг, газет, брошюр. С середины потолка висит одинокая, но довольно яркого света лампочка без тарелки и абажура, прямо в патроне. Под лампочкой стоит зеленая садовая скамейка на чугунных ножках с вырезанными на ней инициалами и большим пронзенным сердцем. На скамейке — толстый том Бухарина, видимо заменяющий подушку. Заметно, что скамейка поставлена сюда,чтобы можно было лежа читать. На подоконнике — самодельный рупор громкоговорителя и ящичек с катодными лампочками. Тут же кой-какая посудишка. Больше в комнате ничего нет. При поднятии занавеса на сцене темно, лишь сквозь замерзшее, синее, обледенелое окно проникает сусальный свет уличного фонаря, который, мерцая, как бы висит среди ледяных ветвей морозного узора, как елочный орех. Время — наши дни.

Явление 1.

Входит Вася, за ним Людмила.

Вася. Сюда, Людмилочка, сюда. Не заблудись в коридоре.

Людмила. Ай! Я обо что-то зацепилась юбкой.

Вася. Это об велосипед. Держись за меня.

Людмила. Фу, как не стыдно, котик, — коридор две версты и ни одной лампочки.

Вася. Перегорела на прошлой неделе.

Людмила. Девяносто рублей в месяц получаешь — не мог новую купить.

Вася. Не сообразил. Не трахнись о шкаф. Все как-то некогда. Днем на службе, вечером готовлюсь. Входи смело.

Людмила. Бить тебя до сих пор было некому. Погоди, дорогой супруг, теперь уж я за тебя возьмусь.

Вася. Правильно. Возьмись, бери меня в работу. На то и р сывались. Сейчас я зажгу свет. Комнатка что надо, только мебели ловато.

Людмила. Интересно, как ты живешь.

Вася. Тьфу, лампочку не могу найти. Абрам, ты дома? — Не

Людмила. Как, разве ты не один живешь?

Вася. Я тебя забыл предупредить. Абрам — это один глубоко парень... Но ты, Людмилочка, не беспокойся...

Людмила. Так ты живешь вдвоем с товарищем! Здрасте. М еще и товарищ женатый?

Вася. Кто? Абрам женатый? Сухой холостяк!

Людмила. А он знает, что мы поженились.

Вася. Постой... Не знает... Но это не важно. Он будет очень Честное слово! Вот ты увидишь. Прямо танцовать от радости буде

Людмила. Ох, Васька!

Вася. Право же... Вот он сейчас придет, а я ему сейчас все ложу: так и так... мол, женился... И ничего страшного. Ты, гла Людмилочка, не расстраивайся. В общем, его по целым дням не б дома. Где же это чортово электричество? Только ночует. Ничего, ка будь устроимся. Ну, вот, есть. *(Зажигает свет.)* Конечно, нельзя ска чтоб очень шикарно. Главное, понимаешь, мебели маловато... Ну, Людмилочка?

Людмила. Чисто как свиньи. И холодюга!

Вася. Это потому, что окна не замазаны. Но ты, Людмил главное, не тово, не поддавайся панике... Мы это все устроим. По обзаведемся малость. Окна замажем, лампочку в коридор купим, по метем, все будет на ять!

Людмила. И вы тут вдвоем с товарищем живете в этой коню

Вася. Угу.

Людмила. На чем же вы спите?

Вася. Я, вот, на этой... на тахте. А он — на скамейке... О представь себе, удобная скамейка, с Чистых прудов. Да ты, Людмил не скучай. Может быть, хочешь, я тебе громкоговоритель включу? ственной конструкции, принимает на осветительную сеть. Берлин хать — во! Людмилочка!.. ну... что ж ты молчишь?.. не хочешь р варивать?

Людмила. Можешь со своим радио разговаривать. Я тебе не коговоритель. Кроме всяких шуток, на девяносто рублей в месяц, каж можно было кой-чего приобрести. Где одеяло?

Вася. Нету.

Людмила. Чем же ты укрываешься?

Вася. Пальтом укрываюсь. Небось на вате...

Людмила. Голова у тебя на вате. Глаза б мои не видели. Лк лочка, Людмилочка, а у самого на двоих одна подушка... Такая, что ки взять страшно. Как же вы с вашим товарищем спите?

Вася. Так и спим. По очереди. Один день я на подушке, а он — на Бухарине, а другой день он на подушке, а я — на Бухарине.

Людмила. А грязи-то везде, грязи! Настоящий хлев. Небось комнату целый год не мели! Вот оно сколько сметья! От людей, должно быть, совестно. Примус есть?

Вася. Нету.

Людмила. Очень приятно слышать. Ну, погоди, миленький муж! *(Ходит по комнате.)* Постель — туда. Сюда — стол. Сюда стул и сюда стул. Так. Тут коврик. Тут полочка.

Вася. Правильно. Вот это настоящая хозяйка. Подруга жизни. Что надо!

Людмила. Сюда тарелочки, сюда занавеску.

Вася. Ну, занавеску — это, может быть, лишнее. Мещанство все-таки.

Людмила. Что? Коли мещанство, так и нечего было со мной расписываться. Молчи уж!.. Сюда шкафик для посуды. Так. Ага... Погоди, я сейчас сбегаю к сестре, принесу кой-какие вещи — нельзя же, в самом деле, в такой конюшне ночевать! Метла есть?

Вася. Нет.

Людмила. Чтоб была. Понял? Покуда я за вещами буду ходить, чтоб все было выметено.

Вася. Да.

Людмила. Котик... Ты меня любишь?

Вася. На все сто процентов?

Людмила. Так поцелуй меня в носик.

Вася. Людмилочка! *(Хватает ее в объятия.)*

Людмила. Тссс! Ты с ума сошел! Пусти.

Вася. Людмилочка... Постой!.. Как же так?..

Людмила. А так же. Чтоб пол блестел. До свидания, супруг. *(Ушла.)*

Явление 2.

Вася. Супруг! Во как! Интересно быть женатым, пес бы его взял! *(Стучит в стенку.)* Никаноров... Веника нету? Ты дома?.. Веника? Очень жаль!

Явление 3.

Входит Тоня с двумя вязанками книг.

Тоня *(в дверях)*. Абрам, ты дома?

Вася. Не приходил. Кузнецова!!! Сколько лет!?.

Тоня. Вася? Здорово!

Вася. Тоня... *(Потрясен слегка.)* Ты к Абраму?

Тоня. К Абраму. Он тебе ничего не говорил?

Вася. Нет. Я его со вчерашнего дня не видел. Ну, покажись же, покажись, какая ты стала?

Т о н я. Да какая, такая самая, как тогда, обыкновенная. А ты здесь что делаешь?

В а с я. Я здесь что делаю? Ничего, живу.

Т о н я. Ты здесь живешь? В этой комнате?

В а с я. В этой самой.

Т о н я. Вместе с Абрамом?

В а с я. Да... да... Вместе с Абрамом... а теперь...

Т о н я. Он мне об этом ничего не говорил... Хорошо.

В а с я. А то бы давно забежала? Правда?

Т о н я. То есть не совсем... Гм... Это Абрама угол? *(Показывает на угол с книгами.)*

В а с я. Абрама.

Т о н я. Да... Что ж... Помещение довольно большое... Абрам на чем спит?

В а с я. На скамейке. Это его половина. А та — моя... Да... такие-то дела, Тонечка.

Т о н я. Я тут пока посижу.

В а с я. Да-да. Ты пока посиди. Абрам наверное сейчас придет. Он всегда в это время приходит. Мне тоже нужно с ним поговорить... Одно, знаешь, такое щекотливое дельце... *(Высовывается в коридор.)* Рабинович! Метелка есть? Нету? Очень жаль. У кого? В девятой квартире? Ладно. *(Тоне.)* Тут, понимаешь, подмести малость надо... а то не особенно... И веника ни у кого нет... Так ты же смотри... Я же тебя тыщу лет не видел... Никуда не уходи.

Т о н я. Не собираюсь.

В а с я. Сейчас, в два счета. *(Деловито убегает.)*

Явление 4.

Т о н я *(одна)*. Ничего не поделаешь. Хорошо.

Явление 5.

Входит А б р а м, таща на плечах козлы, а под-мышкой книги.

А б р а м. Кузнецова, ты уже здесь? Плотникова достала?

Т о н я. Максимум до вторника. Под честное слово.

А б р а м. Придется читать вместе. Смотри, я приобрел знаменитые козлы. Между прочим, чорт бы его побрал. Из-за этого паршивого загса я опоздал на бюро ячейки. Ты не опоздала? Я тебя — для чего это нужно? Как будто бы нельзя без регистрации! Кому от этого холодно?

Т о н я. Уступка мелкой буржуазии и зажиточному крестьянству.

А б р а м. Ага! Куда ставить козлы?

Т о н я. Я думаю под лампочку, чтоб можно было читать. Давай я тебе помогу. Вот так. Спасибо. *(Ложится на козлы.)* Да, кстати, — кажется, в этой комнате живет еще один товарищ? Ты мне ничего об этом не говорил.

Абрам. Ой! Совсем из головы выскочило! Что ты скажешь?!. Но ты, Кузнецова, не беспокойся,—это ерунда. Он же глубоко свой парень. Васька!

Тоня. Надеюсь, он не женат.

Абрам. Кто? Васька женат? Закоренелый холостяк!

Тоня. Да? Я его знаю.

Абрам. Он уже приходил?

Тоня. Побежал за веником. Сейчас придет.

Абрам. Слушай, Кузнецова... Ты его уже информировала, что мы регистрировались?

Тоня. Нет. Но он все время на меня смотрел как-то так, что я думаю...

Абрам. Ты думаешь, догадался? Ай, как нехорошо. Между прочим, ты сегодня обедала? *(Тоня отрицательно качает головой.)* Ужасно жрать хочется! Может быть, у Васьки что-нибудь есть? *(Ищет.)* Колбаса! Кузнецова, как ты думаешь, если я у него возьму немножко колбасы — это этично или не этично?

Тоня. Не этично.

Абрам. Так он же глубоко свой парень!

Тоня. Да? А мне показалось, наоборот, признаки нездорового обрастания: полосатый галстук бабочкой, нэпманские штиблеты, в общем имеет вид сухаревского жениха.

Абрам. Неужели вид жениха? Я-таки, по правде сказать, давно замечаю, что Васька обрастает. Кстати, все-таки, надо с ним согласовать вопрос о нашем браке. Я думаю, он может только приветствовать. Так не брать васькиной колбасы? Или, может быть, взять? А, Кузнецова, как ты думаешь? Или не этично?

Тоня. Можно сложиться на четыреста грамм краковской. У тебя деньги есть?

Абрам. После козлов осталось двенадцать копеек и восемь — завтра на трамвай.

Тоня. У меня тут тоже что-то... Погоди... Пять, десять, а вот еще... Тридцать девять копеек. Давай свои деньги. Тут за углом, кажется, ларек. Я сейчас сбегаю.

Абрам. Почему именно ты сбегаешь, а не я? Я же, все-таки, твой муж.

Тоня. Муж? Абрам, я тебя прошу без мещанства. Ты покупал и тащил козлы, а я пойду за пищей.

Абрам. Взаимное понимание, разделение труда и рабочий контакт.

Тоня. Именно.

Абрам. Тогда не возражаю. *(Тоня уходит.)*

Явление 6.

Абрам *(один)*. Что нужно для прочного брака? — Сходство характеров, взаимное понимание, классовая принадлежность, общая политическая установка, трудовой контакт. Сходство характеров? — Есть. Взаимное

понимание?—С полуслова. Классовая принадлежность?—Имеется. Общ
политическая установка?—А что же! Трудовой контакт? — Ого! Так в че
же дело? Может быть, любовь? Социальный предрассудок, кисель,
сладкое, гнилой идеализм... А между прочим... *(Нюхает воздух.)* У
на всю комнату колбасой пахнет... Или не этично? А?

Явление 7.

Входит Вася с метелкой.

Вася *(увидел Абрама, смущен)*. А! Ты уже пришел. *(Начинае чрезвычайно смущенно подметать.)* Надо ему сразу сказать.

Абрам *(про себя)*. Надо его информировать. *(Васе.)* Здорово.

Вася. Здорово. Слушай, Абрам. *(Про себя.)* До чего ж неловк *(Абраму.)* Такое дело, Абрам... Тут тебя Кузнецова, между прочим, д жидалась, — видел?

Абрам *(тревожно)*. Так что ж из этого следует? Ну, дожидала и дожидалась, а что такое?

Вася. Да нет, это я так, между прочим.

Абрам. Между прочим?

Вася. Между прочим... Абрам...

Абрам. Ну? Она тебе ничего не говорила?

Вася. Ничего, а что?

Абрам. Ничего. Это я так, между прочим.

Вася. Между прочим?.. Ага... Абрам... Ты себе, я вижу, купи козлы?

Абрам. Ну, ерунда. При чем тут козлы? *(Про себя.)* Надо его и формировать... *(Васе.)* Кстати о козлах... Я должен задать тебе оди принципиальный вопрос...

Вася. Ну? *(Про себя.)* Кажется, догадался...

Абрам *(с отчаянием и мрачной решимостью)*. Васька... Ты доп скаешь, чтобы в этой комнате помещалось трое?

Вася *(отчаянно)*. А в чем дело?

Абрам. Я тебя спрашиваю: этично это или не этично?

Вася. Ясно, что этично. А куда ж иначе деваться? Ты же, кажетс глубоко свой парень! Сам понимаешь.

Абрам *(в восторге)*. Правильно, Васька! Вот за это я тебя любл Спасибо, старик! Я знал, что ты не подкачаешь. Даю тебе честное, комс мольское слово, что постараюсь тебя не стеснить.

Вася *(со слезами умиления на глазах)*. Спасибо, друг! Спасиб Абрам! Я всегда говорил, что ты глубоко свой парень. Как бы только тебя не стеснил...

Абрам. Ерунда! Ты-то не стеснишь... Вот только чтоб я...

Вася. Ну, все-таки... Занавески там пойдут всякие, канарейки клетке... То, се... Она, положим, баба хорошая.

Абрам. Руку, товарищ! Я так рад, что она тебе понравилась...

Вася. Спасибо, спасибо! Я был уверен, что ты страшно обрадуешься.

Абрам. Ну, еще бы, миленький, я думаю! Еще бы! Еще бы!

Вася. Но все-таки она и потанцовать любит, и хвостом повертеть... В общем малость мещаночка...

Абрам. Кто мещаночка?

Вася. Она.

Абрам. Кузнецова?

Вася. При чем тут Кузнецова?

Абрам *(струсив)*. Что ты! Что ты! Абсолютно не при чем. Это я ак, между прочим, к слову пришлось, — ты, пожалуйста, не думай. Про-то Кузнецова ушла за колбасой в лавку. И ничего такого...

Вася. За колбасой? Кузнецова?

Абрам. Ну да. А почему бы ей, в самом деле, не пойти за колбасой? Вот, кстати, и Кузнецова. Спросим у нее.

Явление 8.

Входит Тоня.

Абрам. А мы только как раз о тебе спорили. Васька говорит, что ы не пошла за колбасой, а я говорю как раз, что ты пошла за колбасой... Хи-хи... Такое недоразумение... *(Подмигивает отчаянно Тоне.)* Кстати, ы знакома с Васькой?

Тоня. Знакома.

Вася *(слишком старательно подметает)*. Встречались.

Тоня *(Абраму, негромко)*. Информировал?

Абрам *(так же негромко)*. Не выходит. Язык не поворачивается. Кузнецова, я тебя очень прошу — информируй ты.

Тоня. Я?

Абрам. Ну да, а то я стесняюсь.

Тоня. Я не понимаю, что за феодальные нежности. Дело совершенно простое. Ничего ужасного. Прямо пойди и все объясни.

Абрам. Легко сказать — объясни. Иди сама объясни.

Тоня. Почему? Ты, кажется, муж.

Абрам. Кузнецова, без мещанства.

Тоня. Наконец, я ходила за колбасой, а ты должен информировать.

Абрам. Разделение труда?

Тоня. Именно.

Абрам. Значит, прямо пойти и прямо объяснить?

Тоня. Прямо иди и прямо объясни.

Абрам. Или не этично?

Тоня. Этично.

Абрам. Ух! Прямо пойду и прямо объясню. Ух! *(Идет к Васе.)* Слушай, старик... Такое дело... Я должен с тобою серьезно поговорить... Гм... Кстати... Что это ты сегодня так разоделся? Прямо какой-то жених.

Вася. Я жених?!? Откуда ты взял?!?

А б р а м. Ну, ну... Я пошутил. Я же знаю, что ты закоренелый холостяк. Кстати о холостяках... то есть кстати о женихах... То есть кстати о браке вообще...

В а с я *(крайне смущенно и угрюмо)*. Какой может быть брак?

А б р а м. Постой, постой, старик. Ты, главное, не сердись. Поговорим серьезно... Ух!.. Ну, жили вдвоем, а теперь будем жить втроем Подумаешь — трагедия! Я бы, например, на твоем месте даже радовался

В а с я. Радовался?

А б р а м. А что же? Гораздо веселей.

В а с я. Абрам! Ты это серьезно?

А б р а м. Самым серьезным образом.

В а с я. Руку, товарищ! *(Крепкое рукопожатие.)*

А б р а м. Как говорится — всерьез и надолго. Даже в загсе зарегистрировались...

В а с я. Регистрировались, регистрировались! Как же... по всей форме. Там еще такой смешной заведующий столом браков сидит, с такими понимаешь, усами. Речь сказал.

А б р а м. Верно, верно. Речь сказал. Постой... А ты откуда знаешь?

В а с я. Как это — откуда знаю? А кто ж по-твоему сегодня регистрировался, как не я?

А б р а м. Ты регистрировался? Постой... Это я регистрировался.

В а с я. Ты? Ты тоже регистрировался?

А б р а м. Что значит — тоже? Не тоже, а главным образом.

В а с я. Абрам. Тогда... значит... мы оба... сегодня... ре...

А б р а м. Регистрировались! Тссс!!!

В а с я. ...гистрировались!

А б р а м. Кузнецова, произошел страшнейший крах. Ты слышишь? *(Тоня давно сидит с каменным лицом, углубившись в книжку.)*

Т о н я *(всецело поглощенная книжкой)*. Да, нет, что такое? Информировал?

А б р а м. Информировал! Ого!

Т о н я. Он возражает?

А б р а м. Возражает? Мало сказать — возражает. Хуже — он не возражает! Больше того — он солидарен с нами на все сто процентов!!!

Т о н я. Чего ж ты вопишь, я не понимаю! Солидарен — и прекрасно. Втроем так втроем, очень хорошо.

А б р а м *(почти ревет)*. Втроем! Она говорит: втроем! Кузнецова!

Т о н я. Что такое? Может быть, ты против того, что мы будем жить втроем?

А б р а м. Будем жить втроем!!! Кузнецова! Брось книгу! Вдумайся, что произошло.

Т о н я. Ничего не понимаю.

А б р а м. Она не понимает! Тонька, пойми...

Т о н я. Ну?

А б р а м. Он...

Тоня. Да.

Абрам. Язык не поворачивается. Дай мою порцию колбасы. Я хочу лопать. Кузнецова! Ну, поняла?

Тоня. Ничего я не поняла. Не мешай мне, пожалуйста, читать.

Абрам. В такую минуту читать! Кузнецова!!!

Тоня. Выпей стакан воды.

Абрам. Хоть целый водопровод! Хоть два водопровода! *(В изнеможении.)*

Явление 9.

Грохот упавшего за сценой велосипеда.

Людмила *(из коридора)*. Вася! Васюк! Мы тут заблудились. Я себе обо что-то юбку разорвала. Да иди же!

Вася *(в ужасе)*. Людмилочка! Товарищи, она же меня съест, а ну вас всех... *(Кричит ей.)* Это об велосипед. *(Абраму, свистящим шопотом.)* Надо было сначала думать, а потом регистрироваться... *(Кричит в дверь.)* Сейчас, Людмилочка! *(Убегая, Абраму.)* Чтоб ты сдох! Тссс!

Явление 10.

Без Васи.

Тоня. Что там за шум? Кто пришел?

Абрам. Это к Ваське... Одна ответственная работница пришла... В гости...

Явление 11.

Входит Людмила, за ней Вася и племянник, пионер Саша, с узлами.

Людмила. Всю юбку чуть не подрала. Чтоб завтра же была лампочка! Саша, не разбей абажур. Что ж ты на ноги лезешь! Ах ты, господи, какой несносный ребенок! Клади сюда вещи. Лампу не разбей!

Тоня *(Абраму)*. Это ответственная работница?

Абрам. Ну да... То есть она еще пока не совсем ответственная. Что ты на меня смотришь?

Тоня. Почему она с вещами?

Абрам. Какая ты странная, Кузнецова... Все тебе надо знать — почему? Мало ли почему. Может быть, она на дачу перезжает и по дороге зашла со знакомым товарищем попрощаться...

Тоня. В январе на дачу!

Абрам. Положим, через две недели будет февраль. Но это не важно. Ты себе, Кузнецова, читай и ни на кого не обращай внимания.

Тоня *(смотрит на Людмилу, пожимает плечами)*. Пф... Хорошо...

Абрам. Полный крах!

Людмила *(Васе)*. Это кто такие?

Вася. Это, Людмилочка, Абрам. Ты с ним знакома. Абрам, иди сюда, я тебя познакомлю с Людмилочкой.

Людмила. Здравствуйте, Абрамчик!

Абрам. Ну, здравствуйте, Абрам! *(Рукопожатия.)*

Людмила. А это кто такая?

Абрам. Это?..

Вася. Тссс! Это, Людмилочка... так... одна хорошая знакома: Абрамчика... Пришла, знаешь, посидеть... поговорить... Чайку попить.. Ты на нее не обращай внимания... Правда, Абрам? *(Делает ему отчаянны знаки.)*

Абрам. Ну да... хорошая знакомая... Ясно... Вы не беспокойтесь..

Людмила. А почему козлы? Откуда они взялись?

Вася. Почему козлы?.. Абрам... почему козлы? *(Отчаянно подми гивает.)*

Абрам. Почему козлы? Это она козлы с собой принесла. Така: чудачка — на дворе январь, а она на дачу переезжает, хи-хи, забежал. попрощаться...

Тоня *(услышала)*. Абрам, что это значит?

Абрам. А? Это значит... Кузнецова... Это значит, что произоше: потрясающий крах. *(Шопотом.)* Они тоже сегодня регистрировались

Тоня *(слегка обалдела)*. Где?

Абрам. В загсе.

Тоня *(еще не вполне понимая)*. Зачем?

Абрам. Уступка мелкой буржуазии и зажиточному крестьянству Ты думаешь — только мы с тобой такие умные? Кузнецова! Ты понимаешь что произошло?

Тоня. Понимаю.

Людмила *(Васе)*. Вася, чтож она тут разлеглась посредине ком наты? Устраиваться мешает! Скажи ей.

Вася. Ну, что ты, Людмилочка, что ты! Вот еще, ей-богу... Пускаі себе лежит, а ты не обращай на нее внимания.

Людмила. Как это — не обращай внимания! Если не обращаті внимания, так она сюда, пожалуй, вообще жить переедет. Всю площадı загородила, нахалка! Я ей сейчас сама скажу — пускай завтра в гості приходит.

Вася. Людмилочка... Ради бога...

Людмила. И очень даже просто.

Вася. Людмилочка... Умоляю тебя... Я тебе должен сказать.. Только ты, конечно, не сердись... Дело в том, что Абрам сегодня тож женился... на ней...

Людмила. Чего? *(Гром и молния, роняет узел и садитс. на него.)*

Вася. Такое дело.

Людмила. Бессовестный обманщик! Не смей меня трогать!

Вася. Людмилочка, золотко...

Людмила. Уйди! Я тебя ненавижу!

Вася. Милочка.

Людмила. Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди! *(Топает ногами, рыдает.)*

Вася. Людмилка! Людочка! Милочка! А ну вас всех в болото, чтоб вы сдохли!.. Милочка, кошечка...

Абрам. Кузнецова, ты видишь крах налицо...

Тоня. Пустяки, поместимся. Ничего ужасного.

Абрам. Вчетвером в одной комнате?

Тоня. Я могу уйти.

Абрам. Куда? Куда ты можешь уйти? У тебя есть где ночевать? На дворе двадцать градусов мороза. Я тебя не пущу.

Тоня. Интересно как это ты меня можешь не пустить!

Абрам. Брось глупости! Я же твой муж!

Тоня. Только без мещанства!

Абрам. Кузнецова. Я тебя умоляю! У нас же, наконец, рабочий контакт. Где я достану Плотникова?

Тоня. Хорошо.

Вася. Честное слово, я не знаю, что делать. Кузнецова, может быть, ты на нее повлияешь?

Тоня *(подходит к Людмиле)*. Товарищ, ну, что ж делать, если произошла такая досадная неувязка? Вы член ВЛКСМ?

Вася *(в отчаянии)*. Беспартийная. Пока. *(Тоня отходит.)*

Абрам. Я всегда говорил, что у нас работа среди беспартийных ни к чорту.

Людмила *(сквозь слезы)*. Это здесь не при чем... У меня дедушка герой труда.

Абрам. Тем более не стоит плакать.

Людмила. Он мне, товарищи, вчера весь вечер, как только познакомились, всякими словами голову стал крутить. И, конечно, в конце концов закрутил. Будем, говорит, Людмилочка, жить вместе, по-хозяйски, переезжай, говорит, ко мне; у меня, говорит, площадь свободная и громкоговоритель собственной конструкции, и газовая кухня... У меня, говорит, то, у меня, говорит, се. А я слушала его, слушала, а потом, как дурная, побежала регистрироваться. А теперь здрасте! Оказывается, площадь напополам с товарищем, а товарищ сам женатый, и лампочки в коридоре нету, и где еще та газовая кухня — неизвестно.

Вася. Кухня будет.

Людмила. Уйди!

Вася. Ну, помиримся, Людмилочка!

Людмила. Уйди, уйди! Пусти меня, я ухожу!.. Сейчас же ухожу!..

Вася. Людмилочка... Я же все-таки твой муж.

Людмила. Муж! Горе мое...

Вася. Так остаешься?

Людмила. А куда ж мне итти? У сестры в одной комнате четыре человека! Ясно, что останусь. Только не смей на меня смотреть! *(Пауза.)*

Абрам. Ну-с...

Вася. Ну-с... *(Пауза.)*

Абрам. Придется жить вместе. Как говорится вчетвером, да не в обиде. Что-нибудь надо предпринять.

Людмила. Разгородиться придется. Как раз от двери напополам.

Вася. Молодцом, Людмилочка! Здорово придумала.

Абрам. Правильно. Поддерживаю. Кузнецова, ты слышишь?

Тоня *(за книгой)*. Что?

Вася. Поступило предложение разгородиться.

Тоня. Не возражаю.

Абрам. Принято единогласно.

Людмила. Пока можно мелом. Васька, мел есть?

Вася. Есть.

Людмила. Рисуй. Вот отсюдова прямо досюдова, а вы немножко подвиньтесь. *(Это относится к Тоне.)*

Тоня. Пожалуйста. *(Отодвигает козлы.)*

Вася. В два счета. Чертить — это у нас в институте первое дело. Раз, раз, раз. *(Чертит.)*

Абрам. Редкий опыт строительства социализма в одной комнате.

Вася. Во как выходит, во! Готово!

Абрам. Красота. В пять минут — квартира из двух комнат. Американский размах!

Людмила. Посмотри, Васюк... У нас будет чудная комната! Не правда ли?

Вася. И нечего было бузить.

Людмила. Товарищи, соседи — это наша половина, а та — ваша. Вася, отодвинь скамейку в ихнюю комнату. Так. Теперь иди сюда. Тут будет постель, тут стол, тут два стула. Тебе нравится, котик?

Вася. Симпатично. А тебе нравится?

Людмила. Мне ужасно нравится. *(Шопотом.)* А ты меня любишь? Я тебя очень-очень. А ты меня?

Вася. Я — тоже.

Людмила. Так поцелуй свою жену в носик. *(Шопотом.)* Они не видят. *(Вася целует.)* Ну, тебе, Сашка, домой пора.

Голос из радио. Алло! Алло! Алло! Говорит Москва! Передает станция имени Коминтерна на волне 1 450 метров. Транслируется из Большого академического театра опера «Евгений Онегин». Вступительное слово сказал профессор Чемоданов. Сейчас начинается увертюра. Алло! Алло! Включаю зрительный зал. *(Слышится звук настраиваемого оркестра и шум людей. Все смолкает.)* Еще не началось. Через пять-десять минут начнется. Не отходите от аппаратов. Делайте замечанья и сообщайте Акционерному обществу Радиопередача. Пока выключаю.

Саша *(заслушался)*.

Людмила. Иди, иди. Ступай. Скажешь маме, чтоб не беспокоилась, — все благополучно.

Саша *(уходит, весь закутанный как кукла)*.

Явление 12.

Людмила. Ужасно неприятный свет. Я сейчас. *(Закрывает лампочку цветным платком)* Правда, миленький, так лучше? *(Шопотом)* 'ы меня любишь? Они не видят.

Тоня. Нет, вы, товарищ, пожалуйста, нашу половину откройте — итать нельзя.

Людмила. Я извиняюсь. *(Открывает.)* Так видно?

Тоня. Видно. Хорошо. Спасибо. *(Продолжает читать, Абрам гоже читает.)*

Людмила. Вася, какая она красавица, — только одета очень едно.

Вася. Мугу...

Людмила. Ты с ней давно знаком?

Вася. Мугу... два года...

Людмила. И не влюбился?

Вася. Мугу...

Людмила. Скажи своей кошечке мяу!

Вася. Мяу.

Людмила. Давай поцелуемся. Они не видят.

Абрам. Ужасно есть хочется! Васька! У тебя нету чего-нибудь одлопать?

Вася. Колбаса есть.

Абрам. Даешь колбасу!

Людмила. Погодите, товарищи! Это не порядки. Я тут от сестры эй-чего принесла. Баранки есть. Можно чай поставить. Чай будете пить?

Абрам. Ого! Кузнецова, ты слышишь, поступило предложение ить чай с баранками.

Тоня. Я, право, не знаю.

Людмила. Пожалуйста, не стесняйтесь.

Тоня. Спасибо, конечно. Только у нас ничего этого нет... Кружек .м... ложек... вилок...

Людмила. Ах, пожалуйста, пожалуйста. Пока вы себе все не ведете, пользуйтесь нашим. Правда, котик? Ты ничего не имеешь, 'обы они пользовались нашим?

Вася. Ясно.

Абрам. Предложение принято.

Людмила *(берет примус)*. Где у вас кухня?

Вася. Давай, я схожу поставлю.

Абрам. Товарищи! Это неверный подход. Я тоже, может быть, ıчу принимать участие в строительстве. Давайте примус. Разделение уда. *(Берет примус, Людмиле.)* Вы меня проинструктируйте, как с ним ращаться. Кузнецова, ты тоже себе возьми какую-нибудь нагрузку.

Людмила. Ой, какой вы смешной! Вы его держите вверх ногами. е так надо держать, а — так.

А б р а м. А зажигать?

Л ю д м и л а. А разжигать так: блюдечко видите? На него накач вается помпой керосин. А этот винтик — видите? — открывается. Пот берется игла и прочищается головка. Понятно?

А б р а м. Понятно. Берется помпа. Прочищается блюдечко. Пок пается керосин...

Л ю д м и л а. Ой! Ничего вы не понимаете. Идемте, я вам все пок жу. *(Васе.)* Котик, ты не будешь ревновать? *(Тоне.)* А вы, может быт пока приготовите посуду?

Т о н я. Да. Только я не знаю, где и что...

Л ю д м и л а. Вася, помоги. *(Абраму.)* Идемте, где у вас кухн Я буду за вас держаться, а то там велосипед...

А б р а м *(потрясает примусом)*. Держитесь! Помпа... накач вается... винтик... словом сверхиндустриализация! *(Уходят.)*

Я в л е н и е 13.

Г о л о с и з р а д и о. Алло! Алло! Даю зрительный зал! *(В нача следующей сцены радио начинает передавать увертюру из «Евгения Он гина».)*

Т о н я. Ну, показывай, где тут у вас что.

В а с я. Бери корзинку. Там стаканы. Вытаскивай. Осторожно.

Т о н я. Не беспокойся.

В а с я. Такие-то дела, Тонечка Кузнецова. Сколько лет, сколь зим...

Т о н я. Что-то около года. Баранки куда?

В а с я. Около!.. Баранки можно положить на тарелку. Хорош была зима...

Т о н я. Что с чайником сделать?

В а с я. Сыпь в него чай! На Патриарших прудах бываешь?

Т о н я. И не думаю даже.

В а с я. Не думаешь? Стой, что ты делаешь? Весь чай высыпала. Да я. Вот так... А помнишь, Тонька, как мы с тобой на Воробьевых гор с салазок угробились.

Т о н я. Что ты на меня так смотришь?

В а с я. Год. Только год. У меня — жена, у тебя — муж. Ты очен любишь Абрама?

Т о н я. Я думаю, что это мое личное дело. Сахар куда?

В а с я. Чего ж ты покраснела?

Т о н я. Я спрашиваю — сахар куда?

В а с я. Сыпь... Куда-нибудь...

Т о н я. Перестань на меня смотреть...

В а с я. Такие-то дела, Тонечка Кузнецова. А то дерево на Патриар ших прудах помнишь? Десятое с краю, если считать от грелки?.. Я вед потом всю ночь напролет... Ты знаешь... А на другой день, как ошалелы

по всей Москве... Снег еще, помню, валил... Всю грудь залепило... И ресницы, знаешь, иголочками такими... Эх-ма! Целый год... Шутка сказать!.. А ты — такая самая, как была... Да, да, не вертись... Волос возле уха из-под косынки... *(Тоня быстро убирает волос.)* Куда ж ты пропала?

Тоня. Я работала в деревне.

Вася. Нежный такой локон... русый...

Тоня. Перестань. Куда сахар... класть?.. я спрашиваю!..

Вася. А чорт с ним!.. Куда хочешь... Было да сплыло... Тонечка... Что ж это будет?

Явление 14.

Людмила и Абрам с примусом и чайником.

Абрам. С большим трудом, но закипел. Она, товарищи, меня так проинструктировала, что я могу теперь не то что один примус, а целую фабрику примусов поджечь!

Людмила. Ой, не могу! *(Хохочет.)* Он такой смешной, этот Абрамчик!.. С ним прямо с ума можно сойти от смеха!.. Прямо голову можно потерять!..

Тоня *(Васе)*. Я положила в вазочку.

Людмила. Ну, а у вас как дела? Все сделано?

Вася. Все. Только сахар неизвестно куда сыпать.

Людмила. И ничего у вас не сделано. Разве так засыпают чай? Колбасу не порезали. Баранки не развязали! Хлеб не вынули! Никуда не годная парочка! Давайте, я сейчас все устрою. Товарищ Абрам, садитесь сюда, — вы вполне заслужили.

Абрам. После трудов праведных...

Людмила. А вы, товарищ Тоня, рядом со своим супругом. А я рядышком со своим супругом. Вот так. Теперь будем чаек пить...

Явление 15

Входит Емельян Черноземный, поэт и физкультурник.

Емельян. У вас, братва, сегодня переночевать можно? *(Увидел все общество.)* Эге! Да у вас тут, я замечаю, целый банкет с дивчатами. *(Подходит к Людмиле, потом к Тоне, всматривается в них.)* Ничего себе дивчата, подходящие. Честь имею представиться. *(К Тоне.)* Демьяна Бедного знаешь?

Тоня. Знаю.

Емельян. Максима Горького знаешь?

Тоня. Знаю.

Емельян. Сергея Есенина знаешь?

Тоня. Знаю.

Емельян. Емельяна Черноземного знаешь?

Тоня. Н-не знаю.

Е м е л ь я н *(гордо)*. Так вот, Емельян Черноземный — это я. Поняла? Кого хочешь за пояс стихами заткну. Мою последнюю поэму знаете? Слухайте все: называется «Извозчик». «Эх, сглодал меня, парня, город! Не увижу родного месяца! Расстегну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься! Был я буйный, веселый парень — аржаная была голова, а теперь погибаю, барин, — потому засосала Москва...» И-и-и эххх!.. А хотишь, могу и по физкультуре? На, пощупай! Не дрефь, пощупай! Во! *(Тоня нерешительно щупает.)* Ты тоже потрогай, не стесняйся! Во! *(Людмила щупает.)* Грудь — во! Кого хотишь по физкультуре за пояс заткну! А что! Может, брешу!

А б р а м. Ну, поехал!

Е м е л ь я н. Так ночевать можно?

В а с я. Не угадал, старик. Видишь, какое у нас дело. Женились!

Е м е л ь я н. Кто-о-о?..

В а с я. Да вот мы. Я и Абрам. Так что, гражданин, нет местов.

Е м е л ь я н. Нет, серьезно?

А б р а м. Факт.

Е м е л ь я н. Давно?

В а с я. Сегодня. Я на ней — на Людмиле, а Абрам — на Кузнецовой, вот на ней. Так что...

Е м е л ь я н. Стойте, ребята! Есть экспромт. Слухайте. Гм... Переженились все ребята и уж довольны как телята; лишь Емельян, поэт известный, остался... гм... гм... без невесты... Гы! Гы!

А б р а м. Неважный экспромт.

Е м е л ь я н. Сочини, дурак, лучше. Ну, прощевайте!

В а с я. Куда ж ты? Чаю выпей!

Е м е л ь я н. Куды там! Бегу организационные выводы делать. *(Стремительно исчезает.)*

Я в л е н и е 16.

Те же без Е м е л ь я н а.

А б р а м. Видели ненормального? Побежал звонить. Всем теперь раззвонит! Ну, заседание продолжается.

Т о н я. Явный упадочник. *(Пауза.)*

Л ю д м и л а. Как хорошо играет радио. *(Пауза.)*

А б р а м. Тихое, семейное счастье. *(Пауза.)*

Л ю д м и л а. Васюк! Ты меня любишь? Молочка хочешь? Скажи своей кошечке мяу. Ну, мяу!

В а с я *(неохотно)*. Мяу!..

(Занавес).

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Явление 1.

Людмила и Вася слева. Людмила кончает уборку своей половины. Кладет последние штрихи. Суетится. Любуется. Прибивает портреты дедушки и бабушки. Вася наигрывает на гитаре. Впрочем, оба скучают.

Вася. Кто это?

Людмила. Это моя бабушка — домашняя хозяйка.

Вася. Бабушка?

Людмила. Бабушка.

Вася. Бабушка?

Людмила. Бабушка. А это дедушка, герой труда, выдвиженец.

Вася. Выдвиженец?

Людмила. Выдвиженец. Котик. Грязными сапогами на чистое одеяло!!! Как тебе не бессовестно? Убери ноги!

Вася *(убирает ноги)*. Бабушка и дедушка!

Людмила. Котик, ты меня любишь?

Вася. А ты меня?

Людмила. Люблю. А ты?

Вася. Тоже люблю.

Людмила. Очень?

Вася. Очень.

Людмила. Очень-очень?

Вася. Очень-очень.

Людмила. Очень-очень-очень?

Вася *(слегка раздраженно)*. Очень-очень-очень-очень!

Людмила. Ну, покажи, как ты меня любишь? Вот так? *(Показывает руками.)*

Вася. Вот так! *(Показывает.)*

Людмила. А я тебя так! *(Показывает.)* А ты меня так?

Вася *(почти сдерживая рычания)*. А я тебя так!

Людмила. Ну, так поцелуй меня в носик. *(Вася целует.)* А теперь я тебя поцелую в носик. *(Целует.)* Теплого молочка хочешь?

Вася. Не хочу.

Людмила. А ты все-таки выпей. Будешь толстенький-толстенький!

Вася. Я не хочу быть толстенький-толстенький.

Людмила. Фи! А то будешь худенький-худенький. Ну, выпей же молочка. Я тебя прошу.

Вася. М... м... м...

Людмила. Выпей, котик.

Вася. Мм!

Людмила. Выпей!

Вася. Я не хочу молока.

Людмила. А я хочу, чтобы ты выпил.

Вася. А я не хочу!

Людмила. А я хочу!

Вася. Определенно нет!

Людмила. Определенно да!

Вася. Определенно не выпью!

Людмила. Значит, ты меня не любишь?

Вася. Люблю.

Людмила. Определенно не любишь.

Вася. Определенно люблю.

Людмила. Так не любят.

Вася *(рычит)*. А как же любят?

Людмила. Во всяком случае не так.

Вася *(почти орет)*. А как же? Ну?

Людмила. Чего ж ты на меня нукаешь? Я тебе не лошадь. Успокойте ваши нервы. Ну, давай мириться! Поцелуй меня в носик. Не хочешь? Фи! Ну, давай, я тебя поцелую в носик. Котик, скажи своей кошечке: мяу.

Вася *(отвратительным голосом)*. Мяу.

Людмила. Ай!

Вася. Могу еще раз: мяу! *(Впадает в ярость.)* Иди, котик, я тебе откушу носик. Мяу! Выпей молочка! Я не хочу молочка! Мяу! Довольно! Я не могу больше жить среди бабушки-домашней хозяйки и дедушки-выдвиженца. Мяу! Они мне органически противны! Я начинаю разлагаться. А кто виноват? Ты — виновата!

Людмила. Почему это я?

Вася. Чей дедушка? — Твой дедушка! Чья бабушка? — Твоя бабушка!

Людмила. Подумаешь!

Вася. Молчи. Чьи занавески? — Твои занавески! Чье молоко? — Твое молочко! А кого засасывает мелкобуржуазное болото? — Меня... меня засасывает болото!

Людмила. Подумаешь — его засасывает мелкобуржуазное болото! А меня не засасывает? Кто говорил и то и се — и будем, Людмилочка, вместе строить новую жизнь, а я тебе, Людмилочка, буду читать книжки, и я тебя, Людмилочка, буду водить в клубы, и ты у меня, Людмилочка, будешь образцово-показательная подруга жизни, и пятое, и десятое?.. А где все это?

Вася. Подумаешь!

Людмила. Молчи! Где это все, я тебя спрашиваю? Нету! Забудьте! *(Передразнивает.)* Пришей, Людмилочка, котику пуговицу! Дай, Людмилочка, котику молочка! Котик хочет бай-бай! Мяу, котик, хочет ням-ням! Мяу! Поцелуй котика в носик... Мяу!.. А нет того, чтобы научить чему-нибудь хорошему.

Вася *(срывает с вешалки пальто и стремительно одевается)*. Ах, такое дело!..

Людмила. Куда же ты, котик?

Вася *(уходя)*. Тебя не спросился.

Людмила. Котик, погоди! Ну, давай помиримся! *(Бежит за ним)* Котик! Ну! поцелуй меня в носик!

Вася. Чорта лысого! Пусть тебя целует в носик дедушка-выдвиженец! *(Уходит, хлопая дверью.)*

Явление 2.

Людмила *(одна)*. Скажите, пожалуйста, дедушка ему не понравился? Ф... ф... ф... И очень надо, скатертью дорога! *(Вдруг плачет.)* И за что я такая несчастная? *(Отходит в дальний угол и тоскует.)*

Явление 3.

За сценой грохот падающего велосипеда. Абрам и Тоня входят с книжками.

Абрам. Ой, мне этот проклятый велосипед! Посмотри, Тонька, порядочная дыра! Не мешало б урегулировать. У тебя иголки и нитки нет?

Тоня. Нет.

Абрам. Образцовая жена!

Тоня. Абрам, я тебя просила без мещанства.

Абрам. Последние штаны у мужа в доску — так это мещанство. Хорошенький тезис... Ну, что ж, будем читать?

Тоня. Будем.

Абрам. Даешь!..

Тоня. Абрам, тебе есть не хочется?

Абрам. А тебе?

Тоня. Представь себе, хочется.

Абрам. Представь себе, мне тоже, между прочим, хочется. И, главное, в чем дело? Только вчера утром слопали 400 грамм вареной колбасы и уже опять хочется. Прямо-таки необъяснимый факт... Ну, уж давай читать...

Тоня. Давай.

Абрам. Давай. *(Читает.)* «Лекция первая. Введение. Значение науки об обществе. Изучая историю человечества, мы можем проследить, как люди, в борьбе за существование, шаг за шагом создавали и совершенствовали свои орудия труда. Тем самым они подчиняли себе природу и увеличивали количество и улучшали качество необходимых им средств существования»...

Тоня. Абрам, может быть, у нас все-таки что-нибудь осталось от вчерашней колбасы?

Абрам. Это идея. Надо посмотреть. *(Ищет.)*

Тоня. Ну, что, осталось?

Абрам. Осталось! Две страницы из «Луны с правой стороны». *(Показывает листики.)* Можем солидно закусить. *(Печально усмехается)* Ха!

Тоня. Хороший муж.

Абрам. Кузнецова! Только без мещанства.

Тоня. Мещанство здесь совершенно не при чем.

Абрам. А что же здесь при чем? Может быть, я здесь при чем?

Тоня. Не будем вдаваться в подробности. Читай. На чем мы остановились? *(Ищет по книге.)*

Абрам. Мы остановились на том, что хочется шамать.

Тоня *(строго)*. Абрам! Не забудь, что книжка у нас только до вторника. Читай!

Абрам. Не хочу.

Тоня. Я тебя не узнаю, Абрам. Читай!

Абрам. А я не хочу.

Тоня. А я хочу, чтоб ты читал.

Абрам. Определенно нет!

Тоня. Определенно да!

Абрам. Определенно не буду читать!

Тоня. Значит, ты меня не... уважаешь и не... любишь, то есть и у нас нету рабочего контакта.

Абрам. Есть рабочий контакт.

Тоня. Определенно нет контакта!

Абрам. Определенно есть контакт!

Тоня. Когда контакт есть, так не поступают!

Абрам. А как же поступают?

Тоня. Во всяком случае не так.

Абрам *(свирепея)*. А как же? Ну?

Тоня. Абрам! Не забывай, что я тебе не жена-рабыня, а свободная подруга жизни и товарищ в работе.

Абрам. Америка!

Тоня. Ну, ладно, давай прекратим эту дискуссию и будем читать дальше. На чем мы остановились? *(Читает.)* «Экономические эпохи истории. Создание схемы экономического развития человечества еще далеко от своего разрешения»...

Абрам. Я думаю!.. *(В сторону, со вздохом.)* Ух, вола б съел!

Тоня. Что?

Абрам. Ничего.

Тоня *(продолжает)*. «Не останавливаясь на прошлых попытках, мы перейдем к одной из последних, принадлежащей немецкому экономисту Карлу Бюхеру»...

Абрам. Кузнецова!.. Довольно! Я не хочу больше Карла Бюхера. Я хочу большой кусок хлеба и не менее большой кусок мяса. Я хочу грандиозную яичницу из, по крайней мере, шести-семи яиц! Я хочу сала, хочу масла, хочу молока, хочу жиров, хочу витаминов, хочу огурцов... Тонька, ты же все-таки моя жена,—так я тебе заявляю совершенно конкретно: я хочу лопать!

Тоня. Абрам, без крика. У тебя феодальное понятие с браке.

Абрам. Феодальное понятие!!! Она меня учит политграмоте.

Тоня. Тшшш!.. Что подумают соседи?..

Абрам. А соседи это не феодальное понятие? А когда у мужа подраны последние штаны и некому зашить — это не феодальное понятие? А когда шамать нечего — это не феодальное понятие?..

Тоня. Ах, так! *(Срывает с гвоздя шинель и надевает ее.)* Упреки?

Абрам. Куда ж ты, Кузнецова?

Тоня. Я не обязана давать тебе отчет в своих поступках. *(Уходит.)*

Абрам. Тонька... Тонька... Ну, давай уже читать, давай...

Тоня. Оставь меня! Дай мне успокоиться! *(Уходит.)*

Явление 4.

Абрам. Факт налицо. Настоящая, стопроцентная феодальная семейная сцена. И, главное, в чем дело? Все предпосылки налицо. Сходство характеров? — Есть. Рабочий контакт? — Есть. Общая политическая установка? — Есть. Вместе с тем такая страшная неувязка, а, между прочим, зверски кушать хочется. *(Нюхает воздух.)* Ого! На васькиной половине здорово пахнет. Гм... *(Нюхает. Игра нерешительности.)* Котлеты? Возможно, что котлеты, но я бы даже сказал, что скорее яичница с луком... *(Осторожно стучит по ширме, еле слышно, очень слабым голосом, почти шопотом.)* Можно? Никого... *(Нюхает.)* Прямо-таки феодальный запах. Или не этично? *(На цыпочках входит на васькину половину и не замечает Людмилу, которая лежит в самом дальнем углу, уткнувшись носом в сундук.)* Ой, сколько первоклассной пищи! Или этично? А? Или нет? Кажись, котлеты... или, может быть, да? Или только потрогать руками?.. *(Лезет на полку, посуда с грохотом падает, Абрам обсыпан мукой.)* Ух! *(Людмила смотрит на него в оцепенении.)*

Явление 5.

Абрам и Людмила.

Людмила *(хохочет)*. Ой, не могу!.. Ой, не могу!..

Абрам. Я извиняюсь, но произошла грандиозная неувязка.

Людмила. Неувязка! Ой, не могу!.. На кого он похож!.. Это вас бог наказал.

Абрам. Бог — это понятие чисто феодальное.

Людмила. А по чужим полкам лазить — это не фи... фи... ой, не могу даже выговорить!.. Это не чисто федеральное!

Абрам *(продолжая стоять, обсыпанный мукой, на табурете, грустно)*. Что такое частная собственность?..

Людмила. Несчастный! Посмотрите на себя в зеркало! Ой, не могу-у-у... Весь в муке! Голодный! Одна штанина подрана! Куда это, интересно знать, смотрит ваша супруга?

А б р а м. К сожалению, моя супруга смотрит исключител в «Историю общественных форм» Плотникова.

Л ю д м и л а. Ой, бедненький Абрамчик! Какой вы несчастненьк Что ж вы стоите на табуретке все равно как памятник Тимирязеву? Иди я вас пожалею.

А б р а м. Ого! Кузнецова! Ты слышишь? Твоего мужа уже начин жалеть беспартийные товарищи.

Л ю д м и л а. Стойте смирно!

А б р а м. Что это будет?

Л ю д м и л а. Я вам сейчас зашью штанину.

А б р а м. Всегда готов.

Л ю д м и л а *(зашивает)*. Вот так. Не болтайтесь как ма ник, а то уколю. Вот так... Ну, и дыра! Ровно собаки зуба трепали.

А б р а м. Это феодальный велосипед, чорт бы его подрал!

Л ю д м и л а. Ну, ну!.. Не вертитесь, а то, серьезно говорю, укол Вот так! Вот так! *(Шьет.)*

А б р а м. Это кто висит?

Л ю д м и л а. Это моя родная бабушка, домашняя хозяйка.

А б р а м. Наредкость симпатичная старушка! А это?

Л ю д м и л а. Это дедушка.

А б р а м. Тоже первоклассный старик.

Л ю д м и л а. Выдвиженец и герой труда...

А б р а м. Кто б мог сказать? Такой молодой — и уже герой труд До чего ж наверное приятно иметь такую симпатичную бабушку и тако многоуважаемого дедушку!

Л ю д м и л а. Оставьте ваши насмешки...

А б р а м. Какие могут быть насмешки, когда я готов прямо-таки всей души обнять ваших замечательных предков! *(Делает движени накалывается об иглу.)* Ай!

Л ю д м и л а *(смеясь)*. Я ж вам говорила, чтоб не рыпались — в и накололись! Стойте смирно! *(Перекусывает нитку.)* Готово!

А б р а м. Была дыра и — нет дыры! Прямо поразительно. Чудеса наук и техники.

Л ю д м и л а. Ну?

А б р а м. Ну?

Л ю д м и л а. Ну!!!

А б р а м. Что ну?

Л ю д м и л а. Ну, что теперь надо сделать?

А б р а м. А я знаю?

Л ю д м и л а. А кто ж знает? Теперь надо поблагодарить, — поняли

А б р а м. Очень благодарен...

Л ю д м и л а. Да кто ж так благодарит даму! Не так! Фи, какої вы плохой кавалер!

А б р а м. Может быть, надо мерси? Так — мерси!

Людмила. Да нет же! *(Настойчиво протягивает руку.)* Ну!

Абрам. Что?

Людмила. Надо ручку поцеловать, — поняли?

Абрам. Поцеловать... ручку?..

Людмила. Что ж вы оробели? Ну? Живо!

Абрам *(обалдело целует ручку)*. Ой! *(Стремительно убегает на свою половину и начинает бешено рыться в книгах.)*

Людмила *(хохочет)*. Ой, не могу! Ой, умру! Ой, какой он смешной! Куда же вы убежали, Абрамчик? Постойте! *(Бежит за ним.)* А другую ручку? Другую надо!

Абрам. Подождите. *(Быстро перебирает книги.)*

Людмила. Что вы там ищете?

Абрам. Партэтику ищу. Постойте. Произошел страшнейший крах. Партэтику кто-то спер.

Людмила. Ну, и что ж из этого?

Абрам. А кто мне теперь скажет — этично или не этично, чтоб член ВЛКСМ целовал руку беспартийному товарищу?

Людмила. Беспартийному товарищу! Вот комик! Прямо умора! Живенько целуйте!

Абрам. Вы думаете — этично!

Людмила. Целуйте!

Абрам. Или, может быть, не этично?

Людмила. Да ну вас в самом деле! Как ручкой брюки зашивать,— так этично, а как потом эту ручку поцеловать — так не этично? Ну! Целуйте же!

Абрам. Или этично? А? Или не этично?.. Или нет? А?

Людмила. Целуйте!!!

Абрам *(целует)*. Или да?

Людмила. Теперь эту. *(Абрам целует.)* Теперь еще раз эту. Теперь эту.

Абрам. Теперь эту опять, да? *(Целует.)*

Людмила. Какой хитрый. Довольно, довольно! *(Смеется, отдергивает руки.)* Будет!

Абрам. Вполне этично.

Людмила. То-то же! Ах вы, мой миленький! Ах вы, мой бедненький! И некому вас пожалеть! Какой же вы худенький-худенький! Вам надо молока пить. Молочка хотите?

Абрам. Ого! И хлеба!

Людмила. Пейте, Абрамчик, пейте! *(Наливает ему молока.)* Хотите, я вам положу котлетку?

Абрам. Хочу котлетку.

Людмила. Вот это умница! Ешьте. Поправляйтесь.

Абрам. Всегда готов!

Людмила. На здоровьичко! Будете у меня толстеньким-толстеньким!

А б р а м *(с полным ртом)*. А мне-таки не помешает, если я буду толстеньким-толстеньким. Кстати у меня почему-то сегодня солиднейший аппетит!

Л ю д м и л а. Вот и хорошо, Абрамчик, не стесняйтесь. Знаете, Абрамчик, вы мне сегодня, между прочим, всю ночь снились. Ужасно смешно! Будто бы мы вместе с вами по железнодорожному полотну на коньках бегали. Такая ночь вокруг. Страшная, и вдруг за нами по рельсам примус вроде как паровоз с фонарями... Ту-ту-ту!.. гонится. У-у-у!!!

А б р а м. Тяжелый случай на транспорте.

Л ю д м и л а. И вдруг вы меня обнимаете.

А б р а м. Что вы говорите?

Л ю д м и л а. Ей-богу. А потом вдруг я вас обнимаю. *(Инстинктивно обнимаются.)* И вдруг мы вместе... *(Целуются.)*

А б р а м. Ого!

Л ю д м и л а. Ай! И вдруг мы просыпаемся... То есть я просыпаюсь.

А б р а м. А я не просыпаюсь?

Л ю д м и л а. Вы... тоже... просыпаетесь.

А б р а м. Хорошие шуточки! А целоваться?

Л ю д м и л а. Что целоваться?

А б р а м. Целоваться с женой товарища — это этично или не этично?

Л ю д м и л а. Так это же было во сне!

А б р а м. Во сне?

Л ю д м и л а. Во сне.

А б р а м. Ну, если во сне, — тогда, я думаю, скорее этично, чем не этично. *(Пауза.)*

Л ю д м и л а *(со вздохом)*. Абрамчик... Мне, ей-богу, так совестно... Я не знаю, что это такое этично и что такое не этично?

А б р а м. Она не знает, что такое этично? Куда же, интересно знать, смотрит ваш многоуважаемый муж Васька? Он же должен смотреть, чтобы вы развивались.

Л ю д м и л а. А он только смотрит, чтоб я завивалась.

А б р а м. Какой негодяй!

Л ю д м и л а. И некому меня пожалеть, и некому меня развивать... *(Плачет.)* И некому со мной книжку почитать... И некому меня в зоологический сад повести...

А б р а м. Ой, бедненькая! Что ж вы молчали до сих пор? Давайте, я вас буду жалеть, давайте я вас буду развивать, давайте я вам буду книжки читать? *(Бежит за книгой.)* Только, пожалуйста, не плачьте! Когда женщина плачет, в этом есть что-то зверски феодальное!.. Ну, давайте читать. Можно начать с самого простого. *(Читает.)* «Электромагнитная теория света. Переживаемое нами время представляет собою эпоху глубоких изменений, имеющих характер революционных потрясений во всех областях жизни. Будущему историку нашей эпохи предстоит выяснить ту закономерную связь, которая объединяет в едином историческом законе

переживаемые нами социально-политические перемены и те глубокие изменения, которые...».

Людмила. Абрамчик! Поведите меня в зоологический сад.

Абрам. Всегда готов. Монета есть?

Людмила. Кавалер! Есть, есть.

Абрам. Так в чем же дело?

Людмила. А Вася? Что подумает Вася?

Абрам. А Тоня? Что скажет Тоня?

Людмила. Ах, но это так интересно! Подайте шубку, будьте кавалером. Ну, пошли! *(Уходит.)*

Абрам. Сейчас, Людмилочка, сейчас! *(Задерживается, навязывает васькин галстук, причесывается.)* Сейчас, сейчас.... Не мешало бы какой-нибудь паршивенький галстучек. Разве взять васькин? Этично или не этично? А что такое галстук? А что такое этика? Этика — это понятие феодальное! Вот так! *(Голос Людмилы: «Абрам!»).* Сейчас! Только немного напудряюсь... Зубной порошок. Даешь зубной порошок! И волосы немножечко... Сейчас, сейчас... Вот так... *(Смотрит в зеркало.)* Этично, а? Ого, еще как этично... Иду!.. *(Наталкивается на входящую Тоню.)*

Явление 6.

Тоня. Абрам? Что это значит?

Абрам. Уступка мелкой буржуазии и зажиточному крестьянству. Адью.

Тоня. Куда же ты, Абрам?

Абрам *(гордо)*. Я не обязан давать тебе отчет в своих поступках.

Тоня. Абрам!

Абрам. Оставь меня! Дай мне успокоиться! *(Быстро уходит.)*

Явление 7.

Тоня *(одна)*. Ах так! Пожалуйста. *(Берется за книгу и читает.)* «Марксизм и его современная форма — диалектический материализм — вот бесценное оружие, обладание которым обеспечивает неизмеримое превосходство пролетарскому революционеру над буржуазным политиком. Кругозор последнего по необходимости ограничен сегодняшним днем, грубый практицизм, служение... служение»... *(Падает головой на книгу и беззвучно плачет.)*

Явление 8.

Быстро и нервно входит Вася.

Вася. Людмила! Ты дома? Шубки нету. Ушла. Тем лучше. Довольно. Дальше так продолжаться не может. Галстук? — К чорту галстук! Пробор? — К чорту пробор! Кузнецова, ты дома?

Тоня *(быстро поднимает голову, поправляет прическу и платочек)*. Вася? Да.

В а с я. Можно?

Т о н я. Сейчас. Минуточку! *(Лихорадочно приводит себя в пор и декоративно углубляется в книгу.)* Погоди! Можно.

В а с я *(входит на половину Абрама)*. Абрама нету? Ты одна?

Т о н я. Одна.

В а с я. Это хорошо. Мне надо с тобой серьезно поговорить... *(Ко кая пауза.)* Тоня!..

Т о н я. Да?

В а с я *(всматривается в нее)*. Что с тобой? Ты плакала?

Т о н я. Какая чепуха!

В а с я. Тоня...

Т о н я. Да.

В а с я. Ты сегодня что-нибудь ела? Молочка хочешь?

Т о н я *(качает головой)*.

В а с я. Кузнецова, я тебя прошу, выпей молочка.

Т о н я. Спасибо, мне не хочется... молока.

В а с я. Кузнецова! Как тебе не стыдно? Что это за мещанские і монии? Я же знаю, что ты сегодня с утра ничего не ела. Выпей же, я пр тебя. *(Идет брать молоко.)* Тут целый кувшин. *(С удивлением замеч что в кувшине молока нет.)* Пусто. Гм... Кто ж это вылакал, интер знать? Тонечка, молока как раз нету. Я тебе сейчас достану котлет, у нас было штук шесть. *(Замечает, что котлет нет.)* Гм... Нету... Ис ли... Очень странно... Я догадываюсь, чья это работа. Ну, ниче Неужели ничего не осталось? Ага, колбасы немного есть... и полоі булки... Вот... *(Идет к Тоне.)* Съешь, прошу тебя, колбасы. *(' берет еду и ест.)*

Т о н я. Спасибо.

В а с я. Вот так! Молодец! Будешь у меня толстенькая-толстеньк Тоня... *(Короткая пауза.)*

Т о н я *(с набитым ртом)*. Да.

В а с я. Тоня! Дальше так продолжаться не может. Посмотри в глаза.

Т о н я. Для чего это?

В а с я. Посмотри. Честно.

Т о н я. Ну?

В а с я. Ты любишь Абрама?

Т о н я. Это тебя не касается.

В а с я. Нет, касается. Любишь или не любишь, только по-честн

Т о н я. Я не понимаю, что это за идеалистическая постановка проса: любишь — не любишь! Вот еще в самом деле!

В а с я. Тоня!.. Для меня это очень важно... Любишь или не люб

Т о н я. Ну, право же, я не понимаю!.. Я Абрама очень уваж Абрам меня тоже уважает... У нас с Абрамом рабочий контакт... Сход интересов... Общая политическая установка... Мне кажется, что для вместной жизни...

Вася. Стоп! Больше ни слова! Не любишь! Честное слово, не любишь!.. Не любишь!.. Не любишь!.. Кузнецова... Отчего же ты покраснела? Уррра!!! Тонька! Я без тебя жить больше не могу, понимаешь?

Тоня. Ты с ума сошел!

Вася. Правильно. Сошел! И наплевать! Тонька... Тонечка... Любишь? Да?

Тоня. Постой, погоди...

Вася. Любишь! Ей-богу, любишь! По глазам вижу! Урра!!! Теперь все пойдет по-другому, по-счастливому, Тонька! Будем вместе читать, вместе трудиться, вместе любить, вместе гулять!

Тоня. Ненормальный!

Вася. Урр-рра!!!

Тоня *(строго)*. Погоди, Вася. Постой. Сядь. Обсудим объективно создавшееся положение. Хорошо. Предположим, ты уйдешь от товарища Людмилы, а я уйду от товарища Абрама, и мы с тобой сойдемся на основе... *(Нерешительно.)* Хорошо ли это будет с точки зрения новой семейной морали?

Вася. Определенно хорошо.

Тоня. Определенно плохо. Сегодня зарегистрировалась с одним, завтра развелась, а послезавтра зарегистрировалась с другим... Какой пример подадим мы другим партийным товарищам, а также наиболее активным слоям беспартийной молодежи и беднейшего крестьянства?

Вася. Авось беднейшее крестьянство не заметит.

Тоня. Чистейший оппортунизм. Кроме того, нельзя строить свое индивидуальное благополучие и, если хочешь, счастье на несчастьи других партийных и беспартийных товарищей. Я имею в виду товарищей Людмилу и Абрама. Я не располагаю никакими данными относительно товарища Людмилы, но что касается товарища Абрама, то его жизнь будет определенно разбита.

Вася. И людмилкина жизнь будет тоже разбита.

Тоня. Товарищ Абрам, если пользоваться устаревшей идеалистической терминологией, безумно меня любит. Он не переживет этого!

Вася. Людмилка не переживет тоже. Влюблена, как кошка! Определенный факт. Целый день про своих дедушку и бабушку рассказывает и заставляет молоко лакать.

Тоня. Вот.

Вася. Что ж нам делать? Тонька?

Тоня. Придется поступиться личными интересами ради интересов общих.

Вася. Какая неприятность!..

Тоня. Мужайся, Вася! Ты видишь, мне... мне тоже тяжело... Будем друзьями... Вот тебе моя дружеская рука. *(Протягивает руку. Васька пожимает, но не выпускает ее из своей руки.)*

Вася. Какая неприятность!.. А ты мне еще сегодня всю ночь снилась. Будто бы мы с тобой накрываем на стол... И все время бьются

тарелки. Все бьются! А вокруг такая ночь... А ветер воет... А тарелки все бьются... У-у-у!..

Т о н я. Идеологически невыдержанный сон.

В а с я. И вдруг ты меня обнимаешь...

Т о н я. Что ты говоришь?

В а с я. Ей-богу! И вдруг я тебя обнимаю. *(Инстинктивно обнимаются.)* И вдруг мы вместе... Тонечка... *(Целуются.)*

Т о н я. Погоди... Котик мой золотой!.. Что мы делаем?..

В а с я. И вдруг мы еще раз!.. *(Целуются.)*

Явление 9.

Во время длительного поцелуя входит Ф л а в и й.

Ф л а в и й. Целуйтесь, ребятки, целуйтесь!

Т о н я. Ах!

В а с я. Ах!

Т о н я. Товарищ Флавий!

В а с я. Флавий!

Ф л а в и й. Ничего, валяйте дальше, не стесняйтесь. Революция от этого не пострадает.

В а с я. Котлета!

Т о н я. Товарищ Флавий... Ты можешь чорт знает что о нас подумать... Честное слово... Но это чистое недоразумение...

Флавий. Хо-хо! Васька, как тебе это нравится? Советский брак у нее уже называется чистое недоразумение! И ты не протестуешь в качестве мужа?

Т о н я. Уверяю тебя... что он... что я...

Ф л а в и й. Нет, ребятишки, кроме шуток. Как же это у вас все так быстро произошло? Прямо в ударном порядке. Прибегает наш знаменитый поэт Емельян Черноземный и — бац! — без всякого предупреждения, с места в карьер: товарищи! последняя новость — Васька женился, Абрамчик женился, сидят все вместе и пьют чай с бубликами — словом, полное разложение — стоп! Кто женился? Когда женился? На ком женился? Почему женился? Так разве ж от этого барана можно чего-нибудь добиться толком? «Бегу, говорит, по этому поводу делать организационные выводы, устраивать вечеринку, ребят звать и никаких двадцать!» Только я его видел. Так что ждите, ребятишки, гостей, — гоните чай, разводите примус!

Т о н я. Примус!.. *(В изнеможении садится.)*

Ф л а в и й. Нет, ребятишки, кроме шуток — поздравляю. Живите, ребятишки, дружно, не ссорьтесь, работайте вместе... Но, главное, кто меня удивил, так это наш Абрамчик. Кто б мог подумать? Абрамчик женился! Хо-хо! Прямо сюжет для Демьяна Бедного. Кстати, где Абрамчик?

Т о н я. Да, в самом деле, где Абрамчик?

В а с я. Абрам это самое... Там...

Т о н я. Пошел пройтись... с женой...

Вася. Погода такая приятная... снежок...

Тоня. Да, снежок такой... Вероятно, они скоро придут.

Флавий. На ком Абрамчик женился?

Вася. Да, в самом деле, на ком? То есть я хотел сказать на этой самой... Кузнецова, на ком женат Абрам?

Тоня. Абрам? На товарище Людмиле...

Вася. На Людмилке? Хорошие шуточки! То есть я хотел сказать, вот именно, на товарище Людмилочке... Она такая, знаешь, в общем и целом симпатичная...

Тоня. Не нахожу ничего особенно симпатичного: мещаночка с мелкобуржуазной идеологией... Пф!.. Впрочем, не будем об этом говорить.

Флавий. Ну, ну, ребятишки, показывайте вашу территорию, демонстрируйте ваши технические достижения. Вы, собственно, где помещаетесь?

Вася. Мы... вообще... тут... так, знаешь...

Флавий. А Абрамчик с семейством?

Тоня. Абрам... Тоже... Помещается... Вообще....

Вася. Тут... вот... этак...

Флавий. Ага... Гм... Симпатично, симпатично... А это кто? *(Показывает на портрет бабушки.)*

Тоня. Так... Одна пожилая интеллигентка.

Вася. Бабушка.

Флавий. Чья бабушка?

Вася. Ее бабушка... Домашняя хозяйка... А это дедушка, мой дедушка... Герой труда... Выдвиженец...

Флавий. Молодцы ребятки! А это, значит, ваше техническое оборудование. *(Рассматривает инвентарь и посуду.)* Примус. Ого! Хороший примус. Кастрюли! Что ты скажешь — четыре стакана... Зеркало! Ну-ну!.. Ребятишки обросли.

Тоня *(Васе, пользуясь тем, что Флавия занят осмотром)*. Вася!... Ну?..

Вася. Сплошной компот.

Тоня. Какой стыд! Какой позор! Я не могу больше принимать участие в этом пошлом мещанском фарсе! Надо в корне прекратить эту недостойную ложь.

Вася. Что ты хочешь сделать?

Тоня. Я сейчас скажу Флавию, что это была шутка.

Вася. Тонька, ты с ума сошла! Он же видел, как мы целовались.

Тоня. Все равно!

Вася. Кузнецова!

Явление 10.

Входят ребята и девушки. Флавий, те же и гости.

Первый. Го! Флавий уже тут! Здорово, Флавий!

Второй. Первый — на месте происшествия.

Первая. Вот это называется организатор — так организатор.

Вторая. Прямо не человек, а карета скорой помощи!

Флавий. Правильно. Выезжаю немедленно, по первому вызову.

Первый. А ну, которые тут главные пострадавшие от неосторожной любви? Покажитесь!

Первая. Васька! Смотрите на него! Ай, спасибо!

Второй. Тонька! Кузнецова! Не выдержала, спеклась!

Первый. Товарищи, больше организованности! Не все сразу. Внимание. Раз, два, три!

Все хором. Да здравствуют красные супруги!

Вася *(в сторону)*. Компот, компот.

Тоня *(в сторону)*. Я не вынесу этого позора!

Второй. Ну, а где же Абрам со своей супругой? Я не вижу Абрама.

Флавий. Абрамчик будет.

Первый. А я не вижу чаю и вообще шамовки. Это хуже...

Первая. Ну, вы семейная ячейка, продемонстрируйте свое хозяйство.

Вторая. Да, да, не мешало бы чаю! Кузнецова! Что ж ты молчишь — назвала гостей, а сама прикрылась хвостиком!

Второй. Свинство! Хотим чаю! Товарищи, протестуйте!

Первый. Внимание. Раз, два, три!

Все хором. Требуем чаю! Хотим шамать!

Вторая. В самом деле, что за безобразие! Где ж это хваленая вечеринка, о которой нам так много говорили?

Флавий. Ребятишки! Тишина и спокойствие! Не смущайте молодых супругов! Все будет!

Первая. Смотрите, как ловко разгородились.

Второй. Здорово!

Первый. А ну-ка, товарищи, долой мелкобуржуазные перегородки, а то нам сегодня веселиться негде. Навались! *(Отодвигают ширмы, занавески и шкап.)*

Голоса. Сюда, его сюда! Волоки ширмы! Вот так! Больше простора! Эх раз, еще раз! Девушки, навались... *(Отодвигают.)*

Тоня. Вася!.. Что ж это будет?.. Что подумает Абрам?

Вася. Абрам! А что подумает Людмилка?

Тоня. Это ужасно... Он не переживет этого!

Вася. Она тоже не переживет... Определенный факт...

Тоня. Что делать?

Флавий. Ребятки! Внимание! Абрамчик с супругой идет.

Вася. Гроб! Мрак! Котлета!

Первый. Прячься, братишки!

Голоса. Прячься, прячься, что ж ты стоишь! Вот сюда, за книги.

Вторая. Васька, прячься скорей!.. Вот сюда!..

Флавий. Полнейшая тишина! Могу себе представить Абрамчика в роли мужа!

Вася. Ребята!..

Тоня. Товарищи! Произошла ошибка... Мы...

Первый. Тсс! Ни звука!.. Ш-ш-ш-а!

(За сценой слышен хохот Людмилочки.)

Явление 11.

Входят Людмила и Абрам.

Людмила *(вбегает, хохоча)*. Котик, поцелуй меня в носик!

Тоня. Какая гадина!

Абрам. А это этично? *(Целует.)* Или, может быть, не этично? *(Целует.)*

Вася. Паршивый ренегат. И, главное, в моем галстуке!

Людмила. Котик, скажи: мяу.

Флавий. Смотрите, Абрамчик уже сделался котиком.

Людмила. Ну?

Абрам. Мяу!

Вася *(грозно)*. Мяу! *(Все выскакивают.)*

Все хором. Мяу!

Людмила. Ай, Вася!

Абрам. Ух, Кузнецова! Небывалый крах, как рыба об лед!

Все хором. Да здравствуют красные супруги!

Тоня *(бросается к Васе в объятия)*. Я не могу этого больше выносить! Уведи меня отсюда!

Абрам. Людмила, держи меня, я впадаю в полуобморочное состояние! *(Падает в ее объятия.)*

Флавий. Целуйтесь, ребятки, целуйтесь! Революция от этого не пострадает.

Явление 12.

Грохот падающего велосипеда, входит Емельян Черноземный.

Емельян. А ну вас к чорту с вашим буржуйским велосипедом! Чуть портки не разорвал в доску!

Флавий. Емельяна еще тут не хватало для общего торжества!

Емельян. Здорово, ребята! *(Остолбенел, вдруг видя Абрама в объятиях Людмилы, а Тоню — в объятиях Васи.)* Стой! Что я замечаю такое? Васька и Тонька... Абрамчик и Людмилка... Удивительно, поразительно! Ша! Слухайте экспромт: подобным образом жениться — ни в коем разе не годится. И кто уж тут на ком женатый — не разберет медведь рогатый.

Флавий. Новое дело! Кажется, довольно ясно — кто на ком женат. Абрамчик на Людмиле, а Васька на Кузнецовой. Сам же об этом и раззвонил первый. Ты что, пьян?

Е м е л ь я н. Э, нет, братишки, постойте. Может быть, кто-нибудь и пьяный, но только не я. Сам, можно сказать, собственными глазами видел, кто на ком женатый.

В а с я *(отчаянным шопотом)*. Тсс! Молчи!

А б р а м *(также шопотом, делая знаки)*. Молчи... Это ж не этично!

Ф л а в и й. Товарищи, вы тут что-нибудь понимаете? Свадьба на Канатчиковой даче.

Е м е л ь я н. Сами вы все с Канатчиковой дачи. А я еще, слава богу, в здравом уме и твердой памяти и могу кого хочешь за пояс стихами заткнуть. Поэму «Извозчик» знаете? Слухайте! «И-и-эх, сглодал меня, парня, город...»

Ф л а в и й. Заткнись, гений! Надоел твой «Извозчик» хуже горькой редьки! Слышать не могу!

Е м е л ь я н. А что касается вот этих пистолетов... *(Показывает на парочки, они делают знаки.)* Да ну вас! А что касается их, то собственными глазами знаю, что Васька женатый на Людмиле, а вас тут, дураков, разыгрывают.

А б р а м. Ну да. Факт. Конечно, разыгрывают. Людмилочка, подтверди!

В а с я *(деланно смеясь)*. Ну да, разыграли... А вы что делали? Хи-хи. Хи-хи... Флавий, ловко мы тебя с Кузнецовой разыграли, а? Тонька, подтверди!

Т о н я. Товарищи, это все была шутка. И товарищ Людмила... может подтвердить...

Л ю д м и л а. Ой, какие вы все смешные, шуток даже не понимаете! Фи! *(Уныло берет Васю за рукав.)* Это мой законный, зарегистрированный супруг. Даже удостоверение из загса можем представить.

А б р а м *(уныло идет к Тоне)*. Это моя законная, зарегистрированная подруга жизни, Кузнецова, а? Рабочий контакт есть?—Есть. Сходство интересов есть? — Есть. Политическая платформа есть? — Есть.

Т о н я *(печально)*. Есть.

А б р а м. Так в чем же дело?

Е м е л ь я н. Ша! Четыре строчки. Слухайте экспромт. Всех разыграли как барана, — за исключением Черноземного Емельяна, — а потому что Емельян умнее всех, — он не баран!

П е р в а я. Плохо!

Е м е л ь я н. Скажи лучше, дура!

Ф л а в и й. Что вы скажете! Как поддели! Но, главное, кто меня удивил, так это наша Тонечка Кузнецова. Кто б мог подумать, что такая серьезная девица, с таким солидным общественно-политическим стажем — способна на такие игривые шутки? А? Как вы скажете, ребятки? Молодец Кузнецова, ты меня искренно радуешь! Не все же грызть гранит, — можно и повеселиться. Правильно?

П е р в ы й. Так в чем же дело? Товарищи, заседание продолжается. Вынимай шамовку! *(Гости вынимают приношения.)*

Второй. Пятьсот граммов краковской.

Первая. Четыре булки. Четыре яйца.

Первый. Севрюга.

Вторая. Четверка масла, две селедки.

Емельян *(ставит три бутылки пива)*. «И-и-эх! Сглодал меня, парня, город!..»

Тоня. Товарищи, я категорически протестую против алкоголя в комсомольской среде.

Емельян. Подумаешь — алкоголь, паршивое пиво! Флавий, на твое заключение. Три бутылки пива можно?

Флавий. Ради такого случая? Три бутылки? Валяй! Революция от этого не пострадает.

Емельян. Есть. *(Открывает пиво.)*

Первый. Товарищи, внимание. Ну-ка, хором! *(Поют песню.)*

Абрам. Прощай, Людмилочка!

Вася. Прощай, Тоня!

Людмила. Прощай, Абрамчик!

Тоня. Прощай, Вася!

(Занавес).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Та же комната, но в несколько хаотическом состоянии.

Явление 1.

Абрам и Людмила, каждый на своей половине. Некоторое время прислушиваются и осматриваются — не видит ли их кто. Потом бегут друг к другу и на середине авансцены поспешно и страстно обнимаются. После некоторой паузы.

Людмила. Что мы делаем?

Абрам. А я знаю, что мы делаем!

Людмила. Нет, нет, не целуй меня больше! У меня есть муж.

Абрам. Легко сказать — муж. Легко сказать — не целуй.

Людмила. Не целуй меня, котик! Не мучь. С ума сойти! Нет! Нет!

Абрам. Так одно из двух — надень на меня намордник.

Людмила. Я жить без тебя не могу.

Абрам. А я могу жить без тебя?

Людмила. Что ж это будет?

Абрам. В загс.

Людмила. С ума сойти.

Абрам. Или не этично? А?

Людмила. А Васька?

Абрам. Не говори мне про Ваську! Когда мне говорят про Ваську — я ему хочу голову оторвать. Что̀ Васька?

Людмила. Не вынесет. В один счет жизни себя лишит. Безусловно.

Абрам. Любит?

Людмила. Ой, Абрамчик, горе мое, до того любит, что прямо обожает. Просто невозможное дело!

Абрам. Все равно. Одно из двух: или я, или Васька. В загс. А, Людмилка? Будь же сознательным товарищем. Ну!

Людмила. Как же так... котик?.. Сегодня записалась с одним... завтра расписалась... послезавтра опять записалась с другим... Нехорошо. Что скажут люди?

Абрам. Людмила. Только без мещанства. При чем здесь люди; если мы жить друг без друга не можем? И, главное, в чем дело? Сходство характеров есть? — Есть. Взаимное понимание есть? — Есть. Трудовой контакт есть? — Есть... Людмила!.. Ну?.. Так в чем же дело?

Людмила. Ты мне совсем голову закрутил.

Абрам. Ну, Людмила! Решайся! В два счета!

Людмила. С ума сойти!..

Абрам. Это будет такая жизнь, такая жизнь!

Людмила. А, все равно! *(Бросается ему в объятья.)* Счастье мое! *(Поцелуй.)* Идем.

Абрам. Идем.

Людмила. Солнышко! *(Берет его об руку.)* Дорогой супруг! И тебе ни капельки не жалко Тоню?

Абрам. Стой! В самом деле! Тоньку я не учел... Хорошенькое дело; приходит Тонька сегодня после бюро ячейки домой, усталая, и вдруг замечает, что ее муж уже не ее муж, а чужой муж. Это этично или не этично?

Людмила. Идем, котик, идем...

Абрам. А Тоня?

Людмила. Что Тоня?

Абрам. Не вынесет.

Людмила. Любит?

Абрам. Ого! Прямо обожает!

Людмила. Все равно. Одно из двух: или я, или Тоня. Надевай куртку, а то загс закроют. Будь же сознательным товарищем! Ну?

Абрам. Сегодня записался... завтра расписался... послезавтра опять записался... Морально этическая расхлябанность, половая распущенность... Что подумают ребята из райкома? Что скажет товарищ Флавий?

Людмила. Ф... Фла...вий... *(Тихо рыдая.)* Не этично!

Абрам. Определенно.

Людмила *(рыдая)*. Солнышко мое... Или... Может быть... Эт... тично?..

Абрам. Безусловно! Принципиально неправильно заниматься построением личного семейного счастья на базе семейного несчастья других партийных товарищей.

Людмила. Значит... нам... нельзя?..

Абрам. Нельзя.

Людмила. А я думала... А я... Абрамчик... А я... Так... *(Рыдая.)*

Абрам. Людмилочка... Я тоже... Ты видишь — я взял себя в руки. Возьми тоже себя в руки. Будь мужчиной!

Людмила. Значит... Прощай, Абрам!

Абрам. Прощай, Людмила!

Людмила. Хорошо... Тогда я знаю... *(Порывисто.)* Прощай, котик! *(Объятья, сквозь слезы.)* Скажи... своей кошечке... мяу...

Абрам. Мяу. *(Почти рыдает, расходятся.)*

Людмила. Абрамчик!

Абрам. Да.

Людмила. Прощай, прощай! *(Объятья.)*

Абрам. Прощай! *(Объятья, расходятся.)* До чего ж это выходит не этично, когда все этично! *(Разошлись по своим половинам, Абрам в печали углубляется в книгу, правая часть занавеса задергивается.)*

Людмила *(одна, на своей половине)*. Хорошо... Тогда я знаю... Не могу я больше... *(Решительно начинает собирать свои вещи. Вдруг в изнеможении садится на пол и роняет голову на узел.)* Не могу я... Не могу...

Явление 2.

Грохот велосипеда, входит решительно Вася.

Вася. А ну его к чорту, с этим проклятым велосипедом! Тоже мне семейное счастье, чтоб оно сдохло. Вот... Все слова из головы высыпались.. Людмила... Мне надо с тобой серьезно поговорить... Дальше так продолжаться не может... Дело в том, что я... Дело в том, что мы... Дело в том, что наши с тобой отношения... В корне... Только ты, главное, не сердись и постарайся меня понять... Как бы тебе объяснить?.. Видишь ли, я хочу быть по отношению к тебе до конца порядочным человеком. Может быть, тебе это будет неприятно и даже больно... Но лучше сказать прямо и честно... Зашей мне штаны! *(В сторону.)* То есть что я такое говорю?

Людмила. Только без мещанства.

Вася. Чего-чего?

Людмила. Без мещанства. Это не этично...

Вася. Вот как. *(С долгим изумлением смотрит, насвистывая на Людмилу. После некоторого молчания, горячо.)* Нет, нет, Людмилочка! Ты напрасно говоришь, что это не этично. Если бы я тебя обманывал, лгал, притворялся... Ты меня понимаешь? Тогда это было бы, конечно, гнусно и не этично. Но ведь я же хочу с тобой поговорить просто, честно, по-комсомольски, по-товарищески...

Людмила. Я тебе не раба, а свободная подруга. Сам разорвал штаны, сам и зашивай.

Вася. А! При чем здесь штаны? Не о штанах речь.

Людмила. А о чем же речь?

Вася *(раздраженно)*. Совсем о другом. Видишь ли... *(В сторону.* Прямо язык не поворачивается... Она не перенесет этого, жизни себя ре шит, безусловно. А! *(Преувеличенно резко.)* Речь идет о тебе и... ну конечно... ну, и об Абраме... о вашем...

Людмила. Ой, боже мой. Все знает! С ума сойти!

Вася. Не перебивай меня. Я говорю... о вашем... То есть о вашей. Ты меня понимаешь?

Людмила. Ой, котик, ничего я не понимаю. Вот истинный крест— ничего не понимаю. *(Про себя.)* Факт, что не перенесет, жизни реши и глаза у него ненормальные... *(Васе.)* Ничего я не знаю, котик ничего я не понимаю... Об одном только умоляю, котик, не расстраи вай ты себя зря!.. Сердце мое не мучай!.. И так оно... *(Роняет голов на узел.)*

Вася. Вот что, Людмила... *(В отчаянии отворачивается лицо. к шкафу.)* Язык не поворачивается. Не перенесет, жизни себя решит. Факт. До того обожает, что страшно делается. Э! *(Машет рукой.)* Куд там! *(Уткнулся в шкаф.)*

Людмила *(подымает голову и видит удрученную фигуру Васи)* Бедненький, до чего страдает... *(Решительно.)* А, все равно! Пускай.. *(Начинает опять вязать узлы.)* Все одно, все одно...

Вася. Ты чего делаешь?

Людмила. Не спрашивай меня, Вася.

Вася. Уходишь, что ли?

Людмила. Да. Ухожу.

Вася *(с плохо скрытой радостью)*. Почему такое?

Людмила. Ухожу. Не спрашивай.

Вася *(лицемерно)*. Но все же... Людмилочка?..

Людмила. Нет, нет... Помнишь, как мы условились? Ничег мне не говори... Не проси... Не держи меня, пусти...

Вася *(лицемерно)*. Что ты, Людмилочка?.. Как же я могу, кошечка тебя не пускать? Вот еще... У нас же не какой-нибудь там феодальный брак... Бога ради!.. Пожалуйста... Я разве что?.. Я только так, поинтере совался... Конечно... Насильно мил не будешь.

Людмила. Ну, так вот... Я, значит... *(Поднимает узлы.)* Пошла.. Прощай...

Вася. Ну?.. *(Подходит к ней прощаться, не зная, как себя дальш вести.)*

Людмила *(чтоб избежать тяжелой сцены)*. Нет, нет, ничего я еще зайду. Тут кое-что осталось... Прощай, Вася!..

Вася. Прощай... Людмилочка... *(Она уходит. Вася, еле сдержи вая бешеную радость по поводу того, что все так благополучно вышло, идет следом за ней и бормочет не слишком громко.)* А, может быть, все-таки.. Как-нибудь... Осталась бы?.. Честное слово!.. Право, Людмилочка!. Осторожно, на велосипед не наткнись! *(Идет до дверц и начинает притан цовывать.)* Ушла, ушла!.. И очень даже просто. Ушла!.. Хи-хи... Хо-хо..

Без никаких драм... Ай, спасибо!.. Ай, спасибо!.. Тонька, Тонечка моя! Тонька, Тонечка моя! Тонька, ягодка моя! *(Начинает плясать, хохоча. Левая часть занавеса задвигается и скрывает его танцующим)*

Явление 3.

Открывается правая часть занавеса. Абрам один.

Абрам *(сидит сгорбившись)*. Сходство характеров есть? — Есть. Взаимное понимание есть? — Есть. Классовая принадлежность есть? — Есть. Трудовой контакт есть? — Есть. Все есть — и вместе с тем такой потрясающий крах! В чем дело, не понимаю... Сходство характеров? — Есть. Трудовой контакт? — Есть. Все есть, а в общем и целом мрак. Или все сказать Тоньке прямо? Или не этично? А? Нет, она этого не переживет! Или этично? А? Или нет? С ума можно сойти!

Явление 4.

Входит Емельян.

Емельян. Здорово, старик!

Абрам. Здорово!

Емельян. Танцуй!

Абрам. Почему я должен танцовать?

Емельян. Потому что обязан. Танцуй!

Абрам. Новое дело.

Емельян. Танцуй, говорю!

Абрам. Ты что, пьяный?

Емельян. Танцуй, танцуй! Ну! Отчего ты бедный, оттого что бледный... Ну! *(Напевает плясовую и сам притоптывает)*

Абрам. Видели вы сумасшедшую птицу филин? Так это он.

Емельян. От филина слышу. Танцуй!

Абрам. Почему я должен танцовать?

Емельян. Потому что порядков не понимаешь. У нас такое правило: как кому письмо пришло, так тому, безусловно, полагается по штату танцовать. *(Вынимает письмо.)* Во. Письмо. Танцуй! *(Напевает.)*

Абрам. Кому письмо?

Емельян. Тебе, тебе. Танцуй!

Абрам. Мне письмо?.. Редкий исторический факт. С семнадцатого года писем не получал. Даже забыл, как это делается. Давай сюда!

Емельян. Танцуй!

Абрам. Кроме шуток, давай! *(Емельян держит письмо над головой и не дает.)* Брось дурака валять!

Емельян. Танцуй, а то видел? *(Показывае мускулатуру.)* Во! Потрогай!

А б р а м. Видели ненормального? От кого?

Е м е л ь я н. От подруги жизни, от супруги.

А б р а м. От какой супруги?

Е м е л ь я н. От такой самой, от твоей. От Тоньки!

А б р а м. От Кузнецовой?.. С ней что-нибудь случилось?

Е м е л ь я н. Ничего не случилось. Встретились в учраспреде. Просила тебе передать. Танцуй!

А б р а м. Не морочь голову. Давай!

Е м е л ь я н. Шалишь, танцуй!

А б р а м. Ой, боже мой!.. Видели дурака? Семейный крах налицо, а он заставляет танцовать. Я не умею танцовать, понятия не имею, ну, давай уж, давай!

Е м е л ь я н. Танцуй!

А б р а м. Так не умею же я!.. Вот сволочь!.. Ну, чорт с тобой! *(Неуклюже танцует под хлопанье в ладоши и аккомпанимент Емельяна.)* Ну, давай!

Е м е л ь я н. Танцор из тебя — знаешь — как слон по бутылкам. Танц-комик. На!

А б р а м *(хватает письмо)*. Ух, я уже чувствую — начинаются феодальные штучки. *(Вскрывает конверт, читает и комментирует.)* «Товарищ Абрам! Я долго думала и пришла к заключению, что дальше так продолжаться не может»... Людмилка? А? Я ж говорил, что она докопается до объективных условий. «При создавшихся объективных условиях наше сожительство является неприемлемым. Ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю». Ух, крах налицо! Все знает. «Считаю необходимым сделать из этого организационные выводы». Ой, травиться, кажется, сейчас будет! «Я должна уйти. Собери все свое мужество и не пытайся меня удерживать... Так надо». — Определенная катастрофа! «Когда ты будешь читать это письмо, я уже буду, вероятно...» Только чтоб, не дай бог, не в крематории. «...я уже буду, вероятно, в вагоне, по дороге в деревню, куда меня направляет учраспред на работу, на основании моего личного заявления. Постарайся меня забыть и Бердникова отдай Соне Огурцовой. С комприветом Кузнецова». Ай, Тонька! Молодец! А я думал, будет что-нибудь ужасно феодальное. Ха. Без никаких драм! Людмилка — ты слышишь? — с комприветом Кузнецова! А? С комприветом Кузнецова, с комприветом Кузнецова, с комприветом Кузнецова!.. *(Начинает дикую пляску, с левой стороны сцены, за занавесом, слышится плясовая музыка, гитара, топот и резкое пенье Васьки.)*

Е м е л ь я н. Видели, видели? Ишь выкомаривает! А еще плакался, что не имеет понятия танцовать, ого!

А б р а м *(пляшет)*. С комприветом Кузнецова, с комприветом Кузнецова! Ушла, ушла, ушла!..

Отдергивается левая половина занавеса и открывает радостно танцующего под гитару Ваську.

Явление 5.

Слева танцует Васька, справа Абрам. Емельян тихо недоумевает. Васька и Абрам в пляске сближаются на середине авансцены, долго смотрят, подмигивают, танцуя, друг на друга.

Вася *(поет и танцует)*. Ушла, ушла, ушла, ушла...

Абрам *(поет и танцует)*. Ушла, ушла, ушла, ушла... с комприветом Кузнецова, с комприветом Кузнецова...

Емельян. Болванов видели?

Вася *(остановился, смотрит на Абрама)*. Ушла. Ха-ха. Ушла!

Абрам *(остановился, смотрит на Ваську)*. Ушла. Факт.

Вася *(хохочет, подмигивая)*. Ушла.

Абрам *(хохочет, подмигивая)*. Ушла.

Вася. Стой! Кто ушел?

Абрам. А кто ушел?

Вася. Ясно кто: Людмилка!

Абрам. Что?.. Людмила ушла?.. Ты с ума сошел! Кузнецова ушла!

Вася. Что?.. Ты сам с ума сошел! Тонька?.. Ушла?.. Ты шутишь!

Абрам. Стой! *(Остолбенел.)*

Вася. Стой! *(Остолбенел.)*

Емельян. Стой не стой, братишки, а дело совершенно простое: бе бабы рванули когти. Ясный факт!

Вася. Стой!.. Она... совсем... ушла?

Абрам. Совсем! А что?

Вася. Куда?

Абрам. Уехала работать в деревню! А что?

Вася. В деревню?.. Как же так?.. Постой!..

Абрам. Стой!.. Людмила... совсем?

Вася. Совсем! А что?

Абрам. Куда? Куда, говори!

Вася. Вообще... Неизвестно... А что?

Абрам *(в отчаянии)*. Куда же ты смотрел?

Вася. Чего там я? Куда ты смотрел? Как ты ее отпустил?

Абрам. Нет, куда ты смотрел?

Вася. Я куда смотрел? Стой! А ты, собственно, здесь при чем!

Абрам *(в запальчивости)*. А кто же здесь при чем? Может быть, ы здесь больше при чем?

Вася. Молчи! До того довел девушку, что она пошла к чорту на ога, лишь бы не видеть твоей поганой рожи! Где ж ее, где ж ее теперь скать?

Абрам. Я довел девушку! А ты? А ты что сделал? А ты до чего юдмилу довел? *(Передразнивает)* «Котик, поцелуй меня в носик, котик ажи: мяу».

Вася. А тебе какое дело?

Абрам. А тебе какое дело?

Вася. У, видеть тебя не могу равнодушно!.. хозяйчик паршивый

Абрам. От ренегата слышу.

Вася. Это кто ренегат? Я ренегат?

Абрам. Ренегат и оппортунист!

Емельян *(в восторге)*. Я б на твоем месте, Васька, за ренегата обиделся.

Вася. Это кто ренегат? *(Наступает, замахивается.)*

Емельян. Правильно, ребятки, бейтесь, — только музыкальный струмент не повредите

Вася. Кто ренегат?

Абрам. Брось гитару! *(Отступили за дверь.)*

Емельян *(глядя в дверь)*. Правильно. Крой! Хо-хо! Форменный экспромт!

Голос Васи. Кто ренегат?.. *(Грохот падающего велосипеда.)*

Емельян. Потеха. *(В дверь.)* Ребятки! Это не годится гитару калечить. Бейтесь по всем правилам, как полагается по роману. Во втором этаже, в 18-м номере, у Володьки Синицына деникинские сабли есть Крой! *(Шум.)* Валяй! Чтоб дуэль по всей форме, на... Не иначе. *(Голоса* Абрам — Брось гитару! Вася — Кто ренегат? Абрам — Брось гитару, а то я за себя не ручаюсь. Пусти! Вася — Стой!*)*

Емельян *(в дверь)*. Сыпьте за саблями. Хо-хо-хо. Бейтесь, братишки! *(Шум по коридору смолкает.)*

Явление 6.

Емельян *(возвращается, утирая пот, как после тяжелой битвы)* Это называется дотанцовались. Потеха! Аж мне самому жарко стало! Ну, как теперь бабы отсюда окончательно смылись, можно, слава богу, и переночевать тут. Шамовки сколько! *(Ложится.)* Буду сочинять новую поэму. *(Ест, валяется и пишет.)*

Явление 7.

Входит Флавий. С недоумением оглядывает опустошенную комнату и живописно развалившегося Емельяна.

Емельян. Здорово, Флавий, шамать хочешь?

Флавий. Здорово. Ты тут чего разоряешься в чужом семейном доме?

Емельян. Да. Был семейный дом, только весь вышел.

Флавий *(видя разгром)*. Что тут происходит?

Емельян. Драма в шести частях. Бабы смылись, а ребятишки в 18-й номер за шашками побежали.

Флавий. Ты что, пьяный? Говори толком!

Емельян. Я ж тебе толком и говорю: Тонька с места в карьер втюрилась, как ненормальная, в Ваську. Людмилка врезалась, как мала-

хольная, в Абрамку. Васька влопался, как тот осел, в Тоньку, Абрамчик влип в Людмилку, аж пищит! И все друг друга до того стеснялись, что сегодня, наконец, вся эта контора лопнула. Тонька не выдержала — смылась. Людмилка не выдержала — смылась. Васька и Абрамчик побежали в 18-й номер рубать друг друга шашками. А я пока что тут думаю поселиться.

Флавий. Дуэль?

Емельян. По всей форме, как Пушкин с Гоголем — шашкой по голове, и ваших нет! До того накалились, что страшное дело. Гы-гы!

Флавий. Так что ж ты, дубина, ржешь? Два болвана побежали идиотскую дуэль устраивать, комсомольскую организацию позорить, а третий болван валяется с ногами на чужой постели и — гы-гы! Ну! Раз-раз! Покажи свою физкультуру. Чтоб дуэлянты были здесь. Живые или мертвые! В два счета!

Емельян. И-эх. *(Уходит.)*

Явление 8.

Флавий. Прямо скандал на весь район. *(Многозначительно насвистывает.)* Хорошенькое дельце! *(Пауза.)* Тоже мне советские гусары!

Явление 9.

Входит Тоня и, задыхаясь от слез, собирает вещи и собирается уходить.

Флавий *(переходит по авансцене на половину Абрама, видит Тоню)*. Ты куда?

Тоня. Я ухожу, Флавий.

Флавий. Куда ж это ты уходишь?

Тоня. На работу. В деревню!

Флавий. Новое дело. Вдруг ни с того, ни с сего загорелось работать в деревне. Почему же это?

Тоня. Не спрашивай меня, Флавий. Мне очень тяжело. Так надо. Прощай, Флавий!

Флавий. Э, нет! Погоди. Ты мне толком все расскажи. Что-нибудь случилось?

Тоня. Да. Нет. Ничего не случилось. Ну... прощай!

Флавий. Кузнецова! Ты мне баки не крути. Говори прямо, что у вас тут случилось?

Тоня. Ничего.

Флавий. Ах, ничего!

Тоня. Ничего. Не знаю. *(Пауза.)*

Явление 10.

Во время паузы на свою половину входит с узлом заплаканная Людмила.

Людмила *(сдерживая рыданья и сморкаясь)*. Бабушку и дедушку... забыла... *(Лезет снимать портреты, снимает их и потом по ходу сцены начинает прислушиваться к усиливающимся голосам Флавия и Тони, подходит к перегородке.)*

Флавий. Ты не знаешь. Так я знаю! Ваську любишь? А ну-ка посмотри мне в глаза?

Тоня. Люблю!

Флавий. Васька тебя любит? Посмотри в глаза.

Тоня. Любит!

Флавий. Так что ж ты мне голову морочишь? И разводишь тут психологические драмы? Любите друг друга — в чем дело? Так сыпьте в загс — революция от этого не пострадает, и нечего в деревню ездить.

Тоня. А как же Абрам?

Флавий. Думать надо было перед тем, как расписываться...

Тоня. Я думала... Мы думали... Сходство характеров. Рабочий... контакт... Общая... политическая платформа... *(Всхлипывает.)* И вот... и вот... *(Сквозь рыдания.)* Нет, нет, товарищ Абрам этого не перенесет... Пойми, товарищ Людмила этого не перенесет. Пойми, Флавий, мы не можем строить свое счастье на несчастьи других тозарищей... *(Рыдает.)*

Людмила *(заглядывает в комнату и вдруг роняет на пол портреты бабушки и дедушки, стоит с узлом в руках, ревет и хочет бежать)*.

Флавий *(к ней)*. Куда?

Людмила *(остановилась. Колеблется. Потом бежит к плачущей над узлом Тоне и обнимает ее, сквозь слезы)*. Ой, Тонечка, Тоня, мое солнышко!..

Тоня. Товарищ Людмила!..

Людмила. Кошечка моя, я же все слышала... Не надо же, честное слово, плакать... Бери себе Ваську, только ради бога не расстраивайся, потому что мне все равно без Абрамчика... не жизнь... *(Обе рыдают над узлом счастливыми слезами.)*

Тоня. Милочка, деточка сестричка...

Флавий *(утешая их)*. Ну, вот! По-ошли теперь реветь. Эх, вы, обезьяны мои дорогие! А, впрочем, это иногда помогает. Плачьте. Валяйте! Революция от этого не пострадает!

За сценой крики, звон, страшный шум, галдеж, паденье велосипеда, скандал

Тоня. Что, что случилось?

Людмила. А-а!

Флавий. Успокойтесь, девочки! Ничего страшного.

Явление 11.

Вваливаются неумело дерущиеся Васька и Абрам, причем Васька фехтует шпагой, а Абрам шашкой в ножнах, пытаясь ее обнажить. За ними, галдя больше всех, Емельян.

Емельян *(неуклюже бегая вокруг фехтующих)*. Куда? Куда? Стоп! Легче, легче! С ума посходили, честное слово! Музыкальный инструмент повредите!.. Васька! Абрамчик!

Вася. Где Тонька, говори?

Абрам. Куда Людмилку девал?

Вася. А тебе какое дело?

Абрам. А тебе какое дело?

Вася. Мелкий хозяйчик!

Абрам. Пустите меня! Я ему сейчас голову оторву! *(Васька подается назад и опрокидывает ширму. За ширмой группа: Тоня, Людмила и Флавий. Общее замешательство.)*

Вася. Тонька! Людмилка!

Абрам. Людмилка! Тонька! *(Не знают, что делать и как себя вести.)*

Вася. Флавий!..

Абрам. Флавий!..

Флавий. Красота! Тонька, Людмилка, что вы на это скажете? Два сухих идиота фехтуются на музыкальных инструментах! Картина, достойная кисти Айвазовского.

Абрам *(лживо радуясь)*. Кузнецова, ты еще не в деревне? *(Хочет броситься к ней.)*

Тоня *(останавливает Абрама величественным, справедливым жестом и показывает на Людмилу)*.

Вася *(лживо)*. Людмилочка! Ты пришла?.. Я ужасно рад!

Людмила *(копирует жест Тони по отношению к Васе и Тоне)*.

Абрам. В чем дело, Тонечка?

Флавий. Ребятишки. Без дураков. Не крутите вола. Все ясно, все понятно, все известно. Тонька, Ваську любишь?

Тоня. Люблю!

Флавий. Людмилка, Абрамчика любишь?

Людмила. Люблю!

Абрам. Товарищи, это ж не этично! А? Или этично?

Флавий. Абрамчик, не будь чересчур умным попугаем. Ребятки, что же вы стоите? *(Все всё поняли, пауза.)* Переженились как угорелые, не подумав, а потом Художественный театр тут устраиваете, а мне за вас отдуваться, разводить вас и опять женить! У меня, товарищи, кроме этого, много других обязанностей. Ну? *(Людмила бросается к Абрамчику, а Тоня — к Васе.)*

Тоня. Васюк!

Людмила. Абрамчик, солнышко!

В а с я. Тонька!

А б р а м. Людмилочка! *(Объятия)*

Ф л а в и й *(Емельяну)*. Подымай якорь, браток. Не будешь ты здесь, как видно, сегодня ночевать. Катись!

Е м е л ь я н. Может, экспромтом сказать, — хочете?

Ф л а в и й. Катись, катись!

Е м е л ь я н. «И-эх-х! Сглодал меня, парня, город, не увижу родного месяца. Расстегну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься. И-эх-х!» Пропадет на глазах у всех самородок. Пойду в 18-й номер ночевать. *(Уходит.)*

Ф л а в и й. Ладно. Авось не пропадешь. *(Поднимает с полу портреты бабушки и дедушки и отдает один портрет одной паре, другой — другой паре.)* Ну-с! На основании брачного кодекса делите имущество. Получайте дедушку. Получайте бабушку. *(Они берут.)* Итак... Кажется, все в порядке? Спокойной ночи!

В а с я *(Абраму, юмористически)*. Котик, скажи своей кошечке: мяу.

А б р а м *(солнечно)*. Мяу.

Ф л а в и й. Ничего, ребятки, не стесняйтесь. Любите друг друга, не валяйте дурака. Революция от этого не пострадает.

(Занавес)

Ночь в Братиславе.

(Рассказ).

Илья Эренбург.

и приезжают в тот же час. Один из Праги, другой из Жилины.
уга они не знают, и трудно сразу говорить об этих разных людях.
ова — неудобные калоши и неудобный паспорт. Он сторонится
іх расспросов. Он привез сюда сердитую деловитость. Он весь по-
ает: перо скрипит, новые ботинки, мандат, беленькие ассигнации,
и сердце, ломовое загнанное сердце. К такому не подступишь!
второй? Второй, это — Милош, и Милош все время глупо
ся.
мила — жена Милоша. Дома она ходит в высоких блистательных
таскает ведра, поет. Днем ей, пожалуй, некогда любить Милоша.
ит его ночью, вся белая и горячая, как молоко, когда молоко убе-
сто Милошу кажется, что он обжигает губы.
рочем, сейчас не об Ярмиле думает Милош. Наконец-то, попал он в
настоящий большой город, в столицу, в Братиславу! Ярмила
среди цветных тарелок и среди подушек, наваленных горой до
Зачем он сюда приехал? Просто: купить сепаратор. Так говорит
и думает. На самом деле он приехал посмотреть, что же это такое
ий большой город. Об этом догадывается только Ярмила. Тре-
оняет она ведро. Ах!..
иехали они под вечер. Уж смеркалось, и замер Милош, увидев,
хивают огни за влажными стеклами магазинов. Он подошел к пер-
ам были выставлены дешевые безделки: перламутровые шка-
запонки, пудреницы, мундштуки. Все это, сияя, металось среди
к, среди крупной соли и электрических лампочек. Невольно прыс-
одавщица, увидав сквозь муть белобрысого парня, который разе-
перед крохотной пуховкой. Наверное, присматривает подарок жене.

Милош не думал об Ярмиле. Он смотрел на сиюящие блики
бескорыстно, как смотрит бродяга на декабрьские звезды.
овцов пошел в гостиницу, парадную и грязную. Там пришлось ему
ть знакомое, скучное, неизбежное: написать на листке свое имя, и,
чересчур большой ключ с звякающим номерком, ждать у пыльного

окна, пока унылая горничная не принесет полотенце или графин — этот соглядатай верной бессонницы. Словцов заранее ненавидел всякую комнату, в которой предстояло ему переночевать. У него был дурной сон и расстроенные непосильной работой нервы. По ночам он перекидывался с боку на бок, как рыба, и думал о самом глупом: о годах, о выпавшем зубе, о какой-то Аркадьевой, — словом, чорт знает о чем...

Когда прислуга, наконец-то, ушла, он прилег на кушетку и быстро оброс газетными листами. Он забыл, где он. Он забыл даже это имя «Братислава», сладкое и сусальное, как пряник. Он выписывал цифры экспорта и тревожные колебания курсов. На одном из листов он увидел портрет председателя синдиката. Это был высокомерный худощавый англичанин. Словцов на минуту задорно улыбнулся: посмотрим, чья возьмет! Здесь показался гимназист Шура Словцов, который на коньках выписывал диковинные фигуры. Но потом он снова принялся за работу: он не умел ни отдыхать, ни фантазировать. Так прошли два часа. Наконец, он отложил и перо, и газеты. Он привстал, грустно зевнул: устал с дороги. Приближалось ненужное и тяжкое: одинокий вечер в незнакомом городе, а потом затяжная утомительная ночь, горячая подушка, часы, чиркание спичек, графин, старость, Аркадьева...

Пугливо подняв воротник пальто, он вышел на улицу. Он зашел в ресторан, чтобы как-нибудь убить время. Там было пусто, бело и холодно. Сразу обступили его приторные лакеи, помахивая угодливо салфетками. Он съел гуляш с паприкой, и после этого его начала мучить жажда. Рассеянно глядя на пустые столы с приборами, за которые никто не садился, может быть, год, на портреты Массарика и какой-то экзальтированной венгерки, наверное кино-звезды, выпил он залпом несколько стаканов токайского. Сначала он почувствовал только теплоту: вот, наконец-то, согрелся!.. Потом вино кинулось в голову. Добродушно Массарик распекал Словцова, а кино-звезда приподнимала одну бровь, точь в точь как Аркадьева. Словцов решил проветриться.

За потными стеклами сияли запонки, колбасы в серебряной бумаге, итальянские розы, электрические кофейники. Главная улица города была светла и узка, как коридор. Езда здесь воспрещалась. Люди ходили взад и вперед, как будто по фойе театра, прельщаясь восковым бюстом манекена в парикмахерской Карла Чабанека. Все они говорили на разных языках и плохо понимали друг друга. Здесь были словаки и мадьяры, чехи и евреи, немцы и цыгане. У них были разные имена для города, разные имена для любви. Витрины знали, что они связаны вавилонским проклятьем. Разговаривали они переменным током и цифрами. Милош глядел на цифры, и он глупо улыбался. Он не знал, что на свете существует столько крон. Да, в Братиславе крон больше, чем овец в Карпатах, больше, чем звезд над Карпатами. Это очень смешно!

Все здесь курят папиросы, которые пахнут вареными грушами. Милош покупает десяток, закуривает. Он держит папиросу бережно и недоуменно, как будто это бабочка, готовая улететь. Там, у себя он курит

только «запекачку». Он плюет на табак, долго растирает его между жесткими рыжими ладонями, набивает глиняную трубку, и кладет ее на угли. Тогда «запекачка» начинает дымиться. Милош глотает дым, крепкий, горячий, густой, как летняя ночь. А Ярмила лукаво блещет одним зеленым зрачком и поет. Она поет, конечно же, для Милоша: «У нее было семьдесят юбок, и она не вышла замуж. А у меня была только одна юбка, и меня взял мой любимый». Где это?.. Запекачка?.. Ярмила?.. Здесь только юбки. Их не семьдесят. Их гораздо больше. Их столько же, сколько крон. Но зачем?.. Улыбка Милоша становится все глупее. Она теперь кидается в глаза прохожим. Ведь на главной улице скучно. Все венгры и даже цыгане давно изучили, сколько стоит любой кофейник, любая гримаса. Для улыбки Милоша в Братиславе нет крон. И они изумленно останавливаются: словаки, мадьяры, цыгане. А запонки продолжают метаться.

Словцова, того никто не замечал. Он знал, как потеряться в любой толпе: на парижских бульварах и на Смоленском рынке. На нем был галстух, газеты и скука, как на всех. Читая вывески, он тихонько подсмеивался. «Вонявки» — это наверное духи. Хорошо. Вспомним тот вечер после «Ревизора». Почему же она попросила меня уйти? Я не так выразился? Я помнил корни, но не сумел подобрать эпитетов? Это же условность! Разве она видела меня голым, без слов?.. Ах, товарищ Аркадьева, я привезу вам отсюда этот граненый флакончик!..

Токайское еще не отстоялось. Словцов хотел было пойти работать. Он свернул на боковую улицу, с удовольствием ныряя в промозглую темноту.

Пусто и сонно вокруг. Но ведь Словцов спать не будет. Графин, часы, горячая подушка... Тогда лучше не прикидываться, лучше уж бегать всю ночь по этому чернильному городу, где люди не понимают друг друга, где старое вино, старое небо и пряничная глупость. Поглядеть хотя бы, как этот улыбается (рядом со Словцовым теперь идет Милош).

Пусто вокруг. Но из иных домов на свежий лак тротуаров сыплется дробь смеха, крики, гармошка. На таких домах — палки. Словцов спрашивает Милоша:

— Что это?..

Милош перестает улыбаться: он хочет быть вежливым, как Массарик. Он поясняет:

— Под веху...

Кое-как Словцов начинает понимать Милоша. Оказывается, это дома виноделов. Неделю в год они могут торговать своим вином. Тогда они вывешивают палки. Впрочем, это дело налоговой политики. А уснуть, он все равно не уснет. И Словцов предлагает своему новому спутнику:

— Хорошо. Идем «под веху»!

От усердия даже стены потеют: ну, и жарища!.. Люди сидят на скамьях, на кроватях, на сундуках. Они облепили жилье. Они жужжат и рвутся прочь, но не уходят. Обыкновенная квартирка с семейными фотографиями, с детской посудиной загадочна сейчас и черна, как вертеп.

Хозяева со всеми сродственниками, домочадцами едва успевают наливать в большущие кувшины молодое мутное, как янтарь, вино. От него во рту оскомина. Гармошка, граммофон и Юро — баснословный кривой драчун — все хотят перекричать друг друга. При затишьи слышны трогательные жалобы стекла. На подушках хозяйки нежно, по-домашнему обалдевает сорокалетнее дитя. Что ни минута заходят уличные торговцы. В их корзинках коварные снадобья — кильки на лучинках, приторные конфеты, сухие бублики. Попробовав, остается тотчас же крикнуть: «Эй, милый, еще кувшин!..». Целуются настойчиво и молча, опрокидывая головы — так же, как пьют.

Словцов и Милош выпили два кувшина от удивления, от бубликов, от того, что «под вехой» делать нечего, все пьют. Словцов пьянел молча, про себя. Он оставался сухим, чуть чопорным. Из кармана торчала газета. Вежливо отодвигался он, когда сорокалетнее дитя, балуясь, ползало из угла в угол. В голове Словцова, однако, начиналась очередная неразбериха бессонницы: вымышленными казались кувшины, красные щеки Милоша, имя: «Братислава» — глупо, как пробка! Он с Аркадьевой. Наконец-то, решается он забыть о самолюбии. Он сжимает ее руку, больно, обидно сжимает: «идешь?..». Газета в кармане смешно подмигивала.

А Милош глаз не сводил с одной девки. Она сидела в углу, прямо на кухонном столе, и красила губы. У нее были рыжие, смешливые глаза, грудной голос. Она болтала ногами, грызла китайские орешки; изредка глядя на Милоша, начинала она смеяться, хоть Милош больше и не улыбался. Забыв об Ярмиле, Милош дурел. Может быть, это и есть настоящий большой город?.. Он хочет поцеловать рыжеглазую, но боится. Вместо этого он только пьет вино. Недолго девка болтает ногами. Вот входит один — этот не дурак. У него наверное магазин с запонками. Лицо его скрыто влажным туманом и безразличием; зато запонки посвечивают. Он берет рыжеглазую за руку и больно сжимает. Словцов мучительно отвертывается: он не сумел так взять Аркадьеву... А Милош, тот недоумевает:

— Почему же она целуется с этим стариком?

Газета в кармане Словцова шумит насмешливо и глухо. На минуту Словцов расстается с Аркадьевой:

— У него магазин запонок. Или кофейников.

Оба молчат. Милош:

— Ты русский? Хорошо. Ты ведь знаешь, мы любим русских. Очень любим. Вы теперь расквитались с такими. Правда? И у вас больше нет крон. Правда?

Словцов лениво щурится:

— Правда. Все правда. Крон у нас нет. У нас червонцы.

Тогда Милош начинает петь: «Мой отец был добрый, я мусим быть збойник, бо кривда велика. Неправость у панов, правда у збойника...».

Тот, с запонками, в ответ весело высвистывает чарльстон. А Словцову не до морали. Он прозевал Аркадьеву. Он прозевал ее потому, что был занят. Заседания. Это очень просто. Могут же посылать на фронт... Там те-

ряют ногу, здесь — счастье. Лучше всего, конечно, таким красномордым бродягам.

— «Збойник»... Так... А ты, что же, давно стал разбойником?

Стыдливо Милош улыбается:

— Нет, я ведь приехал покупать сепаратор.

Еще кувшин! Рыжеглазая девушка все целуется с запонками. В домах «под вехами» желтый свет и отчаяние. Летят на пол гармошки. Визжат женщины. Хозяева задыхаются. Но они счастливы: они выдают дочек замуж, и они строят флигели. Ах, это желтое вино и желтая луна над чернильным городом, над уродливыми башнями, над венгерским гуляшем, над Дунаем и над Словцовым, над всей тоской Словцова: не уснуть!.. Где же товарищ Аркадьева?..

Так плетутся бараны Милоша, далеко отсюда — в Карпатах: стоило только встать девушке, как за ней побежал одутловатый владелец запонок. Тотчас же встал и Милош: он уж не мог жить без рыжих глаз. Ну, а позади Словцов. Куда деться, до утра далеко.

Парочка отправилась в кафе, огромное и пустое. С потолка капали сгустки подозрительной бронзы, голые брюнеты на стенах мяли линяющих наяд. Гримасничали цыгане в замусоленных смокингах. Они щипали струны и пронзительно взвизгивали, выставляя предупредительно номер программы. Словцов даже справился: «3 847 — цыганский скетч. Ночь напролет».

— Давай пить, разбойник!

Милош заказал можжевельную настойку: такую пьют у него в селе. Настойка пахла аптекой и лесом. Это был очень горький запах, спирт обжигал нёбо, здесь-то Словцов понял, что эта ночь — не спроста. Он даже пожалел, что не успел кончить работу. Надо бы еще проследить влияние мексиканских событий на последние курсы...

Корчась, скрипач сбегает с эстрады. Он несется к запонкам. Наклонившись над красным оттопыренным ухом, он начинает играть и петь. Он поет только для запонок. Для кого же еще ему петь сумасшедшую эту песню, где вместо понятных слов крики, белиберда, сон? Цыган кривляется, как тень. О чем он шумит? Наверное о любви. Глаза пятидесятилетнего негоцианта города Братиславы теперь блестят ничуть не хуже запонок. Когда цыган кончает, очередь — рыжеглазой: «Дождь идет с Оравы. Придет ли мой любимый?..». Тут Милош вскакивает. Дурень, он забыл, что он в большом городе. Он орет, как в горах, где только овцы и эхо.

— Значит ты оттуда? А я, девушка, из Детвы. Брось скорей этого старого урода! Идем танцовать!

Но нет, рыжеглазая совсем не оттуда. Это благовоспитанная братиславская барышня. Она обзывает Милоша: «Деревенским нахалом». Запонки заносчиво расплачиваются, скрипач получает десять крон за «Ночь напролет». Он зевает и жрет сосиски с горчицей.

Снова Милош и Словцов следуют за парочкой. Влюбленному не первой молодости трудно подыматься в гору, а они идут именно в гору, к замку,

где среди ветра бьются суматошные огни всех веселых домов Братиславы. На одном из поворотов девушка оглядывается. С белобрысым дураком она не хочет разговаривать. Она кричит Словцову: «Отвяжись, негодяй!». И Словцов тупо, сам дивясь своей тупости отвечает ей: «Нет». Словцов говорит еще Милошу: «Стерва». Он говорит не об этой. Что она Словцову? Словцову необходимо вслух выговорить другое имя. Он бормочет: «Аркадьева», и ему кажется, что он разделся догола, что он бесстыден, как эта ночь, что теперь он все может... Уж не Словцов это с газетой в кармане, но дурень Милош из Детвы; вот тебе, получай, танцуй, сдохни, любовь моя! да, да, любовь!..

Так увлекся Словцов, что не сразу опомнился, когда раздался на крутой черной уличке короткий крик.

Милош преглупо улыбается. Он роняет нож. Он берет Словцова за рукав:

— Надо нам утекать...

Но Словцов не двигается с места. Словцов грузен и мертв, как тот другой, что лежит теперь поперек улицы: только запонки и посвечивают, глаза выела ночь.

— Утекай!

Словцов шуршит чуть газетой, расстегивает пальто: жарко. Он признается трупу:

— Глупая история...

Тогда Милош расстается с Словцовым. Он ныряет в ночь, и нет Милоша.

Рыжеглазая девушка сначала взвизгивала от страха и от похоти. Отойдя, она стала театрально кричать: «Держите!..». Из соседних домов повысыпали бородатые евреи в длинных подштанниках с тесемками и в ермолках. Выбежали и девушки-венгерки, на голое тело накинув одеяла или же военные шинели своих кавалеров. Кричали разбуженные дети. Чиновник-чех поднес электрический фонарь к запонкам, долго он изучал их.

Больно сжали кисти Словцову. Словцов добродушно мигает. Уродливо корчатся башни, скрипач в мертвом кафе, «под вехами» кувшин и женихи, черный Дунай внизу, развалины, запонки и ермолки на горе, корчится эта ночь, и все ее боятся, все хотят сказать о своем страхе, но не могут: они ведь не понимают друг друга, у них разные имена для города, для сердца, даже для смерти. Тогда дело заканчивается сухо: по совету чехачиновника Словцова ведут в участок, подбирают запонки, сдают их куда надо.

Сер, трезв утром любой город. Словцов видел Марсово поле и Елисейские поля. Утром для него Братислава — глупое захолустье, пряничное имя, вывески на трех языках, провинциальная спесь и паприка. Происшествие на крутой улице, блеск запонок, улыбка Милоша, дрожь еврейских кальсон кажутся ему нелепым анекдотом из тех, что рассказывают в вагоне, когда нос полон копоти, а чай пахнет жестью и дымом. Он

попал в скучную переделку. Пройдет, наверное, несколько дней, пока ему удастся разъяснить все это дело. А ведь он должен послезавтра быть в Вене... Надо точно обдумать все ответы. Итак, с тем красномордым дурнем познакомился он «под вехами». Нет, еще раньше, на улице... Что скажет рыжеглазая?.. Она, кажется, здорово испугалась... Какая нелепость!..

И вдруг Словцов улыбается. Это непонятно, и все же это так. Он забывает о Милоше. Это он убил нахального лавочника с оттопыренным ухом! Нет, не его...

Впервые Словцов думает об Аркадьевой без волненья. На этот раз он не сдался. Он вышел из высокого дома на Остоженке, нагло ухмыляясь, потягиваясь: свое взял. Что было там, наверху — никто не знает. Наверное корчились звезды, ветер выл и ермолки содрогались. Ха-ха! Вы мнѐ уступили, товарищ Аркадьева!

В ожидании допроса арестованный бесстыдно улыбается. Эта улыбка так ошеломляет следователя, что вместо «ваше имя» он растерянно говорит:

— Хорошая сегодня погода...

Что касается Милоша, то Милош, конечно, благополучно добрался до своего села. Снова курит он запекачку и громко гогочет под звездами. Жизнь ему еще веселей прежнего: он знает теперь, что такое настоящий большой город. Жизнь здесь, где сапоги Ярмилы и клейменые зады баранов, а там только кроны, там короткий крик на узкой улице. Он говорит Ярмиле:

— Братислава? Это пуговицы. Живи я там, я стал бы заправским разбойником. Ты знаешь, что̀ я видел в Братиславе? Один парень зарезал венгра. Ей-богу! Он зарезал его, как свинью на колбасы. А я стоял и смеялся: хорошо работает, разбойник! Может быть, Ярмила, это я его зарезал?..

Вся перепуганная Ярмила прижимается к Милошу:

— Бог с тобой, Милош!..

Через минуту:

— А сепаратор?

Милош гогочет. Вместо ответа он целует Ярмилу и, конечно, обжигается: молоко кипит.

Когда он выходит на двор, чтобы остудить и губы, и сердце, светла ночь, громок собачий лай, мир высок, свеж, чудесен, так чудесен, что Милош навсегда забывает крутую улицу и черную на ней тень.

Пушторг [1].

(Роман).

Илья Сельвинский.

Глава I.

1—7.

8.

«Акционерное общество Пушторг
Скупает, экспортирует, красит и белит
Пушнину, мех, щетинный дерг,
Овчину голяк и овчину дубную.
Имеется бобровый питомник (Дубно),
Фабрика химической окраски (Белгород),
Щипки муфлона (Бий-Урюк),
Марка — тигр, вращающий круг».

9.

И дымчатый корпус в шесть этажей,
Чопорнейший и тонный,
С конструкцией призмы стекла и бетона,
Но с легкостью юношеских этажерок,
Углом в 45 принимавший проспект,
Дымчатый корпус вот уж два года
Как будто вращал в бюллетене у входа
Рыночных цен переменный успех.

---

[1] От редакции. По недостатку места в журнале — роман печатается в сокращении, как в отношение отдельных глав (IV, V), так и за счет посвящения, пролога, лирических отступлений, описаний городов, эпизодических сцен, второстепенных персонажей, эпиграфов, носящих характер интермедий, и др.

10.

Прекрасное зданье. Золото лета
В черных широтах его стекла
Сусалом стоит, что иконный оклад,
Где каждый главбух — сама богоматерь.
Но даже и образ не без математик:
Миллиметр влево — и вот по стеклу
В масле шумит глазунья омлета
Или сентябрьский парк в Сен-Клу.

11.

И дымчатый корпус в шесть этажей
Чопорнейший и тонный
В радиомачтах высокого тона,
В английских трубках, слоящихся сизым,
Пенил шумную пену франтих
Всех оттенков Коти и Тэжэ,
И плыл по тучам как трансатлантик
Маршрутом на социализм.

12.

На социализм! Юнейший из торгов,
Слушая севера волчий зов,
В метелице чаек как кинематограф
Седой. Однако уж пять часов:
Надо спешить — мы запоздали.
Итак, мы входим в знакомое зданье,
В камень, шлифованный точно топаз —
И я разворачиваю типаж.

13.

Казаров 2-й. Он почти метис,
Ибо конторщик и шахматист.
Но это «почти» (только чур — без огласки)
Идет всецело за счет меня;
Сам же Казаров, мир засуча,
Ходит по улицам ходом коня
И носит в манжетах головки сыча,
С которых срисован Ласкер.

14.

Поповский. Ему отделили счета
Гербовых сборов. Работа пустая.
Однако Поповский другим не чета —
Он филателист, и даже сюда
Прилипли в зазубринах желтый Судан,
Чайные буквы на водах Китая,
Проштемпелеванные цари
И Франция с жестом фригийской зари.

15.

Ардатов? Извольте: в два зуба дыра,
Боксер кружка «москожи»,
Он даже накалывает ордера
Ударами датской кожи.
Блох? Он в реестрах жесток и колюч,
Выписывает «ф» — как скрипичный ключ,
Да имя супруги — Дòрэ,
Он произносит как

16.

17.

Эта коллекция советских клерков
Имела Пушторг до четырех.
Он исчезал — появлялась церковь,
У иных уборная маленькой актрисы,
У третьих «Вечорка». Сутулые крысы,
Работая ради жалких крох,
Изредка грызлись над лишней коркой,
Но были терпимой прислугой Пушторга.

18.

А дальше каста играющих соло,
Дающих оттенки типажным моделям.
Таков, например, Северьян Полуяров,
Зав экспортным отделом.
(Не смешивать с братом, который директор,
И о ком ниже.) Этот технолог
С бородкой как корневища яров
Был переменчив как спектр.

19.

Серо-седой, но с чалой бусинкой,
Будто насадка. На лысине кок,
Зачесанный по принципу внутреннего займа;
Сюртук, старомоднее рясы инока,
Также с бусиной. А из-за фалды
Красный платок с вышивкой «Ялта»
И крестиком прачки. Подагре в подскок
Он висел точно ухо зайца.

20.

За сим, вызывая любовную боль,
Жестокая как чрезвычайка,
Жила ундервудка по имени Чайка.
Собственно говоря — Олечку Петровну
Звали Оль-Оль окружающие.
Жующая резинку как общее правило,
Она много стучала, еще больше правила,
Но, впрочем, у ней выходная роль.

21.

Гораздо полезней запомнить студента
Саввича Павла,
У которого пробор академически-ровный
И росчерк нарядный как Брента.
Но иногда — какой пассаж!—
Над Брентой, текущей по важной петиции,
Он ставил точку, подобную птице,
И получался пейзаж.

22.

Но тот, от которого зависели отпуск
И прочие и которому докладывали об.
Тот — это «Он», это «Тсс», это подпись,
Величественная как Обь.
Каков он? Седой, лысый, рыжий?
Nihil. Он как Судьба.
Он изъяснялся кнопкой, как призрак,
Веял холодом морга.

23.

Не то заместитель директора Пушторга,
Если только положиться на такой признак,
Как важно-выпяченная губа
И оранжевый жилет из Парижа.

Этот реален как 25
И полон чувства меры и веса:
Столкни его в воду какой-нибудь повеса —
Он поправит галстук и вынырнет опять.

24.

В стеклянном аквариуме кабинета
В рыбьих очках он сидит как спрут.
Но когда величественный Труп
Зажжет условные лампочки —
Он вскакивает, выпуча в штамп очки,
И предупредительно полумокрый,
Думая: «Только бы не то»,
Семенит на цветной окрик.

25.

Но в мирное время Лев Семеньч Кроль,
Несмотря на партийность, настоящий король.
Недаром над ним повесили
С библейским профилем льва,
Недаром в гриве его голова,
Недаром против ярости он принимает капли.
В роли зама — Чарли Чаплин,
Впервые выступающий в поэзии.

26.

Прежде всего рассмотрим анкету:
Фамилия, имя: Л. С. Кроль.
Лет: 40.
Специальность: нету.
Служба: год работы в ЧК.
Затем комиссар бригады N-Ноль.
Званье: мещанин города Аткарска.
Происхождение: пролетарское
(Сын неимущего часовщика).
Грамотность: два класса городского уч.
Партийность: коммунист 19-го года.

27.

(К этому прибавить датского дога,
Недорезанного бога, неразрезанного Маркса,

Этот реален как 25
И полон чувства меры и веса:
Столкни его в воду какой-нибудь повеса —
Он поправит галстук и вынырнет опять.

24.

В стеклянном аквариуме кабинета
В рыбьих очках он сидит как спрут.
Но когда величественный Труп
Зажжет условные лампочки —
Он вскакивает, выпуча в штамп очки,
И предупредительно полумокрый,
Думая: «Только бы не то»,
Семенит на цветной окрик.

25.

Но в мирное время Лев Семеньч Кроль,
Несмотря на партийность, настоящий король.
Недаром над ним повесили
С библейским профилем льва,
Недаром в гриве его голова,
Недаром против ярости он принимает капли.
В роли зама — Чарли Чаплин,
Впервые выступающий в поэзии.

26.

Прежде всего рассмотрим анкету:
Фамилия, имя: Л. С. Кроль.
Лет: 40.
Специальность: нету.
Служба: год работы в ЧК.
Затем комиссар бригады N-Ноль.
Званье: мещанин города Аткарска.
Происхождение: пролетарское
(Сын неимущего часовщика).
Грамотность: два класса городского уч.
Партийность: коммунист 19-го года.

27.

(К этому прибавить датского дога,
Недорезанного бога, неразрезанного Маркса,

Профессии: от мальчика биографа «Луч»
До вояжера фирмы Дрейфус.
При этом все помыслы — выйти с маркой,
Только бы шанс, только б не сдрейфить.)

28.

Бунт его поднял (он шел по ногам).
Белый негр императорского ига,
С какою яростью в битву прыгал,
Как упоительно бил наган.
Это была отвага страха,
Клерка забитого гневный восторг
По гуще царей громовержцем ахать,
Росчерком сабли молнить простор.

29.

Но бой отдымил. И мой Лев Семеныч
Уже навострил вояжерскую гоночь
В ЦК, МК за рукой и порукой,
И, точно беременная свой живот,
Тыча всюду раненную руку,
Он ею дышит, ею живет,
Каркая точно ученый дятел:
«Родной. Архитектор. Зав. Председатель».

30.

И вот, восседая, радужный Кроль,
Моргая ноздрей и дрожа икрой,
На штатскую должность глядит как на отдых,
Точно на урочище удельного князька.
Правда, грамотность его низка —
Но боевой дух и железный подбородок —
Вот что расценивает во сто крат
Кроль, пролетарский аристократ.

31.

Нет, надо видеть его палец и звонок;
Щегольство словечками вроде «sic» и «ergo»,
Всю физиономию белого негра,
Собранную под медальный лик;
Наконец, на кончике носа блик,
Сосредоточивший всю его ответственную гордость,
Наконец, усиленный сту́к но́г:
Твердо-с, твердо-с, твердо-с.

32.

Надо ж было ж видеть, как с белого ковра ж
Он властно осматривает вверенный адрес,
Как все население повергал в раж
Его героический кхашель;
Как, сидя меж двух телефонных башен,
Он цмокает из зуба, где зеленеег камень,
И, сунув зубочистку в щель между клыками,
Оставляет ее там часа на три-с.

33.

С каким авторитетом, подмахнув акты
На куплю шкур, пятнистых как тиф,
Он скажет, Полуярова опередив:
«Почем стоит эта гигиена?».
И крайне удивленный, что это не гиена,
А — с позволенья сказать — леопард,
Иронически усмехнется à parte,
Уверенный, что ошиблись факты.

34.

Так в покоях, где до полу àтлас,
Кроль восседает у самого взморья
Голубоватой теории моря,
Опущенный на серебристый атлàс
Стиля французских декораций того,
Как его... Люэса пятнадцатого,
А подошвы его принимал как дар-с
Услужливо-распятый пятнистый барс.

35.

Его лишний секретарь, Гуров;
Чрезвычайно галантная фигура,
Неизменно в шахматном шарфе
Из красного и серого.
Он очень любил консервы,
Умел подражать арфе
И не слыхивал выстрела, кроме
Хлопанья пробки в броме.

36.

С ордерами на аккредитив
Направляющийся в Главбухию,

Оплывал его жирный голос:
«У дзядзи и у тсети тсиф».
И, слоняясь то тут, то там,
Для многих приятный (он холост),
Какой-нибудь барышне бухал:
«Гигиппотам или гиппототам?».

37.

Он г'ваил: «Ассьте...»,
Но Картышев отбрил: «Зыдыравствуйте»,
Но Картышев штормы выстрадал:
В нем три слепых выстрела.
Из профессии с бочки оратели,
Бывший нарком Ойратии,
Он брошен в помы директора
Правлением треста «Электра».

38.

Голос, подобный лаю,
На боку нагана прощуп:
У семнадцатом годе: «Расстреляю»,
В двадцать третьем году: «Сокращу».
И, когда свирепеет его дикий ндрав —
Дико хвосты задрав,
Взъерошатся друг против друга в хищь
Рыжие коты его усищ.

39.

Последний Н. Н. Маслов,
Зав пушным отделом,
Лисичка Бирской волости
Уфимского уезда.
Отец родной всех прасолов,
Всех ундервудных девок,
Распутинские волосы,
Эсеристое тесто.

40.

Сегодня вся эта публика
Различного номера лба,
Почему-то сидела на бутерброде,
Хоть нотная тень телеграфного столба

Уже перешла за балкончик, напротив,
Гусаря бюст какого-то Публия,
Что означало осенней тьмой
Четыре часа — и фюить домой.

41.

Сегодня самая последняя конторка
Была приглашена директором
На совещание, так сказать — в некотором
Роде, ну, что ли, интимное.
И вот вошел. Голосом гимна
Он загремел о задачах Пушторга
И заявил: «Не для славы вящшей
Вам говорю, что дела блестящи:

	Июнь	Июль	Сентябрь	Октябрь
Госторг				
Центросоюз				
Пушторг				
Сельскосоюз				

42.

Однако в самом аппарате Пушторга
Имеется некий недуг, которого
Следует остерегаться и бить:
Я говорю о недуге карьеры
Тех, кто ставит палки и клинья,
Чтоб искалечить верную линию,
Завы, счетники и курьеры,
Давайте обдумаем, как нам быть?

43.

Я гарантирую рост Пушторга
При ликвидации гнили изнутри.
В противном случае квартала через три
Паевой капитал придется поистратить,
И пойдет содержанье администрации
За счет святого Георгия».
И директор произнес не без такта:
«Ву понимэ? Так-то».

Глава II.

«Что̀ он Гекубе? Что̀ она ему?
Шекспир.

1.

Интересы Пушторга как организма
Требовали: параграф «а» —
Экспорта сиф (т. е. прямо на̀-берег)
В морские государства меховых фабрик
(Англия, Америка). Вторая графа:
Закупка непосредственно у зверобоя.
Коротко и ясно. Ясно без боя.
Только бы шкуры гони, зима.

2.

Так полагал Онисим Полуяров,
Человек ясный, как истый якут.
Он сразу учуял пушторговский характер
И связанную с ним коммерческую ярость,
Но знал и поступь меховых акций,
И прочный ход английского «Good»,
Который с ненарушимостью хартий
Зимний мех бронирует в марте.

3.

Он знал, что успех не в вихрях лицензий,
Что русская пушнина при всей своей ценности
Дешевле других, ибо марка ее — нуль,
Поэтому Пушторгу необходимо время
Снюхаться с пушными саксами, евреями,
Которых ни разу бы не обманул,
Послав вместо «примы» — четвертый тонкий,
А вместо котика — просто котенка.

4.

Он знал, что звериная верность зырянина,
Пушными купцами как дратвой израненная,
Против России пыжит ежом,
Что нужно доказать (и он докажет — время!),
Что стиль Пушторга не повадка Ефремья,
Республика не живет грабежом,
Но ее пульса зырянин касается
Всеми усами битого зайца.

5.

Он знал... Но позвольте: Полуяров, По-лу-яров...
Не тот ли это Ониська, который...
Да, это тот, но позвольте уж я:
Отец его был охотник факторий
И за 40 лет не вскинул ружья
Ради одних оглушительных зарев.
Такую же школу зверя прошли с ним
Сыновья: Мамант, Северьян, Онисим.

6.

Ониська имел цвет волос бусый,
Лицо скалистое, по щекам глаза,
На башке шлык из бирючьей морды.
А когда получал из конторы ордер
В знак торжества, во-первых, вонзал
В волчьи уши по алой бусе,
А затем летом ли или порошей
Скидал пимы́, надевал галоши.

7.

Равно велик закон биологии
Под люстрами зала и в черной берлоге.
Но догадается ли кто-нибудь,
Что эти галоши, каждая в пуд,
Играли роль павлинья хвоста
И добивались очарованья
Белой русаночки, чьи уста
Вчера лишь улыбались в Эривани.

8.

И он ходил и месяц и год,
Носил ей в штанине черных и бурых
Великолепнейших чернобурок
С различной примесью серебра
И сонно слушал, как римлянку гот,
Что если он вправду ей друг и брат,
То пусть не ленится: в скорости, даст бог,
Он одолеет премудрости азбук.

9.

И он ходил и месяц и год,
Покуда однажды, веселый как пыжик,

Стал обучать русачку на лыжах,
И та хохотала до детских икот.
И вдруг ее тело опушил вой
И лапы облапили, нежнейшие на свете...
О, ежели Онисим не похож на медведя,
То все медведи похожи на него.

10.

Но русская женщина — она как песец:
Остро кусается, но драгоценна.
Пушистую негу носит в лице она,
Какой не выпушить даже куницам,
Как мех, который мог бы висеть
Над очагом первобытной души
В пустой до ужаса белой тиши
Полярной вечности. Почуял ли Онисим

11.

В этом укусе женских зубов
Свежее дыханье красного зверя
Прекраснее всех, кого нюхал и бил.
Но что-то сдвинулось. Все, что любил,
Обледенело в нем. Новая эра
Державным наплывом двигалась в бой,
Как айсберг в воде, от тумана оттаянный,
В великолепии блеска и тайны.

12.

В эту же ночь Онисим исчез.

13.

А когда снова оказал честь
Этим краям своим посещеньем,
Сопровождало светлое эхо
Уполномоченного Главмеха.
Тогда в бюллетене могли вы прочесть
В статье «Каких работников ценим»,
Что 3 000 000 пушных товаров
Пригнал инспектор О. Полуяров.

14.

Третий сезон опять застает
Онисима в самых дебрях Якутии,

Где, раздувая меховой торг
Между ярмаркою и закутой,
Он вяжет узлы, соузлия, узы,
Строит фактории и создает
Дальнюю базу Центросоюза,
А через год появился Пушторг.

15.

Полуяров работал с утра до утра,
Он помнил облик любой копейки;
Слово — крепче жиро и тратт,
Имя выше официоза.
Двуногой стихией, четкой как доза,
Со льдами в глазницах и трубкой в зубах
Он понукал унылые пехи
Посвистом гона полярных собак.

16.

А параллельно в двух МГУ
Вел обширный курс зоографии,
Где оживали таблицами графики
Хвойный волк или бархатный барс.
И в промежутках вузовский гул
Катился по коридорам Пушторга,
И профессор-директор указывал: «Норка,
Ледянка-секунда,
Кряж: Красноярск».

17.

Затем на прощанье с приятельской лаской
Одаривал всех закладкой для книг:
Кому бурундук, кому суслик, ласка...
А на лето лучший, другим на зависть,
Входил в Пушторг практикантом. Из них
Кой-кто оставался. Например, Саввич:
Еще не дойдя до простых соболей,
Он получал 60 рублей.

18.

Полуяров гремел. Молодой великан
С утесистым лбом и глазами океана
Оброс судьбищею окаянной
Всему, где храп, тяп-ляп, спесьца,

Так как помимо биографии песца
Он имел диплом инженера Стокхольма,
И мысль его, ледяная и холеная,
Авторитетна и велика.

19.

Как Полуяров проник за рубеж,
Так же, как о студенчестве в Швеции,
Кроме диплома, не было сведений,
Но римским V меж бровей рубец
Делал для всех вполне вероятной
Вычурность каждого варианта —

Недаром этот полярный орел
Имел ломоносовский ореол.

20.

Среди пушников Полуяровы часты,
Как белый ворон и черный алмаз:
Само сочетанье — бирючья масть
С бритой щекой европейца и ученого,
Сытый взгляд медведя ученого,
Молодость, лишенная дедовских традиций,
Наконец, лоб, с которым надобно родиться,
Лоб исключительного счастья.

21.

Нужны были полчища и века случек,
Чтобы мутация животного гена
Создала череп звериного гения,
Целое царство нервных звезд,
Вспыхивающих центрами и пылью флексий
В звоне паутины условных рефлексов —
Что же удивительного, что такой случай
Двинул пушторговский рост.

22.

Но пока Пушторг приручал северян,
Покуда крепил отношения с Лондоном.
Кроль, его зам, был особенно рьян
В подсчетах дефицита пушторговского дела.
Это Полуярова несколько задело:
«Нужна ли, — подумал он, — внутренняя фронда нам?
Я ведь объяснял, что может статься
Года на три потребуется дотация».

23.

Особенно бесило Полуярова то,
Что Кроль при нем шу-шу-шу с партийцем,
Подчеркивая, что подобным лицам
Ох не приходится доверять.
И, посмотрев на часы — не время ль
Ради солидности кончить врать,
Он вызовет из гаража авто
И сделает ручкой: «Адье, я в Кремль».

24.

Тогда Полуяров, весь налитой,
Но с ослепительнейшей улыбкой,
Спускается вниз, надевает пальто
И важно садится в автомобиль,
Вызванный Кролем. И вместо филиппики,
Пустив в изумленного зама пыль,
Он крикнет шоферу, кусая губу:
«На заседание в Цекубу».

25.

Чтò он Цекубе? чтò она ему?
Должно быть, не больше, чем Кролю Кремль.
Но этого «Выкуси» вычурный крендель
Стоил обоим немало мук —
Недаром пущена с жилы тугой
Армянская загадка: «Шьто такой
Четыре колесам и многам крови?».
Ответ: авто Полуярова-Кроля.

26.

Но Кроль не унывал. Он поставил стол
*Не*выполнений анкет Наркомторга,
Куда входили диаграммы для СТО,
Статистические карты РКИ и Госплана.
Так раскуривалось серное пламя,
И, когда Полуяров был почти что издерган,
Не желая эксцессов, он взял мандат
Объезда факторий осенних дат.

27.

Фактории эти были ерундой:
Самая что ни есть русская Россия;

23.

Особенно бесило Полуярова то,
Что Кроль при нем шу-шу-шу с партийцем,
Подчеркивая, что подобным лицам
Ох не приходится доверять.
И, посмотрев на часы — не время ль
Ради солидности кончить врать,
Он вызовет из гаража авто
И сделает ручкой: «Адье, я в Кремль».

24.

Тогда Полуяров, весь налитой,
Но с ослепительнейшей улыбкой,
Спускается вниз, надевает пальто
И важно садится в автомобиль,
Вызванный Кролем. И вместо филиппики,
Пустив в изумленного зама пыль,
Он крикнет шоферу, кусая губу:
«На заседание в Цекубу».

25.

Что̀ он Цекубе? что̀ она ему?
Должно быть, не больше, чем Кролю Кремль.
Но этого «Выкуси» вычурный крендель
Стоил обоим немало мук —
Недаром пущена с жилы тугой
Армянская загадка: «Шьто такой
Четыре колесам и многам крови?».
Ответ: авто Полуярова-Кроля.

26.

Но Кроль не унывал. Он поставил стол
*Не*выполнений анкет Наркомторга,
Куда входили диаграммы для СТО,
Статистические карты РКИ и Госплана.
Так раскуривалось серное пламя,
И, когда Полуяров был почти что издерган,
Не желая эксцессов, он взял мандат
Объезда факторий осенних дат.

27.

Фактории эти были ерундой:
Самая что ни есть русская Россия;

Но, тем не менье, пушной профессор,
Готовясь к отъезду, был явно превесел —
Он продувал, свистя из Россини,
Автоматическое рондо
И перечистил свежей «Вечоркой»
Два чемодана — желтый и черный.

28.

Рыжие зубы. Витринные глаза,
Где небо, вещи, женское тело...
Разве такого заставишь лизать
Чей бы то ни было росчерк на свете?
К дьяволу эти интриги отдела,
Скоро вагон, скоро станции, ветер,
Череп, как чаша, волнами-полный,
Сосредоточеннейшая полночь.

29.

И Кроль, наконец, остался один.
Кроль. Но какая цена ему?
Он в книжке числился служащим по найму —
Что знал этот «служащий»? Что он умел?
Дважды два — и ничего в уме;
Дважды два, говорю я, не более.
У гения тромб — у него эмболия;
Куда? Зачем? Кто его посадил?

30.

Кроль. Он слышал множество спичей.
Но вот его ценность, — довольно мило:
Жира — на семь копеек мыла,
Железа — на гвоздик, тупой с обеих,
Фосфора — на три коробки спичек,
Калия — с выстрел (да и он плох),
Серы — против десятка блох.

Всего же в итоге на 40 копеек.

31.

Сорок копеек. Цена, prix-fixe,
Этот ярлык торчит в его кресле.
Но это же боль, ну, поймите — боль же,
Что им выступает торговый фиск.

Что он фигура-с, что он похлыще
Выкуренного директора треста —
Сорок копеек. Алло: вы слышите?
Сорок копеек. Кто больше?

32.

Существует три сорта дураков. Один
Наглядно-показательный. Никак не упятится.
Спросишь: «Сегодня что? четверг?».
«Да, — ответит, — а завтра пятница».
Сорт второй — дурак-фейерверк.
Этот кое-кого убедит:
Луну и рифму «примется-принца»
Он объяснит из единого принципа.

33

Все для него давно решено.
Цитируя Уткина или Шено,
Ораторствуя по любому вопросу,
Сей экземпляр эффектно упрется
И, будьте уверены, останется тверд.
Дурак этот обычно тирасполец или уманец.
Такого дурака именуют умницей,
А те, кто именует, и есть третий сорт.

34.

Полноты ради о четвертом сорте:
Он мыслит и, мысля, бушует с пристанью —
«Да, я дурак, но я познал истину:
Истина есть то, что я — дурак.

Отсюда баллада силлогизма: ура,
Кай не дурак, ибо познал
Истину, что Кай — дурак». О, четвертый!
Ты буря и бодрость. Ты знамя и знак.

35.

(Почтовый ящик. Эн-Эну из Ломжи:
№ 4-й остается дураком же.)
Кроль идет по второй категории:
Дурак с интонацией хитреца-с.

При этом, однако, надуть, объегорить
Он мог бы даже самих Медичи:
Он был, например, до того дипломатичен,
Что нельзя было добиться, который час.

36.

Я думаю далее, никто бы не ошибся,
Сказав, что он сведущ и ходит в театр.
Он знал, например, афоризм Ибсена:
«Не жертвуй честью ни дружбе, ни любви».
Он знал, что до Гоголя сотворен «Вий»,
Что нитрогениум значит азот,
Что в Дании на четырех один кооператор,
Тогда как в России на 7 500.

37.

Что озимь видать уже на Илью,
Что Илья приходится на июль,
Что от слова «добить» произошло — «добыча»,
У Пушкина в зубе была дыра,
Против глистов помогает клизма,
Карл Маркс основатель марксизма —
Короче говоря, невредный обычай
Читать перед сном листки календаря.

38.

В Главрыбе, куда он имел державить,
Его, неимеющего направленья,
Ориентировали сюда
Щука под хреном и по-польски судак.
Но — он нашел постановку ржавой,
Кроме того не попал в правленье,
И кое-кому на предмет науки
Был преподнесен хреновинной щукой.

39.

Но член правленья в Текстильсиндикате
Оказался шурином Сашиной Кати —
И вот у Кроля бюро у окна,
Затем посредине, затем в кабинете,
Потом стал ездить: по Таврии, Сванетии,
Грузии, Армении — вплоть до границы.

Но, проездив 40 верст сукна,
Почему-то не смог укорениться.

40.

Но в Пушторге, где был председатель Мэк
(Который хорош с Александрой Ивановной),
Кроль решился взяться наново
И ознакомиться с мехом зверей.

Ручей черноты серебром, как свирель,
Играет и прыщет в россыпи, во сто
Как млечный путь зарываясь в мех,
В ресницы, хребта, в мохнатые звезды.

41.

Вторая шкура над упаковкой
Пышно сидела лебяжьей пуховкой
И вся голубела, и шла как поток,
Оснеженный сахарной пудрой и пеной;
Под нею заря оплывала степенно,
Под ней как лиса листопад под пятой —
Остистою астрой кровавых огней
Третья пушнина лежала под ней.

42.

Кроль разбирал их: белая — песец,
Черная — та, что серебром лоснится,
Должно быть пантера, а третья — рысь...
Оказывается — все лисицы.
«Ах, так, — сказал Кроль, — в таком случае — брысь».
Он решил довольствоваться азбукой стандарта.
Кстати, в кабинете висела карта
С наглядными рисунками для пушных бесед.

43.

Кроль добросовестно приобрел курс
Брэма, Коотса, даже Полуярова.
Сперва ничего. Страницы через две
Узнал, что Ursůs значит — «медведь»,
Тут-то он понял прозвище Урс
Картышева, этого ражего и ярого,
Который любил полапать, потапать
И кличкой партийной звался Потапыч.

44.

Но дальше—о, боже: раздел ЛИСА —
Меланизм, хромизм, альбинизм, а там
Законы Менделя и прочее и прочье.
Как в микроскоп гиппопотам,
Глядит на все это Кроль. Короче
В памяти нет уж того колеса,
Увы, не тот, не тот уже возраст,
Чтобы зубрить как студиозус.

45.

Итак, ничего. Ни с теорией твари,
Ни с практикой на готовом товаре.
Но что ж в итоге? Да пара замашек
И о шубе своей услышите вы:
«Помесь бобра с собакой, но увы —
Вся, к сожаленью, в свою мамашу».
Неистребимость, о, что ты? О, кто ты?
Кроль перешел на пушные анекдоты.

46.

Блеф Семеньч, я умею не авидеть.
Я лелею свою ненависть к вам, как любовь;
Она в лунный масштаб ваш клопиный бой
Увеликанивает как рефрактор.
Вам очень нравится фрак? Тррр —
Карты? Тссс: вы как священник.
Кроль, вы нуль. Но я, как Овидий,
Думаю о ваших превращеньях.

47.

Кроль, ты нуль. Но везде декаданс твой:
В поэзии Уткин, в газете их дюжины,
До горизонта ширяет окружность —
Пока ты под маской. Ну, что же — строй
Этот с издетства знакомый строй
Фальши, протекционизма и чванства,
Чтобы, коснея с этих позиций,
Все остальное ты звал оппозицией.

48.

Кроль, я знаю — ты стар, устал,
Ты человек, как я, как Онисим,

И все же я ветрами реву в рупора:
Кроль или *коммунизм,*
Но нет. Опираясь на № и стаж,
Ты разотрешь, собираясь на пленум,
Выхаркнутую муку пера
С этим лирическим наступленьем.

49.

О, мой рефрактор! Твоя слюда
В окиси крови моей и желчи,
И воет голос мой, голос волчий
Свое одиночество на луну.
Но даже луна — идеальный нуль,
Под нею сжились тихомирные овцы —
А я с непосильными бивнями совести
Вымру как мамонт со льда.

Глава III.

1.

Семь часов вечера. В детской постели
С голубой сеткой и никкелем шаров
В березовом запахе каркающих дров
Посапывает Лев Семеныч.
Строго говоря, ему пора одеваться,
Но комнатный градусник показывает двадцать,
Но так уютны под марлей пастели,
Что навевает сон ночь.

2.

Комната сжигает багровую тьму,
Тонущую в оранжевой байке.
Часы, зевая, вызванивают восемь.
Каркают березы. Мокрая осень.
Тихо. С картины смотрит отец твой,
И выплывает милое детство,
И даже, казалось, что это ему
За дверью пелась колыбельная байка.

3.

А Саша, сынка своего укачав,
Пока в столовой в папином кресле,
Пела песню раз десять под-ряд,
И всякие мысли в голову лезли.

Сынок уже спал. Она пела зря,
Но пела и, лежа на утлой козетке,
Бледнея, слушала мужний чавк,
Прикрывши лицо газеткой.

4.

Холенная, под анонсом «Zaza»,
С ногтями, играющими как глаза,
Она вся объята, окружена
Женственностью, точно пена шумом.
Но что волновало ее кружева?
Каким предавалась таинственным думам?
Чьим голосам внимала Тамара
В яростной арии самовара?

5.

На эти вопросы, любезный друг,
Не взялся б ответить и сам супруг,
Хоть он и имел в этом нежном теле
Сто процентов заявки.
Но дайте срок, — не сегодня, завтра,
Даю вам честное слово автора,
Как-нибудь в ундервудном отделе
Получим точные справки.

6 — 7.

А пока обратим вниманье на муху.
Муха была чеховская — средней руки.
Но покуда она в самоварном гаме,
Законам Ньютона вопреки,
Ходила над нами
Вверх ногами,
Пунктиря части
Лепного овала —
Была она просто человек свой.
Когда ж эта муха
Стрельнула об ухо
Уважаемого Льва Семеньча Кроля —
Оказалось, что ее звон
Был той щепоткой соли,
Которой недоставало
Для самого полного счастья.

8.

Нет, как хотите, его жизнь увенчана:
Он обладает роскошной женщиной,
Оклад, положение, власть.
И это государству абсолютно недорого,
Раз он душа и сердце Пушторга,
Не то что какой-нибудь дядя Влас
Из этих, из широкоплечих,
Вроде Картышева, партбилетчик.

9.

Кроль вскочил с выражением рта:
«А Полуяров пешка?
Сейчас на исходе четвертый квартал,
Сейчас у охотника нет зверья,
Но я их сгоню, о, поверь — я
Покажу им, чтò значит спешно.
Либо я золото, а не медь,
Либо при нем мне онеметь».

10.

На письменном столе привычный пейзаж:
В пепельнице волосы (довольно давнишние),
Косточки глазированной вишни
В маленьком сигарном ящике,
Девичий профиль с локоном нà-щеку
Небрежно подписанный «Саш»,
Причем у бордюра на поле фона
В два почерка номера телефона.

11.

Здесь, вытащив из покрывала
Серебряный бювар, где гусиное перо
И росчерки служащих по случаю конца Чеки —
Кроль работал. Шепелявило перо,
Сверчок за обоями тикал как часики,
Но урчание жилета покрывало:
Философичное как контрабас,
Оно было символом прочности баз.

12.

Интересы Пушторга прежде всего
Требовали постановки здоровой

И шли по линии осевой:
Скупка меха у зверолова
В обход вторых и третьих рук,
Затем сортаж по мировой мерке,
Принятой стандартом Англии, Америки,
Скупающих по образцам на круг.

13.

Но вместо этого Кроль на погибель
Рвал мех, где бы он ни был:
У Центросоюза ли, у нэпача ль,
Реализуя мгновенно товары
Чехии, Румынии, Дании, Баварии, —
Пускай сортируют — не наша печаль.
И зеленый зверь, молодой, не гулявший,
Ехал на Запад, кладбищами павши.

14.

В ночные деревья ложатся огни зама.
Кроль готовит карьеру впрок.
Урчит жилет. Шепелявит перо.
И только яйцо с надрезанным луком
Ждут приобщиться к торжественным звукам.
Но Кроль не жует. Его зубы рипят
И вместе со скрипом пера скрипят
Цели пушторговского организма.

15.

Первой в папке шла телеграмма:

«Приехал Курск Полуяров».

Кроль

Обмакнул перо в ядовитую кровь
И черкнул поперек: «Очень приятно».
За ней появился под почтой спрятанный
Доклад с облинованной рамой,
Написанный каллиграфической вязью,
Имевший в продырьях бант с перевязью.

16.

«По данным экспедиции ген-губ Унтерберга
Котиковый промысел, в сущности юный,
Упал в теченье десяти лет.
Русские, канадские, японские шхуны

Хищническим образом рыскали у берега —
И гибли кот, матка, телец.
Добычу пиратов (подсчеты Дании)
Ярко иллюстрируют следующие данные:

Года	Суда	Самцов, холостых, маток, тельцов
1906	29	10 176
1907	35	10 420
1908	31	13 355
1909	35	10 465
1910	35	12 295
1911	33	11 816
1912	35	13 112

17.

Но в 1911 году
Была заключена Вашингтонская конвенция,
Каковой конвенции буква и дух —
Охрана котиков на Тихом океане.
Согласно следующих изысканий
Стадо Прибыловых иждивенцев,
Упавшее до ста тысяч хвостов,
Теперь представляет (профессор Хвостов):

Классификация	На островах	
	Св. Павла	Бонифация
Матки	172 528	35 868
Тельцы	—	—
Секачи	3 127	389
Холостячки	375	15
Матки годовые	55 043	9 197
Секачи охочие	73 484	9 429
неплодовые	75 055	10 851
Прочие	45 800	8 624
	587 939	109 219

18.

Но так как Британская Колумбия (Виктория),
Которая лишилась промыслов, но которая,
Имея вполне оборудованный рейд,
Предполагает из конвенции выйти —

В отношенье котика возможный вред
Чреват весьма чрезвычайностью событий.
Необходимы крайние меры —
Я полагал бы по крайней мере...»

19.

Кроль не дочитал. Манера письма,
Какой отличался Северьян Кондратьич,
Со всеми этими «чреват» и «весьма»,
Со всей этой ученостью не просто, а в квадрате,
Его дико бесила. Он образованных
Жадно ненавидел, как отставленный любовник,
За мужа получивший порционные рога,
И он написал на диссертации врага:

20.

«Болтология. Я не наркоминдел.
Прошу обратиться до текущих дел».
И, представив, как бледнеет этот старый костыль
И как скажет Гуров: «Это чшерти, а не людзи»,
Он полюбовался на едкий стиль
И депешный язык своих резолюций:
Вежливость, властность, усмешка всерьез —
В малом многое. В точке всё-с.

21 — 24.

25.

Следующим номером шел бюллетень:
«Лондон. Осенний аукцион. Утро:
Усиленный спрос на куницу. День:
Оживление сделки с белкою. Кстати
Снижение спроса на меха имитаций
Кролика, выхухоля, выдры и нутрии.
Причины неизвестны, но полагать надо
В связи с уходом из конвенции Канады».

26.

«Вена. Слабость меховой индустрии
И обанкротившийся концерн
Текущий момент вполне обострили.
Держатели партии русских лис,

По слухам, с английскими бракерами снеслись,
Надеясь выступить в самом конце.
Здесь не сомневаются, при таком темпе
Лисицу скупят Хут или Лэмпсон».

27.

«Лейпциг. Съезжаются от Мальмэ и до Ниццы.
Ярмарка работает в восемь касс.
Крупное количество русской куницы,
Представленное Чехией, грозило депрессией,
Но, как сообщается французскою прессой,
Правительство подкуплено — и новый указ
(Неопубликованный) явно клонится
К полной невозможности ввоза куницы».

28.

Кроль засмеялся (ему стало жутко):
Все они бьют в один барабан.
Может быть, вправду пушные ангелы
Только и витают над Америкой и Англией?
Но в комнате мягко дышала Сашутка,
Но лики якута как в кино летели —
И он написал поперек бюллетеня:
«Яри гатунь — яри бань».

29.

Затем распечатал письмо из Парижа:
«Модели Конфексион-дэ-Мод
Обещают сделать текущий год
Голубым песцом, муфлоном и белкой.
Популярен испанский воротник «гаррот»,
Особенно же с гарнитуром отделки
И пуговицею. К зиме поближе
Гвоздем сезона явится крот.

30.

Имеется шанс у суслика. Он
Появился в салоне мадам дэ-Гаскон;
Прочное будущее также у каракуля».
Письмо перекосила небрежность каракулей:
«Ладно, ладно, детки,
Дайте только срок —
Будет вам и белка,
Будет и свисток».

31.

Полуграмотный зав, эпатируемый докладами,
Где вместо «юг» обязательно «зюд»,
Кроль ощущал раздражающий зуд
В противовес всей этой «науке»
Блеснуть и своим багажом — дескать, ну-ка
И мы расфуфырим индюшечью спесь —
Недаром установлен высокий оклад ему:
Он и неученый повыше, чем спец.

32.

Но с течением времени эта черта,
Жиреющая в масленной лести подчиненных,
Оплыла̀ за кругѝ спортивных стрел,
И, величавый как Карла, чиновник
Говорил о себе: «Я вчера начертал».
О Гурове думал: «Мой лизоблюдик».
А на резолюции свои смотрел,
Как на анекдоты о великих людях.

33.

Он стал язычником слова *«отдел»*.
На его гербе был бы номер на штампе.
В казенном уюте зеленой лампы
Он позабыл о фригийской заре.
А кстати — в белесом утре созрев,
На ветке березы каркала осень,
И, с величественным ликом усопшего в бозе,
Кроль закрыл свою папку дел

34.

Но осталось маленькое письмишко
На четвертушке почтового типа,
И Кроль, почесывая ногу ногой,
Его шевельнул, от зевоты всхлипнув.
Какой-то Саввич; кто он такой?
Ах, да, как его — этот мальчишка,
Кажется, агент подотдела товаров,
Которого как-то устроил Полуяров.

35 — 36.

Агент писал: «Члену правления
вузовца Саввича

Заявление.

Будучи студентом 2-го МГУ,
Где мною пройден курс зоографии,
Но занимая должность статистика,
В которой при всем желаньи могу
В лучшем случае просто и чистенько
Лить цифырь и линовать графы, —
Прошу либо вовсе меня устранить,
Либо дать возможность работы активной,
Отнюдь не усиливающей актив, но
Достойной хотя бы тысяч страниц
И сотен рублей моей общей учебы,
Чтобы я мог возвратить их и чтобы
Выбрать в жизни личный удел.
П. Саввич,
Пушной отдел».

37.

Кроль взорвался: «Приказ № 1-й.
Мною замечено несколько лиц,
Которые усвоили себе нахальство
Сноситься с правленьем помимо начальства.
Предупреждаю, что подобные люди,
Которые стремятся, чтоб ток был прерван,
Будут увольняться без дальных прелюдий.
Пролетариат еще имеет хлыст».

38.

Наконец, блеснувши окнами, трест
Потянулся и встал. Из зеркального шкапа
Ища себя в оккулярных мирах,
Гляделся комнатный полумрак,
Где пахло телом. Будильник капал
И был подозрителен пальцев треск
И желчные листья, полные яда,
Нагло летели в окно без доклада.

39 — 42.

43.

В столовой за кофе, потерев бок
И вяло подумав, что Саша красавица,
Кроль рассказал о некоем Саввиче.
Жена с горностаем на матине,
Держа на коленях кустарный грибок,
Штопала молча дыру на пятке,
И шелковинка в квадратном порядке
Ложилась на черное синью теней.

44.

«Я думаю, — сказала она, — что студент
По-своему прав». «Скажжите, пожалуйста:
Одна слеза про несчастный удел,
И ты готова растаять от жалости.
Что̀ там страна ей, что̀ казна ей?
Но я человек государственный. Вот.
Самый лучший служащий тот,
О котором директор ничего не знает».

45.

Саша спросила: «А как член правленья?».
Кроль растерялся и сразу притих.
(Он забыл просмотреть резолюцию.) С ленью,
Приличной движеньям, убежденным в успехе,
Саша пошла, изгибаясь в мехе,
И, возвратившись, сказала: Хих.
Он пишет: «Прошу объяснить. Неужели
Вузом у нас затыкают щели?».

46.

Главы IV и V.

Глава VI.

«... Здравствуй, племя
Младое, незнакомое».
(Пушкин).

1.

В Пушторге только что вымыт пол;
Вьюшки начищены до тульской яри.

Туннель коридора в системе табличек:
«Член правленья», «Директор», «Пом.».
В огромных окнах серое обличье
Конструкций, смягченных туманом и гарью;
Шведские бюро с опущенными шторами
В лакированном спокойствии выжидают шторма.

2.

Первым является Саввич. Раскрыв
Вокзальное окно в диаграммную клетку,
Он энергично вращает гантели,
Вдыхая туман, стекающий с крыш.
Ведь комната его-то: с кармашек жилетки —
Двенадцать аршин. А в этом отеле,
Покудова нет проклятущей Настеньки,
Самое во двинуть гимнастикой.

3.

Затем, оседлав пиджачишком стул,
И вытянув истинно-вузовские ноги,
Пашка усаживается за «Биологию»,
Поскольку имеются полчаса.
Но в чернильнице жужжала запоздалая оса,
Ликвидация ее заняла две минуты,
Да клякса в сопровождении «ну-ты»
Съела промокашек целую версту.

4.

Северьян Аккуратич, сердитый как барсук,
Несется, держа зонт и галоши.
Кашель его поминутен и сух,
Нервный кашель. XX-го века.
Бюро открывается. И первая веха
Плохого настроенья, становящегося плоше;
«Зачем вы открыли это окно?
Либо регламент, либо Махно».

5.

Саввич отвечает: «Любезный папаша.
Клянусь Главпрофобром, это дело не ваше.
Будь я служащим экспортного отдела,
Тогда согласен — ваше это дело.
Но таки-каки у меня зав,
Вы сами понимаете, что дело хав-ляе».
Причина отлития подобной острюли
В том, что Кондратьич глух, как кастрюля.

6—8.

9.

Олечка Петровна ловкой походкой
В астрах прошла к своему пулемету
(Она впервые вводила моду
Преподносить завам цветы),
Небрежно болтая с Пашкой на-ты
И наскоро у зеркальца перекрестясь пуховкой.
Прошла в кабинет — и стебель стекал
В сельтерской дрожи полный стакан.

10.

Как Андромаха своему Гектору,
Преданная очередному директору,
Олечка считала, что ее Кроль —
Один из лучших людей России.
И астры, убранные красиво,
Каждое утро его как герольд,
Воспоминаясь казарменным трубам,
Приветствовали серебристым раструбом.

11.

Тогда-то с хрипящим хохотом сов
С колонн слетают 10 часов.
И, яростно споря о земской ренте,
Шумно влетают Поповский и Блох.
«Поповский, ваш проект определенно плох,
Так как на XIV губконференции...».
Но Поповский покрывает канцелярский зал:
«Причем тут губ, если Ленин сказал».

12.

Держащие друг друга за пуговицу с мясом,
Причем у Блоха дирижировала кисть,
Оба беспартийца преданы массам,
Но первый в оппозиции, а второй цекист.
И хоть оба добросовестно просматривали «Правду»,
Но каждый усматривал особую правду.
(С тех же колонн, с раскосых усов
Слетают одиннадцать медных часов.)

13.

Казаров с гипнотическим выраженьем глаз
Движется на Гурова, вплотную как лунатик:
«Играю наизусть. Белые». «Нате».
«e_2 e_4». «e_7 e_5».
«Конь   ». «Опять?
Испанская партия, товарищ Капабласкер».
«Играйте, играйте — теперь без поблажки
На одиннадцатом ходе покажу вам класс».

14.

Огромное окно еще открыто настежь.
И леший туман с седой бородой
На никкеле с кипяченой бурдой
Оседает мутной морошкой.
Тогда появляется уборщица Настя
И, верхним чутьем угадав беду,
Разражается: «Бесстыжий. Да он ето нарошно,
Да я до господина дилехтора пойду».

15.

«Господа, почтеннейшая, — в Черном море
Хав-ляв, как говорится — за что боролись?»
Однако Аккуратич объяснил, что пролысь
У белки бывает только весной,
Но Поповский не принял блошиных основ —
Он гремел своим шопотом, как член Каморрры,
Так что Казаров с шахом в ушах
Вполне согласился на «вечный шах».

16 — 18.

19.

В секции суслика все за работой:
Бунты разбирает комсомолец Васек;
Саввич, оставив свою «Биологию»,
Страстно подсчитывает сборы и налоги;
Блох, его единственный помощник «за все»,
Сунув ноги в женины боты,
Надел на лампу бумажный капор —
И щелкают кости как danse macabre.

20.

«Саввич к докладу». Брезгливый Гуров
Величественно подобрал окурок
И бросил в урну (одна из обуз).
В кабинете Кроль корректирует депеши.
Белый медведь, календарь, бюст.
Подпись осушает с миною тупейшей
Маслов, который, создав уклад,
Почтительнейше прервал доклад.

21.

Саввич, держа свою папку у сердца,
Бледнея, садится на стул у дверей.
Он не уверен, что Кроль не рассердится —
Белый медведь, бюст, календарь —
Если он сядет хотя бы в кресло.
Но Картышев рявкнул гневно и весело,
От бюрократической тиши зверея:
«Каково поживашь, крысиной царь?».

22.

Все равнодушно оглянулись на Саввича.
Тишина. Размахнувшись в последний росчерк,
Кроль изумился: «Вот это мне нравится:
Я себе пишу, а остальные молчат.
Продолжайте, прошу вас. Короче и проще».
Маслов откашлялся: «По поводу волчат...».
Картышев, накручивая из усищ усики,
Ждал содоклада завсекцией суслика.

23.

И Пашка начал. Он говорил о том,
Что суслик — это политическая проблема
(Кроль иронически подмигнул Маслову:
Приходится, мол, ему верить нá-слово),
Что суслики — это мамайское племя,
Заполонившее русскую землю
(Кроль искривился ноздрей и ртом:
Но это же дело самого Наркомзема).

24.

Но Пашка указал, что в запрошлом году
Наркомзем признал, что необходимо,

Чтоб мужики несли при налоге
По пяти сусликов с дыма
(Кроль удивился: что за болтология?),
Но приказом не разрыта ни единая норка.
Но теперь, когда в Нью-Йорке суслик в ходу.
(Кроль поморщился от слова «в Нью-Йорке».

25.

«Ряд волшебных изменений милого лица»
Не укрылся от масловских масляных гляделок.
Он — не против крысиного дела —
Сперва, конечно, надо б узнать;
Но Кроль недоволен — и двуногая лиса
Сунула записку под звоночный клавиш:
«В огороде бузина,
А на докладе Саввич».)

26.

Теперь вопрос по-новому встал:
Вот тут-то и вехи мужика и рабочего —
И очень хорошо, что коммерческая почва,
И вывоз покажет, что опыт здоровый:
Вы знаете, что три копейки с хвоста
Многим крестьянам дадут корову.
Суслик покроет поволжский сплав.
(И Пашка чуть-чуть не сказал — «Хав-ляв».)

27.

Картышев радостно подумал: «Серёж,
А ведь парень с вентиляцией». И сказал: «Дело.
Нааш мужичок из такого тела:
Задаром блохи на себе не убьет».
Гуров шепнул: «Вы сказали — се рожь».
Маслов усмехнулся: «Сплошное вали, река...»
И подмигнул — дескать, вот дубье.
Кроль лаконически встал: «Это лирика.

28.

Вехи, проблемы, проблемы, вехи...
А мне нужны люди, а не человеки.
Люди, понимаете? Коммерческий народ.
(Он нервно дернул ноздрю и рот.)

Подождем же, покуда вы станете старше,
А 20 лет есть 20 лет».
И тень, как личная секретарша,
Взялась за одно из дверных колец!

29.

Саввич поплелся, слегка волочась.
Кроль, энергично волоса отбросив,
Прошел на доклад к товарищу Мэку,
В так называемую «священную Мэкку».
Мэк приезжал ровно на час
Для подписи в чрезвычайном акте,
А также для санкции общих вопросов,
Носящих принципиальный характер.

30.

Член бюджетной комиссии ВЦИКа,
Член коллегии Главконцескома,
Зам редактора «Вестник Истпарта»,
Он любил играть, не скрывая карт,
И умел говорить аппетитно и тихо,
Но так, точно вы с ним старинный знакомый,
Будь то Дуняша иль целый съезд,
Нно — если нужно — съест.

31.

На нем была с петухами рубаха
Из белого шелкового полотна,
Синий пиджак, где звенела одна,
Точно струна из «Арии» Баха,
Пуговица. Добродушный лоб
Зарывался трясиной под детский подпух.
Таков был «Он», это «Тсс», эта «Подпись.
Величественная как Обь».

32.

Лев Семеньч, невесомый как пар,
Но, чувствуя в ухе нервную трель,
Не сопровождаемый более тенью,
Вошел и уселся: «Мое почтенье.
Один армянин пришел в зоопарк.
Видит жираффа. Смотрел, смотрел,

Думал, думал, наконец — дошел:
«Нэ можжит бить», плюнул и ушел».

33.

Бывают люди. Как сеянный душ
Льют вам на темя теплую водйчку,
И точно благородное дерево дичку̀,
Будь вы трижды прозорливы и высо̀ки,
Все же выструите кровяные соки
В жилки этих легких душ,
Чтобы, устав от боевых великолепий,
Забыться в качалке этого лепета.

34.

А Христиан Иваныч, как человек тучный,
Держался рецепта: сода и смеяться.
И Лев Семеныч в роли паяца
Был просто необходим старику.
«Однако, голуба, мне нужно в РКУ.
Давай начинать». И, прекословить отученный,
Кроль языкнул зубочистку за-щеку
С изящной развязностью бывшего приказчика.

35.

Прикрывши веки стариковской рукой,
В готических буквах желтоватого склероза,
Христиан Иваныч, слушая Кроля,
Чертил то «белка», «белка», то «кролик».
Дело цвело, как ширазская роза,
Расло как галоша реклам «Скороход» —
В Кроации, в Галиции, в *Слова*кии, во Вракии
Лисицы, куницы, выхухоль, каракули.

36.

«Прости, друг Семен, я, конечно, педант.
Я в шубе на точно подобранных лирах,
Как обо мне утверждает Радек,
Увижу лирический беспорядок.
И Радек прав: я, конечно, не лирик,
Хотя и он сам, тово бишь, не Дант.
Но уж прости любопытство Мэка:
«Как ты насчет дешового меха?

37.

Я мало смыслю в этом зверье,
Тебе, пушнику, тово бишь, яснее;
Но, как я вижу, мы дьявольски люто
Прем за границу пушную валюту.
Оно, пожалуй, конечно, не вред,
Но стоит ли нам хватать из-под снега,
Тово бишь, одни ювелирные сорта,
А серые массы пускать мимо рта?»

38.

Истина в цилиндре, в пифагоровых штанах
Вошла, опираясь на линию АВ.
Мэк продолжал: «Будь я Кролем, я бы...».
И Кроль, подергав ноздрей и ртом,
Подойдя к рампе, запел о том,
Что этот вопрос обсуждался на-днях,
Что он — политическая проблема,
Что суслик буквально же майское племя.

39.

Сейчас, мол, вопрос уже явственно встал:
За нахожденьем коммерческой почвы.
Теперь безо всяких оттяжек и прочего
Вывезем их ради «вящших слав»;
Вы знаете: 2 лишь копейки с хвоста
Дадут мужичкам запастись коровенкой,
А, может быть, даже и хаткою. Вон как.
(О, если бы Кроль слыхал про хав-ляв.)

40 — 46.

47.

Товарищ Каган был членом правленья:
Тряпичный пиджак на снежной сорочке.
Входит Картышев. «Аа, Сережка!
Что это ты глядишь сентябрем?»
«Нервы шалят». «Ого, у тебя-то?»
«Тут не до шуток: наше полено
Двинуло Мэку такого ультимата,
Что хоть сейчас принимай бром».

48.

«Именно?» «Онисим Кондратича убрать,
А его дирехтором». «Вот как? Ага. Ну?»
«И тому прочье. Да ведь он Кагану
Прежде всех заявить бы должон».
«Дело не в формальностях». «То-то, что у форме:
Ведь Северьяну Онисим брат.
Более больше того: уж он
С этим выходит как с лучшими форами».

49.

«Ну?» «Вот и ну. С соблюдением правил
Наркомтруда одному, мол, уйтить.
Понял? А он, дескать, дело направил,
Вызвал доверие северян,
И стало быть только нужон Северьян,
А уж Онисим, конешно, тожа
Работник што надо — да, сучья сыть,
Они вишь сработаться досе не можут».

50.

Каган, ни слова не говоря,
Хотя во рту окислялась пуля,
Разбрызгал подпись с чьими-то в ряд,
Вызвал секретаря и вышел.
Мэк удивился: «А я к вам с буллой:
Хочу вот Кроля в директора.
Оказывается...» «Да-да, я слышал,
Но это, простите меня, на-ура:

51.

Онисим Кондратич в меховом мире
Личность легендарная, авторитет.
А Кроль? Ведь это партийный повеса:
За два года десяток профессий».
Мэк изумленно застрял в бороде:
«Прежде всего мы нуждаемся в мире —
Они не дружат, партиец и «без»,
А мы-то, надеюсь, глядим не с небес?

52.

А что до легенд, то я реалист:
Гарц [1]) с легендами Гете и нации
Имеет в высь — 217,
А Вульворт-Бильдинг [2]), всеобщий агент,
310 без всяких легенд.
И наконец — да где ж это видано?
Нет, дорогой, вам просто завидно —
Возьмите перо, и вот вам лист».

53.

И Саввич гадал: «То ли я глуп,
Глупее самого сивого мерина,
То ли, гипотезу эту лелея,
Мне испытать судьбу Галлилея?».
И он зашагал в студенческий клуб
Прямолинейно и равномерно,
И в секции бокса — в бога и в душу
Бил набитую тырсой тушу.

(*Окончание следует*).

---

[1]) Гарц — гора в Германии, на которой по «Фаусту» происходила вальпургиева ночь.

[2]) Вульворт-Бильдинг — самый высокий небоскреб Нью-Йорка: 52 этажа.

Воспоминания о М. Горьком.

Скиталец.

I. Горький в деревне.

Лето 1900 г. Горький прожил в Мануйловске Харьковской губ. около местечка Голтвы, еще до этого описанной им в красочном рассказе «Ярмарка в Голтве»: очевидно, он уже бывал в этих местах и теперь вздумал забраться туда на лето.

С перепиской у нас вышла какая-то путаница, и я долго не знал, куда он уехал из Нижнего. Решив оставить газету и написать, наконец, задуманную повесть, уехал в Москву, где маленький книгоиздатель Курнин, узнав, что я знаком с Горьким, обратился ко мне с просьбой с'ездить к нему с поручением от издательства, предлагая мне денег на дорогу.

Я с величайшим удовольствием принял это предложение и в начале августа приехал в Мануйловку. Ехал от какой-то станции 25 верст на лошадях и всю дорогу беспокоился: а вдруг не застану там Горького? Но едва я под'ехал к маленькому малороссийскому домику в каком-то старом помещичьем парке, — как он уже выбежал ко мне навстречу и без лишних слов заключил меня в дружеские об'ятия.

Я начал было говорить, что приехал с деловым поручением, но он и слушать не стал:

— К чорту! ерунда! никуда не пущу! садитесь и пишите рассказ!

Кроме членов его семьи, гостила у него еще какая-то толстая, пожилая женщина идейного облика, в очках, которую все звали «тетушкой», и ежедневно заходил приятель-сосед, химик из Киева, тоже демократической наружности.

Жили мы в сущности в имении какой-то престарелой и разоряющейся княгини, которая здесь же доживала век и вынуждена была сдавать несколько домиков усадьбы «под дачников», землю продала крестьянам, а сама помещалась в одном из маленьких домиков около заколоченного княжеского дома. Веяло известной картиной «Все в прошлом». Старую княгиню никто никогда не видел: она никого не принимала. На наших глазах был уголок помещичьего строя, который умирал сам собою, чуть дыша перед смертью: кругом уже складывалась новая жизнь: хохлацкое село рядом с

усадьбой жило зажиточной, крепкой мужичьей жизнью, а в величавом старом княжеском парке завелись дачники, городская интеллигенция, писатели, химики, люди с идейными демократическими наружностями, с книжками и книжными разговорами.

Домик, в котором жили мы, был уютный, обмазанный глиной и выбеленный снаружи, очень искусно крытый прямою и длинною, словно причесанною, ржаною соломой, комнат в пять, с крытою опрятною терраской, окруженной деревьями и подсолнушками.

Мне отвели комнатку с окном в сад, смежную с кабинетом хозяина.

Когда по вечерам мы оба сидели каждый в своей комнате и писали, нас раз'единяла только притворенная дверь.

Горький работал «как сапожник», с ремешком вокруг головы, чтобы не свешивались на бумагу длинные, «монашеские» волосы.

Работал усидчиво, часов до двух ночи, и когда я видел, что в его комнате еще светится огонь, то, несмотря на утомление, тянулся за ним и не оставлял своей работы раньше, чем он не гасил своей лампы: таким образом, мы писали как бы с некоторым соревнованием.

В девять часов утра, когда я еще только просыпался в постели, дверь из кабинета Горького слегка приотворялась, и в нее просовывалась его длинноволосая, косматая голова с юмористически нахмуренной физиономией:

— Вставать! — рычал он на меня басом.

Я вставал, одевался и немедленно выходил в столовую к чаю. Там уже все были в сборе: Катерина Павловна, мать ее — Марья Александровна, маленький Максимка с бонной и толстая «Тетушка». Алексей Максимович председательствовал за столом и уже что-то рассказывал, по своему обычаю, из своих неисчерпаемых воспоминаний и необычайных приключений, будто бы происходивших с ним когда-то.

Чего только ни случалось с ним: он и тонул, и в огне сгорал, но в конце повествования всегда из воды сух выходил, и из пепла, как феникс, возрождался для новых приключений.

Однажды, по его словам, он был убит в каком-то селе мужиками в качестве бродяги за оскорбление попа, руководившего публичным наказанием женщины, провинившейся перед мужем, был, как мертвое тело, выброшен в овраг, но через три дня воскрес и пошел дальше, как ни в чем не бывало. В другой раз, когда путешествовал с философом пешком по Кавказу, их обоих придавила внезапно упавшая гора, но так счастливо, что головы и руки у них остались на свободе; и так они лежали заживо похороненные, спокойно ожидая, когда их откопают. Все это в другом изложении могло бы показаться насмешкой над слушателями или продолжением увеселительных рассказов барона Мюнхгаузена, но Горький рассказывал с таким художественным мастерством, с таким обилием описаний и всевозможных подробностей, что получалось впечатление полной правдоподобности. Мне кажется, что, занимая нас рассказами, он сознательно упражнял свою способность к фантазированию. Однажды пропел нам оперетку в одном действии, будто бы вычитанную им из какого-то журнала и поста-

вленную в каком-то театре. Впоследствии оказалось, что никакой такой оперетки никто никогда не писал и даже сам рассказчик не мог вспомнить ее содержания.

Горький от природы музыкален и часто, не обладая хорошим голосом, все-таки хорошо пел интересные песни различных национальностей, рассказывал восточные легенды, по всей вероятности действительно слышанные им во время скитаний по Кавказу, Крыму и Прикаспийскому краю, но, конечно, в собственной обработке, может быть, даже, что многое было им вычитано из мало известных книг.

После чаю мы оба удалялись в наши комнаты и работали до обеда. За обедом Горький острил, критикуя кушанья, изощряясь в сравнениях, большей частью метких, образных и забавных: настроение у него было неизменно веселое и бодрое.

После обеда приходил химик — добродушно-молчаливый человек в ситцевой рубашке с пояском, в высоких сапогах, в очках, с желто-рыжей небольшой бородкой.

Горький говорил о нем, как о большой силе в научном мире. Фамилию его я теперь не помню. Через год он умер в Киеве, заразившись чем-то во время химических опытов.

По праздникам приходили играть молодые мужики из села — друзья Горького, — и тогда от здоровенных ударов ломались палки, а куски дерева, из которых строился «городок», летели в небо. Горький серьезно завидовал им, а за меня огорчался, что удары мои большею частью не удались.

В этой атлетической игре проходило время до вечернего чая.

За версту от нашего дома протекала река Псел. Туда перед вечером я отправлялся купаться. Иногда присоединялся и Горький, но я предпочтительно ходил один, обдумывая в это время мою работу и любуясь красотой окружающей природы. Путь к реке был через огромный княжеский парк и через обширный зеленый луг, за которым бежал чрезвычайно быстрый Псел с твердым песчаным дном, чистый, как слеза, водой и гористым берегом на другой стороне. По дороге к селу, которая вела через луг, иногда скрипя, медленно проезжала арба, запряженная двумя волами с идущим рядом тяжеловесным хохлом в широких шароварах и в холщевой рубашке. Все это меня занимало, и я просиживал до темной ночи на берегу Псела, созерцая новый для меня уголок Украины и думая бог весть о чем.

Работа у меня двигалась быстро, повесть была выношена, продумана, отдельными пятнами написана прежде, — оставалось все это только переработать.

Горький иногда заглядывал ко мне и спрашивал:

— Ну, как идет работа? Боюсь я, как бы не пришлось вам ее потом переделывать, возиться? Вы картинами пишите; картинами — выйдет!

Однако я не показывал ему рукопись, пока не кончил.

Через десять дней или скорее ночей напряженного труда, я принес Горькому оконченную повесть.

Он запер дверь своей комнаты и, оставшись вдвоем со мной, начал читать вслух. Сначала попутно чтению подчеркивал карандашем неудачные выражения, приговаривая: «Это к чорту!» или «Это лишнее», но потом, по мере увлечения чтением, подчеркивал все меньше и почти перестал приговаривать. Наконец, стал читать уже с явным пафосом: повесть увлекла его.

Окончив чтение, он захлопнул тетрадку и, протягивая мне руку, сказал:

— Ну, вас можно поздравить: вы написали удачную вещь!

Он торжественно об'явил об этом всем. Меня решили не отпускать, а всем вместе поехать в Нижний, где я буду отделывать повесть для печати, а потом поселюсь в Нижнем, чтобы писать только в журналах. С этого времени Горький ко мне воспылал такой пламенной дружбой, с такой чрезмерной идеализацией моей особы, что я серьезно начал опасаться недолговременности столь пылкого чувства.

Ему казалось, что он «призвал» меня к литературе, «поймал» в море жизни и сразу из низов провинции вытащил наверх. Его ласка, пылкая дружба и похвалы моему произведению значительно подняли мой дух, ободрили, воодушевили, вызвали к жизни все мои силы. В этом было главное, чем он поддержал меня при первых моих шагах в литературе. Благодаря ему, повесть моя была направлена в лучший тогдашний журнал.

Горький не ко мне одному так относился: он вообще искал тогда молодых писателей с целью набрать из их числа свою собственную «литературную дружину».

Однажды он снял с полки маленькую переплетенную книжечку, подал мне и сказал:

— А вот еще один начинающий! Прочтите-ка, а потом скажите мне ваше мнение!

Я развернул книжку: там были вырезанные из газет рассказы, тщательно и аккуратно наклеенные на бумагу. Все это было сделано с любовью, переплетено в хороший переплет: чувствовалась нежность автора к этой маленькой книжечке и заветная мечта выпустить ее когда-нибудь в свет. На первом плане был рассказ «Большой шлем», а на корешке книжечки оттиснуто золотыми буквами: «Сочинения Леонида Андреева».

Я прочел эту книжечку, и у меня осталось впечатление, что это — не начинающий, а совсем готовый беллетрист, опытный мастер слова, несомненный талант. Так я и сказал Горькому.

— Это не только талант, это талантище! — подтвердил Горький: — и вот — работает в московском «Курьере», пишет фельетоны, получает гроши, кормит большую семью и, говорят, пьет! Вы с ним познакомьтесь в Москве: интересный парень — молодой, красивый такой; вот вам и товарищ будет!

Так удачно умел Горький находить молодые таланты, да это при желании и нетрудно было: талантливые авторы, как грибы после дождя, в совершенно готовом виде выпирала отовсюду: уж такое наступило время.

II. Горький в Финляндии.

Зимой 1905/06 г. Горький уехал из Петербурга в Финляндию и по телеграфу вызвал меня в Гельсингфорс для совместного выступления в большом русско-финском вечере.

В тот же день я выехал в Финляндию.

У финнов есть хорошие зодчие, и есть простая, крепкая любовь к родной Финляндии. Гельсингфорс строили и украшивали люди истинно-талантливые, да еще влюбленные в свою маленькую, каменистую и бедную страну.

На стройных, чистеньких улицах Гельсингфорса, этого симпатичнейшего уголка Северной Европы, часто встречаются дома из родного финнам серого камня, представляющие сплошную старую сказку: они сложены из художественно-необделанных, циклопических глыб, а из-за каждого камня, сросшись с ним, выглядывает лукавая рожица маленького финского чортика, гнома, домашнего доброго духа, приветливо подмигивающего, с немым хихиканьем дразнящая острым язычком. Они как бы гнездятся между камней, одухотворяют их, вышли из них же, как и сами финны. И на умышленно неотесанных каменных воротах тоже сидят на корточках смешливые химеры, смотрят друг на дружку, высунув языки, строят дурацкие рожи и, неслышно хихикая, показывают пальцем одна на другую...

Когда в снежное и влажное зимнее утро я ехал на быстрой финской лошадке с Гельсингфорсского вокзала и глазел по сторонам, мне казалось, что от этого опрятного и европейски стройного города веяло финской сдержанностью, каменной твердостью и внутренней силой.

Встречавшиеся лица финнов, некрасивые, скуластые, неподвижные и серые, словно высеченные из одного и того же финского крепкого камня — говорили об устойчивости людей этой страны.

Я вылез из саней у массивного под'езда первоклассной гостиницы, где жил Горький. Номер состоял из двух больших комнат, почему-то заставленных множеством огромных букетов свежих, красных роз; вся комната, в которую я вошел, была в цветах.

За круглым столом сидели Горький, артистка Художественного театра М. Ф. Андреева, финский художник Аксель Галлен и начальник «Красной гвардии», как называлась тогда в Финляндии народная милиция.

Галлен был элегантный, загорелый брюнет лет тридцати, высокий, плечистый, с небольшой черной бородой, красивый какой-то особенной, мужественной красотой — горного охотника: таким я представлял себе гамсуновского Глана.

Начальник Красной гвардии — пожилой человек с большими, свешенными вниз полуседыми усами и лысеющим лбом — напоминал лицом портрет Тараса Шевченко, держался прямо и сухо, с военной выправкой, говорил по-русски чисто, коротко и сжато. Через плечо у него была надета широкая красная перевязь, напоминавшая генеральскую ленту.

— А вот и главный артист приехал! знакомьтесь! — рекомендовал меня Горький.

— Главный артист — это вы! — возразила Мария Федоровна.

— Нет! — отвечал он с комическим вздохом: — я плохой чтец!

— Но, ведь, в жизни вы прекрасный рассказчик! — настаивала Андреева: — в особенности в интимном разговоре!

— Э, мало ли что! — шутил Горький: — в интимном-то я неотразим: например, в разговоре с жандармами!

— Уж вы скажете!

— Ей-богу! Жандармы на допросе в конце концов любят меня: взглянешь вот так, улыбнешься вот эдак и — действует!

Горький кокетливо показал, как он взглядывает и улыбается перед жандармами.

Все засмеялись.

Галлен не говорил и не понимал ни слова по-русски, но ему все переводила Андреева на французский язык, которым он владел. Она предупредила меня, что Галлен — европейски известный художник и национальная финская знаменитость. Принесла мне снимки его картин, и я занялся рассматриванием Прислушиваясь к общему разговору, я с наслаждением любовался снимками.

Финляндия владела сердцем Галлена, Финляндия была его вдохновением, любовью, грезой, страстью и безумием.

Он воспел в могучих красках героическую «Калевалу» — эти северные волшебные сказки, стихийные, как зимняя вьюга — финский богатырский эпос. Пели краски о современной, живой Финляндии с ее седыми скалами и тихими озерами, с девственными хвойными лесами и угрюмым северным морем: серое, свинцовое финское море с набегающими на плоский берег мелкими волнами, и тут же прибитое к берегу мертвое дерево, без коры, насквозь просоленное морем, крепкое, как камень. Ах, это все символы Финляндии, горько и страстно любимой художником, ненаглядной и обожаемой им сказочной страны «Калевалы»!

Горький заглянул через мое плечо и с глубоким вздохом сказал:

— Как они любят свою страну! Ах, если бы русские так любили Россию!

— Переведите, пожалуйста, Акселю, — обратился он к Марье Федоровне, — что я никогда не забуду Финляндии и ее прекрасного народа, ее художников, ее патриотов и счастливейших для меня дней, пережитых в Финляндии. Переведите также, что я никогда не забуду его, Акселя, прекрасного художника, пламенно любящего свою страну и ее свободу! Скажите ему, что если когда-нибудь я буду искать угла в России, где бы поселиться на остаток моей жизни, — то это будет Финляндия!

Когда Андреева перевела сказанное, Галлен весь расплылся в радостную, детскую, смущенно-жалкую улыбку и протянул ему большую, замечательно красивую, мужественную руку.

Они обменялись крепким рукопожатием.

— Сегодня мы с вами выступаем на грандиозном русско-финском вечере! — сказал, обращаясь ко мне, Горький: — а завтра я уезжаю за границу... с вами теперь мы, вероятно, не скоро увидимся!..

— Он эмиприрует! — пояснила его слова Марья Федоровна.

— Не по этому ли случаю у вас здесь столько цветов? — спросил я.

Никто не успел мне ответить. Где-то близко на улице внезапно грянул духовой трубный оркестр.

Все мы кинулись к окнам.

Улица была полна празднично разодетой толпой. Недалеко от гостиницы виднелся среди маленького сквера небольшой бронзовый памятник, теперь весь сверху донизу убранный цветами: около него то-и-дело раздавались торжественные звуки оркестра.

— Что это значит? — спросил я.

— Сегодня финский праздник, — об'яснил мне Горький: — чествование памяти ихнего народного поэта Рутенберга: он для них все равно, что Пушкин — для нас! Вот как умеют чтить своих поэтов финны!

— Финская литература, в сущности, очень бедна, вследствие бедности языка! — продолжал Горький. — Вот художники у них прекрасные, архитектура — тоже! Но позвольте... — перебил он себя: — они направляются сюда?

Оркестр, сопровождаемый все возрастающей толпой, сверкая медными трубами и сотрясая воздух торжественными волнами звуков, приближался к под'езду гостиницы. Толпа с обнаженными головами запрудила улицу. Великолепный оркестр грянул под нашими окнами. Музыканты были в широких красных лентах через плечо.

Едва умолк оркестр, как запел густой и стройный хор.

— Это вас, вас чествуют! — взволнованно говорила Горькому Марья Федоровна: — выходите на балкон, скажите им: «Да здравствует Финляндия!» — по-фински.

— Но я не умею говорить по-фински! — растерянно возразил Горький.

— Ах, боже мой! Это же можно написать! Аксель!.. — она что-то сказала Галлену по-французски и схватила со стола бумагу.

Аксель продиктовал ей несколько финских слов. Бумажку дали в руки Горькому.

Пение умолкло. Тотчас же с другой стороны загудел новый хор. Потом опять заревели трубы. Толпа прибывала, и уже не видно было ей конца.

С трудом открыли дверь на балкон, забитую по-зимнему.

Горький появился на балконе. Оркестр умолк.

Прерывающимся голосом, плохо выговаривая, Горький крикнул три непонятных финских слова, означавших: «Да здравствует Финляндия!»

Воздух дрогнул от восторженных криков, вырвавшихся из нескольких тысяч грудей. Люди с обнаженными головами махали шляпами и шапками, что-то крича. Угрюмый финский народ радостно улыбался и бурно приветствовал «большого русского поэта».

Горький повторил свое восклицание, и опять вызвал гул криков толпы.

Было что-то трогательное во всем этом внезапном происшествии, в таком выражении любви многотысячной толпы к одному человеку из враждебной страны, где теперь была проиграна революция.

Конечно, эти овации происходили в честь Горького не как писателя, это была демонстрация, в которой столица Финляндии почти поголовно приветствовала Горького, как представителя разбитой русской революции: надежды Финляндии падали вместе с надеждами русской демократии.

Горький вбежал в комнату с мокрым от слез лицом.

На улице гремел оркестр, чередуясь с хорами певцов. Толпа не расходилась и все прибывала: крыши соседних домов чернели от зрителей.

Зимний северный день угасал.

Смеркалось.

Начальник Красной гвардии вдруг торжественно встал перед Алексеем Максимовичем и, обнаружив военную выправку, произнес официальным голосом:

— А теперь пожалуйте на спектакль!.. экипаж подан!..

Мы все оделись и гурьбой спустились вниз.

На улице, с обеих сторон крыльца, двумя живыми стенами стояла тесная толпа, оставляя для нас только узкую дорожку, застланную ковром, которая вела к санкам, убранным гирляндами свежих, красных роз. Но сани были без лошадей: за оглобли держалась толпа.

Кругом стояли тысячи людей с обнаженными головами, девушки бросали на снежную дорогу свежие, сочные розы, красные как кровь.

— Я не могу! — весь в слезах, говорил окружающим Горький, — я пойду пешком! Не хочу, чтобы меня везли люди!

Тогда, слегка раздвинув других, встал перед ним начальник Красной гвардии, серьезный, с седыми усами, в широкой красной ленте через плечо, выпрямился по-военному и сказал опять официально:

— Народ этого требует от вас!

Горький подчинился и сел в сани с открытой головой.

Тронулся тихий, торжественный поезд: впереди во всю ширину улицы густо двигалась сплошная, медленная, почти печальная толпа; сзади саней, везомых людьми, шли десятки тысяч людей с открытыми головами, не было видно конца толпе ни спереди, ни сзади: в демонстрации участвовало не меньше сорока тысяч жителей Гельсингфорса. Где-то в этом море людском потерялся затертый и заглушенный гулом движения оркестр, издававший трубные, торжественно-печальные звуки.

Шествие двигалось слишком медленно и торжественно. И медленно катились неудержимые слезы по бледному лицу триумфатора.

Являлось невольное сходство с похоронами кого-то, как будто хоронили неудачную революцию, потерянную свободу, несбывшиеся мечты и надежды.

Толпа устилала путь своего кумира красными цветами, словно кровью орошала дорогу, и не знал он, что путь, усеянный розами, по которому его влекли с такими небывалыми, цезарскими почестями, будет путем многолетнего изгнания, одиночества и грусти.

Перспективы социалистической промышленности.

(1927/28 — 1931/32).

Эм. Квиринг.

К концу первого десятилетия советской власти промышленность СССР несколько превысила уровень продукции 1913 года. За истекший период нэпа после отчаянной хозяйственной разрухи мы закончили восстановительный период. Эти итоги огромны, если учитывать величайшие трудности, которые приходилось преодолевать, но они совершенно недостаточны с точки зрения потребностей социалистического строительства. Поэтому вопрос о темпах роста народного хозяйства в ближайший период имеет огромное значение. Огромные преимущества планового социалистического хозяйства перед анархией капиталистического хозяйства не подлежат никакому сомнению.

Эти преимущества и, в первую очередь, возможность бескризисного развития дают нам возможность опережать капиталистические темпы роста.

Учет этих преимуществ дал возможность и XIV и XV с'ездам ВКП пред'явить нашим хозяйственным планам требование «более быстрого, чем в капиталистических странах, темпа народно-хозяйственного развития» (резолюция XV с'езда о пятилетке).

Поэтому, когда мы намечаем перспективу советского хозяйства, мы прежде всего должны исходить из необходимости обеспечить выполнение этой директивы.

Цикличность развития капиталистических стран сильно облегчает нам эту задачу.

На самом деле, периоды депрессий и кризисов задерживают рост промышленности капиталистических стран на длительные сроки. В этом отношении показательна цикличность динамики русской довоенной промышленности. Насколько велика разница в темпах роста в периоды под'ема и периоды депрессии, показывает следующая таблица (см. таблицу на стр. 173).

За десятилетием под'ема идет почти целое десятилетие депрессии. Девяностые годы дают быстрый рост, в то время как в первое десятилетие XX века рост очень незначительный.

Средний годовой темп роста продукции главнейших отраслей промышленности (в процентах)

Наименование продуктов \ Периоды	1891—1900 г.	1901—1910 г.	1911—1913 г.
Валовая добыча угля	—	+5,3	+11,9
нефти	+10,2	+1,2	+ 0,5
Выплавка чугуна	+13,3	+1,6	+14,0
Выделка готов. продукт. (проката)	+13,2	+5,7	+10,5
Производство железн. и стальн. полупродуктов (мартен)	+12,7	+4,0	+12,0
Выработано пряжи	+ 6,0	+3,4	+ 5,7
суровья	+ 5,3	+3,8	+ 4,5
Продукция белого сахара	+ 8,3	+3,3	—20,8

Средний темп роста за все указанные годы, поэтому, показывает среднюю между темпами периодов под'ема и периодов депрессии.

Если мы сумеем развивать советское хозяйство бескризисно, т. е. без длительных депрессий, то по одной этой причине наши темпы роста могут держаться на уровне темпов капиталистических периодов под'ема, т. е. почти в два раза выше средних капиталистических темпов роста.

Но преимущества советского хозяйства этим не ограничиваются: значительная часть капиталистической прибыли, которая шла на личное потребление класса капиталистов, теперь может быть обращена на расширение промышленности.

Плановое строительство новых заводов, рационализация и стандартизация производства в общегосударственном масштабе, введение трехсменной работы при 7-часовом рабочем дне дает дополнительные ресурсы для наиболее целесообразного и полного использования оборудования промышленности и наиболее выгодной ее эксплоатации.

Все указанное дает нам возможность проектировать темпы роста, значительно превышающие темпы роста капиталистических периодов под'ема.

Рост советской промышленной продукции в восстановительный период и особенно в 1927/28 г. подтверждают это в полной мере. За последние годы у нас написано очень много о темпах восстановительного и реконструктивного периодов.

Восстановительный период нашей промышленности в основном закончен в 1925/26 г. 1926/27 г. является переходным к реконструктивному периоду, выполняя еще в известной части задачи восстановления довоенной промышленности. Темп роста промышленной продукции в 1926/27 г. значительно ниже 1925/26 г. (43% в 1925/26 г. и 19,6% в 1926/27 г.) по государ-

ственной промышленности). Резкое снижение темпа роста в 1926/27 г. всеми признавалось, как начало перехода к еще более низким темпам роста, нормальным для периода реконструкции.

1927/28 год опрокидывает эту теорию низких реконструктивных темпов роста. Никто не ожидал роста промышленной продукции в 23%, и контрольные цифры на 1927/28 г., которые считались составленными с напряжением, намечали рост продукции в 15,8%.

Через несколько месяцев, к рассмотрению промфинплана на 1927/28 год, оказалось, что капитальное строительство последних лет, несмотря на огромные его недочеты, подготовило промышленность к росту продукции в 23%, причем лимитом роста и в 1927/28 г. является не столько производственная способность нашей промышленности, сколько недостаток сырья, материалов и фабрикатов.

По состоянию оборудования промышленность могла бы дать и еще бо̀льший рост продукции. Между тем, ведь в 1927/28 г. восстановительный процесс имеет место лишь в небольшой части промышленных предприятий. Производственная мощь выросла, главным образом, за счет переоборудования, расширения и введения новых предприятий.

Если учесть при этом, что социалистическая рационализация, стандартизация, типизация только еще начаты, мы можем быть уверены в том, что и ближайшие годы могут дать темпы роста, близкие к темпам 1927/28 г.

Это значительно изменяет перспективные прикидки, разработанные до сих пор.

Конечно, такие высокие темпы роста возможны только при благоприятных хозяйственных условиях, не нарушаемых стихийными бедствиями (неурожай и т. д.) или войной.

Война совершенно изменит развитие нашего хозяйства, и о хозяйственных перспективах на случай войны мы здесь не говорим совершенно. Это специальный вопрос, для которого имеются и специальные мероприятия. Мы исходим, конечно, из того положения, что при развертывании государственной промышленности мы всегда помним о задачах обороны и необходимости расширения производств, необходимых на случай войны.

Неурожай, наводнения, пожары и т. д. могут привести лишь к временным заминкам в отдельных отраслях промышленности и производствах и при наличии достаточных мероприятий не могут сильно затормозить индустриализацию страны.

Перспективное планирование представляет большие трудности не только в силу невозможности предвидеть такие явления, как неурожай и т. п., поскольку они в значительной мере определяются стихийными причинами.

Не менее трудно предусмотреть результаты рационализаторских и реконструктивных мероприятий в нашей промышленности.

ВСНХ, который в этом вопросе должен быть наиболее компетентным органом, так пишет об этих трудностях в своих «Контрольных цифрах пятилетнего плана промышленности СССР (1927/28 — 1931/32 гг.)»:

«При этом нужно подчеркнуть, что мы стоим лишь в самом начале процесса рационализации производства, что мы, фактически, только приступаем к нему; поэтому мы не можем учесть то, что нам дадут в этом направлении ближайшие годы. При пересмотре выяснилось, что несколько месяцев, протекших со дня окончания работ по составлению первого варианта пятилетки (опубликованного) до пересмотра, уже дали возможность учесть из практики существующих предприятий такие достижения (например, в льняной, бумажной и других отраслях), которые при составлении первого варианта намечались к достижению лишь к концу пятилетки».

Можно, пожалуй, без преувеличения сказать, что несколько месяцев, прошедшие со времени напечатания этих «Контрольных цифр» ВСНХ[1]), и в первую очередь учет роста 1927/28 г. дают возможность говорить о том, что и в указанном варианте ВСНХ, принятом Госпланом в качестве оптимального, недостаточно учтены реконструктивные моменты, и темпы роста, намеченные этим вариантом за пять лет 108% для государственной промышленности ВСНХ, не являются максимальными.

Если, исходя из роста продукции в 1927/28 г. в 23%, допустить что в ближайшие годы этот темп, постоянно спадая, дойдет в 1931/32 г. до 15%, мы получаем рост за 5 лет, примерно, на 135%.

Это вполне соответствует следующему заявлению «Контрольных цифр пятилетки ВСНХ»:

«Поэтому мы имеем основание полагать, что задания в области технико-производственной, намеченные при составлении настоящего варианта, в большинстве своем не только не являются преувеличенными, но оставляют определенный резерв, который в настоящее время не может быть учтен сколько-нибудь точно».

Мы не можем сейчас подробно останавливаться на исследовании возможности подобных темпов роста, так как это потребовало бы анализа целого ряда проблем: сырьевой базы, импортных возможностей, состояния рынка и т. д.

Необходимо к тому же помнить совершенно правильное положение резолюции XV с'езда об относительности значения плановых и цифровых предположений вообще.

В силу указанных выше трудностей перспективного планирования нужно признать целесообразность наметки двух вариантов плана: отправного и оптимального, что и принято Госпланом СССР в своих наметках, составленных к XV с'езду партии.

Отправной вариант по мысли Госплана должен быть полностью обеспечен (исключая случая войны) реальными ресурсами, а оптимальный должен исходить из возможного роста при максимальном напряжении всех сил и средств страны и при наиболее благоприятных условиях развертывания народного хозяйства в целом и промышленности в частности.

---

[1]) Изданы перед XV партс'ездом.

В ряде статей, написанных по поводу двух последних вариантов пятилетки, например, в статье В. Мотылева в № 3—4 «Большевика» за 1928 г., указывалось на то, что разница в темпах роста продукции, принятых в отправном и оптимальном вариантах, особенно при внесении поправки на третью смену, очень незначительна, что ставит под вопрос целесообразность двух столь мало отличающихся друг от друга вариантов.

Разница в темпах роста при этой поправке действительно незначительна, а именно: по промышленности ВСНХ по отправному 93%, а по оптимальному 108%.

Поэтому и годовые темпы роста за пятилетку по обоим вариантам разнятся не очень сильно, а именно (по годам):

Прирост продукции промышленности, планируемой ВСНХ (в процентах к предыдущ. году)

Годы	Вариант Госплана	Проект ВСНХ
1926/27 .	17,5	—
1927/28 . .	15,6	18,1
1928/29 . .	13,0	16,6
1929/30 .	13,3	17,6
1930/31 .	13,3	13,8
1931/32 .	11,4	12,8

Теперь уже ясно, что первый год этой пятилетки — 1927/28 г. — дает значительное превышение и против отправного варианта, и против оптимального ВСНХ (на 6,5 и 5%) за год.

Следовательно, *если нужно производить раздвижение вариантов, то нужно это делать не за счет снижения отправного варианта, а за счет повышения оптимального.*

Возможные темпы развертывания госпромышленности в ближайшие годы зависят прежде всего от эффективности и размеров капитальных затрат.

Огромные недочеты в капитальном строительстве, имевшие место в 1925/26 — 1926/27 гг., дали богатый организационный и строительный опыт, что должно привести к изживанию этих недочетов и, следовательно, повышению эффективности затрат.

Рост основного капитала и продукции, а также рационализация и реконструкция обеспечивает рост внутрипромышленных накоплений и уменьшение имеющихся в отдельных производствах убытков.

Все это вместе взятое должно обеспечить постоянный из года в год рост капитальных вложений в промышленность.

Недостаток первых проектировок и ВСНХ и Госплана заключался в том, что даже в неизменных ценах, т. е. без учета снижения крайне высокого строительного индекса, стоимость капитальных затрат к концу пятилетки или снижалась, или стабилизировалась, что совершенно неправильно, так как проектировки исходят из неправильного предположения, что к концу пятилетия темпы роста должны быть сильно снижены.

Рост промышленности увеличивает ее ресурсы, и было бы неправильно направлять эти накопления в другие отрасли народного хозяйства.

XV с'езд правильно отмечает, что диспропорция между промышленностью и сельским хозяйством далеко не изжита, а это, при постоянном росте зарплаты и покупательной способности крестьянства, приводит к недостатку промтоваров на рынке. Только быстрый темп роста промышленной продукции может смягчать эту тенденцию советского хозяйства.

Последние варианты ВСНХ и Госплана (третий), относящиеся к пятилетке 1927/28—1931/32 гг., исправляют этот недочет в об'еме капитальных затрат без учета понижения строительного индекса. При учете снижения цен и по этим вариантам последние годы почти стабильны.

Динамика капитальных вложений в госпромышленность (по годам)

Годы	По неизменным ценам										По понижающимся ценам			
	1-й проект ВСНХ (ОСВОК)		2-й проект ВСНХ		1-й проект ВСНХ		2-й проект Госплана		3-й проект Госплана (отпр.)		3-й проект ВСНХ		3-й проект Госплана (отпр.)	
	В млн. руб.	В % к пред. году	В млн. руб.	В % к пред. году	В млн. руб.	В % к пред. году	В млн. руб.	В % к пред. году	В млн. руб.	В % к пред. году	В млн. руб.	В % к пред году	В млн. руб.	В % к пред. году
1925/26	935	—	—	—	—	—	781	—	—	—	—	—	—	—
1626/27	1 549	165,5	—	—	—	—	918	117,4	988	—	—	—	983	—
1927/28	1 454	93,8	1 179	117,3	1 269	126,9	1 142	124,4	1 250	126,5	1 192	119,3	1 168	118,8
1928/29	1 251	86,2	1 318	112,0	1 542	121,5	118	103,6	1 383	110,6	1 401	117,0	1 187	101,6
1929/30	959	76,5	1 381	104,8	1 689	109,5	1 206	101,9	1 498	102,5	1 488	106,8	1 203	101,3
1930/31	—	—	1 395	101,0	1 798	106,5	1 205	100,0	1 588	112,7	1 501	101,0	1 184	98,4
1931/32	—	—	1 452	104,0	1 957	108,8	—	—	1 671	105,2	1 506	100,0	1 176	99,3

По последним вариантам намечено снижение стоимости строительства на 30%, почему реальная эффективность от капитальных затрат увеличивается.

Разница между капитальными вложениями по отправному варианту и оптимальному в ценах соответствующего года составляет около одного миллиарда рублей, причем характерно, что это превышение идет на 50% за счет накопления собственных накоплений промышленности. По опти-

мальному варианту и аммортизационные суммы и прибыль значительно выше, чем по отправному, так как темпы роста, принятые в нем, более высокие.

Вот сопоставление важнейших показателей по обоим вариантам с учетом сменности за пятилетие:

	Оптимальный	Отправной	Разница
Капитальные затраты	7 088	6 081	1 007
Чистая прибыль	4 758	4 547	211
Амортизация	2 927	2 321	606
Прибыль и амортизация	7 685	6 868	817
Превышение накопления над капитальными затратами	597	787	—

Следовательно, в обоих вариантах чистая прибыль и амортизация дают бо́льшие суммы, чем проектируемые капитальные вложения.

Если исходить из нолевого сальдо расчетов между промышленностью и бюджетом, то для увеличения собственных оборотных средств остается по варианту ВСНХ — 600 млн. руб., по варианту Госплана — 890 млн. руб.

Вариант Госплана исходит из дотации по бюджету за 5 лет в 130 млн. руб., вариант ВСНХ — из дотации в 700 млн. руб., причем в последние два года пятилетки вложения из бюджета сводятся к минимуму.

Надо признать, что требования к бюджету обоих вариантов незначительны.

В директивах XV с'езда к составлению пятилетнего плана указано на необходимость перераспределения национального дохода в пользу промышленности:

«Увеличение внутрипромышленного накопления наряду с перераспределением в пользу индустрии народного дохода позволяет осуществить капитальные вложения в промышленность в размерах, обеспечивающих необходимый рост производства и его рационализацию».

Одним из средств перераспределения национального дохода являются сбережения.

XV с'езд указал на крайнюю важность этого дела, а бюджет 1927/28 года по линии займов имеет 500 млн. руб. доходов, не считая увеличения вкладов в сберкассы, кооперацию и т. п.

Прирост трудовых сбережений гарантирует в дальнейшем ежегодно около 300 — 400 млн. руб. чистого прироста, и эти суммы должны быть в значительной части переданы на развитие промышленности.

Следовательно, не посягая на перераспределение собираемых государством налогов, промышленность может получать от бюджета ежегодно чистых около 200 млн. руб. за счет перераспределения сбережений.

Мы считаем, что за пять лет промышленность может претендовать на чистые вложения через бюджет в сумме около миллиарда рублей, и, следовательно, капитальные вложения в промышленность могут быть еще увеличены против оптимального варианта.

Это тем более необходимо, что, как мы сейчас покажем, и по этому варианту, который является пока максимальным, капитальное строительство за вычетом части работ, покрываемых амортизационными суммами, в последние два года пятилетки значительно снижается.

Это значит, что темп расширенного воспроизводства по этому варианту в последние два года падает, что нельзя признать правильным [1]).

Вот соответствующий расчет по оптимальному варианту ВСНХ:

	1927/28 г.	1928/29 г.	1929/30 г.	1930/31 г.	1931/32 г.
Общая сумма кап. затрат .	1 192	1 401	1 488	1 501	1 506
В т. ч. амортиз. суммы (в млн. руб.) .	460	522	585	650	710
Кап. затраты сверх амморт. сумм (млн. руб.) .	732	879	903	851	796

Мы видим, что капитальные затраты сверх амортизационных сумм достигают максимума в 900 млн. руб. в 1929/30 г., а в последующие два года постепенно снижаются до 850 млн. руб. и 800 млн. руб.

Ясно, что такая проектировка совершенно необоснована.

Это станет еще более ясным при сопоставлении по годам капитальных затрат сверх амортизационных сумм с чистой прибылью промышленности:

	1927/28 г.	1928/29 г.	1929/30 г.	1930/31 г.	1931/32 г.
Кап. затр. сверх аморт. сумм (млн. руб.)	732	879	903	851	796
Чист. прибыль .	677	766	926	1 094	1 295
Сальдо .	— 55	—113	+ 23	+243	+499

[1]) Теоретически амортизационные суммы должны обеспечить процесс простого воспроизводства. Все вложения сверх амортизационных отчислений — расширенное воспроизводство. В какой мере это теоретическое положение совпадает с действительностью, зависит от того, в какой мере жизненны нормы амортизационных отчислений. Если эти нормы высоки, то они частично обеспечивают и расширенное воспроизводство, и наоборот—слишком низкие нормы не обеспечивают и простое воспроизводство.

Мы видим, что первые два года баланс сводится за счет бюджетных сумм. Прибыль и амортизационные отчисления не покрывают капитальные затраты, и при нолевом сальдо расчетов с бюджетом часть капитальных затрат пришлось бы покрывать за счет собственных оборотных средств. Но, как мы знаем, состояние оборотных средств государственной промышленности очень напряженное, и они нуждаются ежегодно в пополнении, соответственно расширению товарной продукции.

Это пополнение оборотных средств и покрытие дефицита по капитальному строительству и производится за счет дотации по бюджету, и, как мы выше указывали, это вполне правильно.

В последние годы пятилетки, как мы видим, чистая прибыль промышленности значительно выше капитальных затрат, производимых сверх амортизации. Это превышение в 1931/32 г. составляет 500 млн. руб. В таком увеличении собственных оборотных средств промышленность явно не нуждается — стало быть часть этих средств могла бы быть обращена в другие отрасли народного хозяйства, о чем и говорится в «Контрольных цифрах пятилетки ВСНХ» [1]).

Мы считаем, что к концу предстоящего пятилетия эту задачу мы не можем еще ставить государственной промышленности. Достаточно, если госпромышленность частично покроет средства, необходимые для форсирования своей сырьевой базы.

Следовательно, капитальные затраты промышленности за последние два-три года пятилетки можно повысить и обеспечить этим больший рост продукции.

Об этом же говорит и запроектированный рост краткосрочного кредита государственной промышленности:

	1927/28 г.	1928/29 г.	1929/30 г.	1930/31 г.	1931/32 г.
Краткосрочн. банков. кредит (в млн. рублях)	270	200	190	217	179

По промфинплану для 1927/28 г. лимит краткосрочного кредита промышленности установлен в 330 млн. руб. Едва ли существуют какие-либо доказательства в пользу того, что в последующие годы, при незначительном снижении темпов роста продукции промышленности, потребуется меньший прирост краткосрочного кредита, чем в текущем году. Очевидно,

[1]) «Таким образом, промышленность к концу пятилетия не только сможет покрывать всю потребность в добавочных ресурсах собственным накоплением, но сможет начать выделять определенные средства для форсирования других отраслей народного хозяйства». (Контрольные цифры пятилетки ВСНХ, стр. 9).

уменьшение кредита идет за счет большего увеличения собственных средств, т. е. за счет уменьшения капитальных затрат. Если неправильно длительное увязывание краткосрочных кредитов в капитальное строительство, то также неправильно, с народно-хозяйственной точки зрения, увязывание накопления промышленности (в товарообороте), если этот товарооборот может быть обеспечен краткосрочным кредитом.

Поэтому в финансовом плане промышленности на пятилетку может быть предусмотрено не только увеличение дотации из бюджета, но и увеличение краткосрочных кредитов.

Все сказанное убеждает нас в том, что намеченные в оптимальном варианте темпы роста продукции промышленности и рост капитальных вложений не являются максимальными.

При напряжении всех средств страны, при правильном планировании и строгой плановой дисциплине, могут быть обеспечены и более высокие темпы роста промышленности.

Конечно, это увеличение должно быть строго увязано со всеми отраслями народного хозяйства. Я не могу на этом останавливаться подробнее. Считаю совершенно правильным указание т. Сталина и ряда других товарищей на XV с'езде партии, что темпы роста сельского хозяйства в перспективной ориентировке Госплана намечены слишком низкие.

Плановое воздействие советского государства на сельское хозяйство должно нам обеспечить более быстрый рост сельского хозяйства, а следовательно, и покупательной способности крестьянства и спрос его на продукты промышленности.

Согласование потребностей промышленности и сельского хозяйства есть важнейшее условие бескризисного развития народного хозяйства Советского Союза.

Увеличение темпов роста в промышленности и сельском хозяйстве должно, разумеется, сказаться и на транспорте, и на торговле, и на всех отраслях народного хозяйства.

Но на всех этих вопросах увязки плана промышленности с планом всего народного хозяйства мы сейчас останавливатья не будем.

Укажем лишь, что увеличение темпов ведет к увеличению накопления собственных средств во всех отраслях народного хозяйства и тем самым увеличивает общие ресурсы страны.

Неправильным будет всякий план, который, увеличивая, скажем, темпы роста промышленности, не обеспечивает всем остальным отраслям народного хозяйства соответственного роста.

Это в ближайшее же время сказалось бы резким расстройством всего хозяйства.

XV партс'езд в опровержение установок оппозиции указал, что:

«Неправильно исходить из требования максимальной перекачки средств из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии, ибо это требование означает не только политический разрыв с крестьянством, но и подрыв сырьевой базы самой индустрии, подрыв ее внутреннего рынка,

подрыв экспорта и нарушение равновесия всей народно-хозяйственной системы. С другой стороны, неправильно было бы отказываться от привлечения средств деревни к строительству индустрии: это в настоящее время означало бы замедление темпа развития и нарушение равновесия в ущерб индустриализации страны».

Соответственно этому в вопросе о темпе развития «следует исходить не из максимума темпа накопления на ближайший год или несколько лет, а из такого соотношения элементов народного хозяйства, которое обеспечивало бы длительно наиболее быстрый темп развития».

Это и значит, что увеличение роста промышленности должно сопровождаться ростом всех элементов народного хозяйства и, прежде всего, сельского хозяйства.

Это значит также, что развитие промышленности должно облегчать развитие остальных отраслей народного хозяйства. В этом ее ведущее значение. Некоторые экономисты склонны видеть ведущее начало промышленности в том, что она выделяет часть средств из собственного накопления для других отраслей. Такое толкование неправильно. Ведущее значение промышленности в том, что ее рост обязательно требует роста и сельского хозяйства и транспорта, и торговли и строительства и обеспечивает возможность такого роста.

Народно-хозяйственный план должен наметить источники покрытия этого развития и пока в нашей стране существует частнохозяйственный сектор — будет стоять задача перераспределения народного дохода в пользу социалистического сектора. Это вовсе не значит обязательно перераспределение средств крестьянского хозяйства в пользу социалистической индустрии. Обобществленные формы сельского хозяйства пока еще имеют очень скромный удельный вес в системе сельского хозяйства. Однако эти формы проявляют быстрый рост и на их укрепление требуются крупные средства. Поэтому через ряд лет может встать вопрос о том, что социалистическая промышленность должна помочь своими ресурсами социалистическому сельскому хозяйству.

Сейчас же ведущая роль промышленности не сводится к выделению своих средств в другие отрасли народного хозяйства.

Она должна прежде всего облегчать развитие других отраслей.

Снижение промышленных цен является важнейшим для этого рычагом.

Организационно-технические достижения промышленности должны привести одновременно и к росту реальной заработной платы рабочих и к снижению себестоимости.

При намеченном на XV с'езде партии курсе на устойчивые цены на продукты сельского хозяйства — снижение промцен обеспечивает повышение материального уровня и рабочих и бедняцкого и середняцкого крестьянства.

Снижение промышленных цен должно быть произведено за счет понижения себестоимости, что и намечено по оптимальному варианту за 5

лет в 24%. При этом условии снижение цен обеспечит значительный рост прибылей промышленности и не только их общей суммы, но и нормы прибыли.

Этот факт сам по себе не противоречит политике невысоких прибылей.

Весь вопрос в распределении прибылей по отраслям. Улучшение организационно-технических условий промышленности должно привести прежде всего к уменьшению количества убыточных производств или даже к превращению их в прибыльные. С другой стороны, незначительное увеличение прибыльности крупных производств, имеющих сейчас низкую прибыль, может также повлиять на увеличение средней нормы прибыли, даже при снижении нормы прибыли в других отраслях.

Однако в политике прибылей мы должны исходить из возможно низких прибылей в отраслях, производящих средства для облегчения капитального строительства. С другой стороны, постепенно должен увеличиваться именно удельный вес этих отраслей промышленности.

Следовательно, если в ближайшие годы и возможно повышение нормы прибыли, то очень незначительное.

По оптимальному варианту средняя норма прибыли за 5 лет составляет 8%; исчисленные суммы прибыли могут быть признаны реальными.

В конечном счете здесь все зависит от реального эффекта в снижении цен в результате рационализации производства.

По пятилетке ВСНХ намечено снижение себестоимости на 24%, а снижение цен на 21%, т. е. достижения промышленности почти полностью передаются другим отраслям народного хозяйства и потребителю.

Если же окажется, что снижение себестоимости даст не 24%, а, скажем, 30%, — тогда при снижении цен не в 21%, а в 26 — 27%, прибыльность промышленности все же окажется значительно выше намеченной по плану. Однако это повышение было бы произведено не за счет других отраслей, не за счет повышения цен. Наоборот, оно явилось бы следствием улучшения организационно-технических условий производства.

Если же промышленность не сумеет провести намеченное снижение себестоимости, тогда, очевидно, получение намеченных прибылей может быть осуществлено лишь за счет непонижения промышленных цен или же, если, несмотря на неснижение себестоимости, произвести снижение цен, промышленность снизит свои прибыли, что сорвет намеченную программу капитального строительства.

Вот какое решающее значение имеет снижение себестоимости промышленной продукции. Одним из важнейших условий реальности снижения себестоимости является проведение в жизнь намеченного повышения производительности труда. Намечено за пятилетие повышение на 57%, при росте номинальной зарплаты на 26% и реальной — на 45%.

Не редко говорят о напряженности наших темпов роста, о непосильных задачах, которые мы ставим стране. Начинают проявляться настроения в пользу медленных, осторожных, абсолютно обеспеченных темпов роста.

Мы не отрицаем, что выполнение намеченных нами темпов требует огромного напряжения и не обеспечено при всех случаях на 100%. Всякая наша серьезная ошибка, всякие прорывы на отдельных фронтах, могут привести к невыполнению плана, к сдержке темпа. Но это не будет срывом плана, а лишь некоторой растяжкой его выполнения во времени.

Однако совсем не исключено, что, при благоприятных условиях, при максимальном напряжении всех наших сил и средств, — даже самые максимальные наши предположения окажутся превзойденными.

Опыт плановой работы показал, что каждый год выявляет все новые и новые и организационные и технические возможности, которые позволяют нам ускорять темпы хозяйственного роста.

Социалистическое хозяйство дает такие огромные преимущества, которые мы сами лишь постепенно усваиваем.

Удвоение промышленной продукции не под силу ни одной капиталистической стране. Для нас же это минимум, который мы можем и должны превзойти.

Николай Романов в Тобольске и в Екатеринбурге.

(Из воспоминаний коменданта).

А. Д. Авдеев.

Пребывание Романовых в Тобольске.

К моменту Октябрьского переворота 1917 года Николай Романов с членами своей семьи находился в Тобольске. Формально царская семья была направлена в Тобольск для более строгого заключения. Однако из показаний ряда членов Временного правительства и из всей обстановки отправки царской семьи и организации ее охраны вырисовывалось совершенно ясно намерение создать более благоприятные условия для возможной эвакуации ее за границу.

В г. Тобольск с бывшим царем был отправлен отряд из самых черносотенных элементов, преданных ему, во главе с таким же черносотенным полковником Кобылинским. Кроме того, Временное правительство прислало туда же «комиссара» — эсера Панкратова. Этого Панкратова достаточно характеризует белогвардейская печать, указывая, что Николай так привязался к нему, что с удовольствием слушал его рассказы о путешествии по Сибири, читал его воспоминания и даже сделал предложение ему быть преподавателем его детей.

Почему так получилось, что старый революционер Панкратов, побывавший на каторге и просидевший 14 лет в Шлиссельбургской крепости за борьбу с царизмом, приставленный к царю в качестве комиссара, очень близко сошелся с ним и в своих воспоминаниях пишет, что не чувствует в Николае Романове палача? Все это лишний раз только подчеркивает, что партия эсеров, в которой состоял десятки лет Панкратов, была партией громких фраз, партией неустойчивой мелкой буржуазии...

Из сказанного видно, какой надзор и охрана были над бывшим царем в Тобольске.

Отправляя бывшего царя в Тобольск, Керенский давал наказ полковнику Кобылинскому: «Не забывайте, что это бывший император. Его семья ни в чем не должна нуждаться» (Н. Соколов, Убийство царской семьи, стр. 37).

Здание, в котором помещался в Тобольске бывший царь, было специально построено для губернатора. Это был двухэтажный каменный дом, в восемнадцать комнат. Третий этаж был полуподвальный, и в нем помещались кухня, кладовые и т. п. К дому примыкал довольно обширный сад.

Перед окнами, выходящими на улицу, был разбит палисадник, обнесенный железной изгородью. Все здание, с его службами и садом, кроме фасадной стороны, было обнесено тесовой оградой. По всем четырем углам ограды, а также у входа в ворота, имелись будки для постовых охраны.

Внутри дом был роскошно меблирован: помимо имевшейся губернаторской мебели, которая полностью осталась после губернатора, часть мебели была доставлена из Царского села вместе с Романовыми.

Богатая обстановка, шелковые и бархатные портьеры на дверях и окнах, ковры, снующие лакеи в ливреях с золотыми позументами и светлыми пуговицами — совершенно не намекали на то, что здесь содержатся арестованные, а скорее здесь пахло царским дворцом.

Если во втором этаже было комнат с избытком и в них со всей роскошью разместилась семья Романовых, то первый этаж был набит людьми, как сельдями бочка, всей свитой б. царя.

Что касается полуподвального этажа, там дело обстояло куда хуже; там помещались кухонные служащие и слуги слуг, — и размещены были как попало. Так, кухонные работники спали на полу тут же у плиты, в грязи. Часть комнат этого этажа и коридоры были загромождены большим количеством багажа, чемоданы, ящики и т. п., хотя в первом этаже специально для этого имелись 2 комнаты, так называемые шкафовые комнаты, которые, в свою очередь, также были доверху заложены вещами.

Одного дома губернатора нехватало для размещения всех, и комендант Кобылинский, комиссар Панкратов и некоторые другие придворные и служащие заняли расположенный напротив двухэтажный дом купца Корнилова. Для услуг с ними было сорок пять слуг и прислужников.

В своем «заключении» бывш. царь не так-то плохо зажил. Материально он был достаточно обеспечен, да и окружающая обстановка в Тобольске вполне создавала тихую спокойную жизнь для него и его семьи. У власти в городе и в губернии стояли меньшевики и эсеры, которые боялись не только вмешиваться в дело содержания и охраны бывш. царя, но не имели даже доступа к порогу дома пребывания его. И местный и городской советы не знали, кто живет в доме и какой там распорядок.

Из кого же состояла охрана? — Об этом белогвардеец Н. Соколов в своей, изданной за границей, книжке сам отвечает: «В составе охраны царской семьи были хорошие русские люди, к которым государь часто захаживал, разговаривал и играл в шашки и приводил к ним с собой великих княжен». Значит, агитационно-пропагандистскую работу среди команды вел не только черносотенный полковник Кобылинский, но и сам бывш. царь с помощью великих княжен. Если бы охрана была хотя немного революционно настроена, она не допустила бы этой близости с бывш. царем, да и у него не явилось бы охоты посещать охрану.

При таком положении все «арестованные» Временным правительством имели открыто самую тесную связь с внешним миром, хотя, как заключенные, не могли проникать за пределы дома. Связь эту особенно поддерживали через черносотенца попа Алексея, который дошел до того, что провозглашал за церковной службой здравие бывш. царствующему дому. Николай Романов и вся его семья ходили на службу в местную церковь. Кроме того, доступ к ним в дом был совершенно доступен для всех их поклонников. Из этого видно, что вся охрана, поставленная Временным правительством, только способствовала связи бывш. царя с черносотенными организациями.

После VII с'езда партии, происходившего в марте 1918 г., на котором были решены основные вопросы закрепления октябрьских завоеваний и дальнейшего развития революции, Уральский комитет партии (большевиков) обратил внимание на «беспризорность» бывш. царя.

И действительно, после Октябрьского переворота прошло уже 4 месяца, и уже во всех городах бывшей Российской империи были распущены и купеческие городские думы, и мелкобуржуазные земства и были уже переизбраны городские советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и в их руки перешла вся полнота власти. Только в Тобольске оставалось все по-старому. Но имелись вполне достоверные сведения, что монархисты группируются вокруг Тобольска, чтобы воспользоваться вскрытием рек Иртыша, на котором стоит Тобольск, и Оби, в которую впадает Иртыш, и увезти бывш. царя через эти реки в Обскую губу и за границу из рук большевиков.

Особенно активно работал по подготовке побега бывш. царя зять Распутина — Соловьев, бывш. поручик, через которого действовала Вырубова, посылая ему средства и инструкции.

Уральский совет и комитет партии приняли меры к тому, чтобы не осуществились монархические планы. Первое, что было сделано — это в самый Тобольск была послана группа товарищей, для того чтобы произвести переизбрание в Тобольске совета рабочих и крестьянских депутатов, отстранив от власти буржуазию и заменив ее подлинными представителями рабочих и крестьян.

Второе, — после реорганизации местной власти, взять руководство над охраной бывш. царя и его семьи. По всем наиболее важным пунктам дорог, идущих от Тобольска, были разосланы специальные отряды из рабочих. В задачи этих отрядов входило: предотвратить возможный побег царя, если бы он вздумал его предпринять, не дожидаясь вскрытия рек. Город Тобольск от жел.-дорожной станции Тюмень находится в 260 верстах. Группа товарищей, посланная Уральским советом и комитетом партии в Тобольск, состояла из рабочих-металлистов с завода Злоказово в количестве 16 человек. Прибыла в Тобольск эта группа 16 марта 1918 г.; в то же время уже с неделю в Тобольске находились известные уральские большевики тт. Павел Хохряков и Наташа Наумова, а через 2—3 дня после приезда группы уральцев-злоказовцев приехал Семен Заславский с двумя рабочими с Наде-

ждинского завода. Эти 16 человек и остальные пять человек и представляли отряд уральцев; главой отряда был Павел Хохряков. В'ехали в город не сразу всей группой, отрядом, а под разными предлогами по одиночке: кто искать работу, кто под видом разных скупщиков, и, в начале, действовали подпольно. Приехав в Тобольск, отряд наметил вначале четыре основные задачи: 1) удостовериться в наличии Николая Романова в б. губернаторском доме, 2) войти в связь и выяснить настроение отряда солдат — охраны царя, 3) войти в связь с местной руководящей властью меньшевиков и эсеров и 4) ознакомиться с настроением местных рабочих (консервная фабрика, лесопильный завод, зимовка пароходов) и взять их под свое влияние. Для выполнения этих задач отряд разбился на небольшие группы, чтобы легче было действовать.

После ознакомления с положением дела на месте, выяснилось следующее: охрана бывш. царя, хотя и была на три четверти подкуплена черносотенцами-монархистами, но также среди нее было и довольно сильное демобилизационное настроение. В общем же охрана бывш. царя была ненадежна по отношению к советской власти и большею частью находилась под влиянием полковника Кобылинского.

Дальше выяснили, что Николай Романов еще не сбежал и действительно живет в доме губернатора и часто появляется у окна, выходящего на улицу.

Настроение же той небольшой группы в 500—600 человек рабочих, которая имелась в Тобольске, было настоящее большевистское. Рабочие готовы были немедленно же свергнуть меньшевиков и эсеров. Исключение только составляла команда и рабочие шхуны «Мария», стоявшей там на зимовке, — они были настроены не в нашу пользу. После выяснилось, что именно это судно и было намечено монархистами для увоза Николая за границу.

Перед домом, где жил бывш. царь, мы установили постоянное наблюдение, а через 2—3 дня выяснили, что в дом входят 10—15 человек в штатском платье, довольно подозрительных. При этом мы столкнулись и с тем, что со стороны монархистов также ведется наблюдение за большевиками. Было видно, что монархисты деятельно работают, а работать им кроме как над подготовкой побега «царя батюшки» было не над чем. Одному нашему рабочему Злоказовского завода Ивану Петровичу Логинову во время выпивки гвардеец охранник разболтался, что как вскроются реки, то они, т. е. вся охрана, поедут домой и что охранять будет некого.

Несмотря на то, что солдаты охраны не получали казенного жалованья 2—3 месяца, чуть ли не каждый из них не только пьянствовал, но и обзаводился «негласной» женой, «что-то» тратя и на ее содержание. Это доказывало, что охранники, помимо официального жалованья, получают побочные средства, позволяющие им вести разгульную жизнь. Эти средства давали им монархисты, стараясь тем купить их преданность.

Были сведения, что монархистам скорее, до вскрытия рек, хотелось эвакуировать Николая в надежное место. Об этом мы сообщили по теле-

ждинского завода. Эти 16 человек и остальные пять человек и представляли отряд уральцев; главой отряда был Павел Хохряков. В'ехали в город не сразу всей группой, отрядом, а под разными предлогами по одиночке: кто искать работу, кто под видом разных скупщиков, и, в начале, действовали подпольно. Приехав в Тобольск, отряд наметил вначале четыре основные задачи: 1) удостовериться в наличии Николая Романова в б. губернаторском доме, 2) войти в связь и выяснить настроение отряда солдат — охраны царя, 3) войти в связь с местной руководящей властью меньшевиков и эсеров и 4) ознакомиться с настроением местных рабочих (консервная фабрика, лесопильный завод, зимовка пароходов) и взять их под свое влияние. Для выполнения этих задач отряд разбился на небольшие группы, чтобы легче было действовать.

После ознакомления с положением дела на месте, выяснилось следующее: охрана бывш. царя, хотя и была на три четверти подкуплена черносотенцами-монархистами, но также среди нее было и довольно сильное демобилизационное настроение. В общем же охрана бывш. царя была ненадежна по отношению к советской власти и большею частью находилась под влиянием полковника Кобылинского.

Дальше выяснили, что Николай Романов еще не сбежал и действительно живет в доме губернатора и часто появляется у окна, выходящего на улицу.

Настроение же той небольшой группы в 500—600 человек рабочих, которая имелась в Тобольске, было настоящее большевистское. Рабочие готовы были немедленно же свергнуть меньшевиков и эсеров. Исключение только составляла команда и рабочие шхуны «Мария», стоявшей там на зимовке, — они были настроены не в нашу пользу. После выяснилось, что именно это судно и было намечено монархистами для увоза Николая за границу.

Перед домом, где жил бывш. царь, мы установили постоянное наблюдение, а через 2—3 дня выяснили, что в дом входят 10—15 человек в штатском платье, довольно подозрительных. При этом мы столкнулись и с тем, что со стороны монархистов также ведется наблюдение за большевиками. Было видно, что монархисты деятельно работают, а работать им кроме как над подготовкой побега «царя батюшки» было не над чем. Одному нашему рабочему Злоказовского завода Ивану Петровичу Логинову во время выпивки гвардеец охранник разболтался, что как вскроются реки, то они, т. е. вся охрана, поедут домой и что охранять будет некого.

Несмотря на то, что солдаты охраны не получали казенного жалованья 2—3 месяца, чуть ли не каждый из них не только пьянствовал, но и обзаводился «негласной» женой, «что-то» тратя и на ее содержание. Это доказывало, что охранники, помимо официального жалованья, получают побочные средства, позволяющие им вести разгульную жизнь. Эти средства давали им монархисты, стараясь тем купить их преданность.

Были сведения, что монархистам скорее, до вскрытия рек, хотелось эвакуировать Николая в надежное место. Об этом мы сообщили по теле-

графу в Екатеринбург комитету партии. Мы не знали точно, сколько имеется сил у монархистов в самом Тобольске, подробней знали только о деятельности зятя Распутина — поручика Соловьева, почему и просили Екатеринбург прислать нам подкрепление в 50—60 надежных красногвардейцев. И в ожидании подкрепления, чтобы посеять панику среди черносотенцев, была пущена утка, что большевиков вокруг Тобольска около 1 000 человек, а их и всего-то было незначительное количество, и, главным образом, прибывшие уральцы.

Слухи эти, как и во всяком провинциальном городе, были подхвачены обывателями, и наша «тысяча» была раздута в несколько тысяч.

Спустя несколько дней после приезда в Тобольск уральцев, прибыл и отряд омских рабочих-большевиков в составе 120 человек, под командой Демьянова. Это прибытие еще более подожгло тобольского обывателя, увеличилась вера в слухи, пущенные нами. Караул в доме заключения бывш. царя монархистами был увеличен и усилено наблюдение за ним; солдаты охраны бывш. царя были лишены отдыха, дежуря почти беспрерывно. Между прибывшими омичанами и уральцами не сразу установились отношения. Прибывшие омичи претендовали на руководство, но, так как уральцы были более сильны политически, то омичи оказались скоро у них в подчинении. Прибывшие в Тобольск уральцы подготовили вначале почву для перевыборов местного совета, которые быстро же и провели, изгнав меньшевиков и эсеров. Председателем совдепа был избран Павел Хохряков, а Заславский и Авдеев — членами совета, — все были уральцы. Была распущена городская дума и земство. И «дом заключения» взял под свое наблюдение местный совет. Павел Хохряков лично убедился в пребывании бывш. царя в доме, посетив дом.

В своих переговорах и донесениях, которые велись через Екатеринбург, мы все время настаивали, чтобы увоз бывш. царя из Тобольска в более надежное место состоялся до вскрытия рек, чтобы заранее отрезать всякую возможность бегства и разрушить планы монархистов. Ответа определенного все не получалось, а весна надвигалась, дороги уже начинали портиться, и дело могло повернуться в худшую сторону. Поэтому было решено направить в областной комитет, в Екатеринбург, кого-либо для личного доклада и добиться там директив по вопросу об увозе бывш. царя в такое место, где побег ему был бы невозможен. Выделен был Авдеев, который и направился через Тюмень в Екатеринбург.

Встреча с Яковлевым.

Когда автор этих воспоминаний приехал в Тюмень на вокзал, то увидал там выгружавшуюся кавалерийскую часть, начал расспрашивать, что это за отряд. За ответом на это предложили обратиться к уполномоченному ВЦИК — Яковлеву. Я пред'явил ему свое удостоверение У.альского

областного комитета и комитета партии (б.), на что он, в свою очередь показал свой мандат-распоряжение Уральского комитета партии, где говорилось, что все мы, т. е. группа уральцев, и Хохряков, и Заславский, и Авдеев, поступаем в полное распоряжение Яковлева. Также прочитал свой мандат и полномочия ВЦИК, показав мне его, на котором были подписи тт. Ленина и Свердлова. Я ввел его в курс обстановки Тобольска и познакомил с тем, куда и зачем еду, после чего Яковлев предложил мне вернуться обратно с ним в Тобольск, обещав, что бывш. царь будет вывезен из Тобольска немедленно, а куда, — добавил он, — на то я получу директивы из Москвы в Тобольске. Вместе с Яковлевым прибыл кавалерийский отряд из рабочих Симского округа, Южного Урала, под командой тов. Зенцова.

Я успел сообщить в Екатеринбург о том, что встретился с Яковлевым и что возвращаюсь с ним обратно в Тобольск. В тот же день верхами на лошадях мы двинулись из Тюмени. Проехали не больше 20 верст, как заметили впереди себя цепи солдат; стали приглядываться в бинокли, заметили красные ленточки на папахах; мы стали размахивать красным флагом. Приблизившись к ним, мы узнали, что это рота пехоты под командою Бусяцкого, которая шла из Екатеринбурга в Тобольск в распоряжение уральской группы.

Они издали приняли нас за белых казаков и чуть было не открыли стрельбу.

По дороге в Тобольск я разговорился с Зенцовым, и от него узнал, что Яковлев происходит из Симского округа, из рабочих, но долго жил в эмиграции.

По приезде в Тобольск, Яковлев созвал совещание. Поскольку помнится, — присутствовали: Павел Хохряков, Семен Заславский, Гузаков, Зенцов, Авдеев и другие. На этом совещании Яковлев попросил Хохрякова сделать информацию о положении дела в Тобольске, после которой со своей стороны Яковлев изложил свой план действий, вернее сказать — план выполнения возложенной на него задачи и то, что он должен увезти бывш. царя из Тобольска, в чем должны ему все помочь, а куда он с ним поедет — об этом рассуждать не следует.

Несмотря на то, что на этом совещании было принято наше предложение о вывозе бывш. царя, все же мы, уральцы, решили в ту же ночь собраться отдельно, так как поведение Яковлева показалось нам подозрительным. На наше совещание в числе других товарищей уральцев был приглашен и тов. Бусяцкий, начальник отряда пехоты, прибывшего к нам в Тобольск из Екатеринбурга.

На этом совещании тов. Заславский предложил организовать по дороге в Тюмень близ села Ивелева засады вооруженных групп, которые на «всякий случай» могли бы служить подкреплением. Некоторые предложили еще, чтобы вблизи Яковлева и бывш. царя всегда были уральцы, чтобы вовремя принять решительные меры. Также было решено при увозе из Тобольска бывш. царя вместе с Яковлевым направить Заславского, Авдеева и

отряд Бусяцкого, а Хохрякова оставить в Тобольске до выезда остальной части семьи. Комендантом «дома заключения» был выделен Авдеев.

На следующий день приезда в Тобольск Яковлева мы с ним направились в «дом заключения». У ворот дома нас встретил полковник Кобылинский, который был уже осведомлен, кто такой Яковлев, и успел уже с ним накануне еще познакомиться.

Когда мы поднялись с Кобылинским во второй этаж, он попросил нас несколько обождать в передней, а сам пошел доложить бывш. царю. Через минуту-две вернулся и передал, что он просит войти. Мы вошли, и перед нами предстала такая картина: в большом зале б. губернаторского дома, выстроившись чуть не в шеренгу, стоят четыре дочери бывш. царя, сбоку от них сидит его жена Александра Федоровна, а впереди всех стоит Николай. Алексея в этой комнате не было, — он лежал больной.

Взяв руку под козырек, Кобылинский отрекомендовал Яковлева, как уполномоченного ВЦИК по охране семьи бывш. царя.

Николай подошел к Яковлеву и протянул ему руку, и, к нашему изумлению, тот подал ему в свою очередь руку, и они обменялись приветствиями.

Яковлев также поклонился семье, и все дочери, как по команде присели, а Алиса (жена бывш. царя) сделала величественный кивок в нашу сторону.

После краткой беседы Яковлева с Николаем, мы втроем — Яковлев, Кобылинский и Авдеев — отправились осматривать внутренность дома.

Как только мы осмотрели дом, сейчас же были сняты посты охраны и заменены нашими красногвардейцами. При этом получилась очень разительная картина. Происходило это на площадке б. губернаторского дома.

С одной стороны — выстроился взвод саженных красавцев-преображенцев, одетых как один в лучшее обмундирование, во главе с изящным, высокого роста офицером.

С другой стороны — напротив этого взвода — выстроилась наша братва красногвардейцев, одетых как пришлось, во что попало: кто в засаленном полушубке, кто в штатском пальто, кто в старенькой шинельке и т. д. Большинство было в больших старых, серых подшитых валенках.

Вооружение также не было однообразно у нас: у одного аршинный револьвер системы «Лефаше», найденный им где-то в складе и самим им исправленный; у кого пулеметная лента через плечо, а в руках берданка системы «Гра» и т. д. и т. д.

Не приходится уже говорить о ранжире: рядом с саженным Костей Украинцевым—слесарем—обязательно стоял токарь с Злоказовского завода Ваня Крашенинников, ростом чуть ли не до пояса Украинцеву, и раз'единить их было нельзя. Надо было видеть, какое изумление было у полковника Кобылинского, б. коменданта б. царской семьи, при виде нашей охраны. Если бы тогда сфотографировать обе эти охраны, то была бы ценная показательная фотография, — но тогда было не до этого.

В одном вымуштрованном, подобранном по росту, вылощенном отряде было отображение остатков гибнущей без возврата, отжившей царской палкинской армии.

В другом, красногвардейском, отряде были зародыши ныне великой р
волюционной Красной армии, проникнутой сознанием революционных ид
Несмотря на неприглядное, разношерстное наше обмундирование и д
потопное вооружение, видно было, что статные преображенцы стушевыв
ются перед нашими красногвардейцами.

Правда, наш отряд составляли более развитые рабочие-металлисты литейного Злоказовского завода.

Через два дня после приезда Яковлева, Николаю было об'явлено, чт
на следующее утро он должен будет приготовиться к от'езду, а вечеро
этого же дня сообщить, сколько человек с ним поедет и сколько пудо
багажа он хочет взять с собой.

Николай заявил Яковлеву, что он никуда не поедет.

Яковлев пришел к нам в комендантскую и взволнованно сообщил о отказе выезда из Тобольска Николая, так как болен Алексей, и говори
что Николай прав, и, пожалуй, поездку придется отложить.

Видно было, что Яковлев колебался относительно увоза. Видя тако
его настроение, Хохряков еще раз предупредил его, что за последстви
трудно будет поручиться, если вскроются реки. Монархисты безусловно по
пытаются освободить б. царя, а, с другой стороны, рабочие уже волнуютс
что так долго канителятся с палачом, и требуют немедленной эвакуации
надежное место. Выход был один — немедленная эвакуация. Эти соображе
ния тов. Хохрякова заставили задуматься Яковлева. Мы, уральцы, все под
держивали мнение Хохрякова.

Мы советовали Яковлеву об'явить бывш. царю, что, если он не поеде
добровольно, его увезут силой и не позволят никого брать с собой. Яковлев
повидимому, согласился на это и снова отправился к Николаю.

Что там было, как Яковлев уговаривал Николая — неизвестно. Только
вернувшись, он сообщил, что Николай ехать согласился, но с ним поеду
также жена Алиса, дочь Мария и 12 человек слуг, а остальная часть семьи
останется до вскрытия рек, на что Яковлев также уже дал согласие. Мы
были против такого количества слуг, в этом не было надобности, и предло
жили взять 2 слуг и д-ра Е. С. Боткина, и для того, чтобы в Тобольске оста
валось поменьше «высоких особ», не возражали против князя Долгорукова
и графини Гендриковой. Яковлев согласился, и мне было поручено передать
это решение бывш. царю. Николай выслушал меня и сказал: «Как же так
ведь мне дал свое согласие уже сам Яковлев». Я подтвердил ему наше последнее предложение и сказал, что это — твердое решение Яковлева, и
больше никаких уже изменений не будет.

Организационная часть сборов «поезда» и сопровождение было возложено на меня, как коменданта «дома заключения». Выяснив, сколько будет народа и багажа, я разослал во все концы города мобилизовать кошевы (сани сибирские) и дрожки, имея в виду, что санная дорога уже начала портиться и местами снег уже совсем сошел, и в запасе нужно было иметь несколько экипажей на колесах. Была также организована заранее подготовка нашими красногвардейцами по всему тракту лошадей и экипажей. Накануне

от'езда Яковлев собрал общее собрание отряда бывшей охраны, гвардейских солдат, на котором сделал доклад о целях его приезда и об Октябрьском перевороте. Солдаты старой охраны, заранее подготовленные офицерами, выступили на собрании с демагогией против большевиков, с заявлением, что они имеют сведения, что уральцы собираются сделать нападение на бывш. царя и что всем этим руководит Заславский, и требовали, чтобы Заславский явился на собрание. Яковлев их уверял, что уральцы работают теперь под его подчинением, и никакого сепаратного выступления он не допустит. Заславский все же был приглашен на собрание и заявил — если монархисты попытаются освободить бывш. царя, то они встретят в уральцах такое сопротивление, которое отобьет им всякую охоту. Это заявление не понравилось Яковлеву, да и из солдат б. охраны кое-кто начал дебоширить. На этом собрании выделены были 6 человек солдат из б. царской охраны, которые должны были сопровождать царя до места назначения.

Уже поздно вечером через дежурного по караулу мне передали, что Яковлев просит меня немедленно притти к нему в номер гостиницы. В это время я находился в б. губернаторском доме и был занят подготовкой к от'езду бывш. царя и его семьи. Когда я пришел к Яковлеву, он попросил меня рассказать, что у нас было за совещание и какие мы вынесли решения. Я сказал, что никакого совещания не было, была частная беседа и решений быть никаких не могло. Тогда Яковлев сообщил мне, что уже отдал приказ об аресте Заславского и его друзей. Я сказал, что он напрасно это делает, так как его информировали неправильно. Но раздумывать об этом долго было некогда. Надо было спешно исполнять возложенные на меня поручения по вывозу царя. Отпуская меня, Яковлев заявил, что он мне вполне доверяет и прочее. Обо всем этом я постарался скорее рассказать Хохрякову.

Почему не был арестован Заславский этой же ночью — не знаю, но на утро, в 4 часа, когда уже подавались подводы для снаряжавшегося поезда, Яковлев дал мне распоряжение, как только я встречу Заславского, немедленно его арестовать и препроводить к нему, также должен этот приказ передать постовым отрядам по дороге и на станциях. Этого распоряжения я не передал никому и, кроме того, предупредил через Хохрякова Заславского.

Отъезд бывшего царя из Тобольска.

26 апреля 1918 года, в 4 часа утра, к дому б. губернатора, в котором содержался бывш. царь со своей семьей и его приближенными придворными и служащими, было подано одиннадцать троек и пять пар лошадей для семьи и охраны.

Все сборы шли гладко до тех пор, пока Алиса начала требовать трех слуг, но не двух. Места в повозках были строго рассчитаны. Яковлев согласился исполнить ее требование и стал настаивать, чтобы мы где-нибудь поместили третьего слугу. Пришлось вновь делать некоторые перемещения. Кроме того, багажа оказалось больше того, чем было заявлено. Пришлось доставить еще одну повозку, на это ушло еще около часа, и, вместо пред-

полагавшихся 5 часов утра, выехали в 6 часов. Уже когда нужно трогаться опять была небольшая задержка из-за Алисы, которая желала ехать в одном экипаже с Николаем, а ее поместили с дочерью. С Николаем рядом поместился в экипаже Яковлев. Я ехал верхом возле Яковлева на случай передачи распоряжений по цепи.

Помимо красногвардейской пехоты, разместившейся с тремя пулеметами на экипажах, впереди и сзади ехала кавалерия под командой тов. Зенцова. Кроме того, впереди шла на конях разведка из 6 человек красногвардейцев.

Из заключенных ехали Николай Романов, его жена Александра, дочь Мария, князь Долгоруков, графиня Гендрикова, граф Татищев, фрейлина Демидова, доктор Е. С. Боткин, слуги Трупп, Седнев и Чумадуров.

Дорогой часто приходилось менять сани на телеги и наоборот, так как в ложбинах лежал еще снег, а местами была голая земля. От'ехав 90 верст от Тобольска, мы остановились перепрячь лошадей и выпить чаю.

В дороге, у села Ивелева, произошло небольшое препятствие при переезде через реку. Вода шла по реке сверх льда, и Александра Федоровна отказалась переезжать через воду. Остановились, принесли досок из села и устроили кладки, по которым перешла она, придерживаемая д-ром Боткиным, и дочь Мария; Долгоруков их также сопровождал через кладки. Николай же переехал на тележке.

Александра всю дорогу была мрачна и ни с кем не разговаривала; в противоположность ей, Николай всю дорогу разговаривал с Яковлевым и окружающими его. Обратился и ко мне с вопросом, сколько лет я служу в кавалерии, я ему сказал, что не служил ни одного дня, после чего он посмотрел недоверчиво на меня, и я ему об'яснил, что с детства научился ездить верхом в киргизских степях.

Иногда он обращался к ямщику и просил дать ему поправить лошадьми, но тот отказывал ему, говоря, что кони бешеные и он не справится. Кони и действительно были сибирские, горячие.

В двое суток, в самую распутицу, на лошадях, мы оставили за собой 260 верст и прибыли в Тюмень 28 апреля.

Нетерпимое отношение рабочих к бывш. царской семье сквозило везде, и если они ни разу не учинили над ними самосуда, как над кровопийцами, погубившими особенно в последнюю войну во многих семьях отцов, сыновей и братьев, то удерживало их от этого, с одной стороны, ожидание всенародного суда революционного трибунала, с другой — внутренняя дисциплина среди большевиков, не допускавших никаких незаконных вмешательств в жизнь арестованных.

Что касается крестьянского населения Тобольской губернии, то оно к пребыванию бывш. царя в Тобольске относилось безразлично, если не считать простого обывательского любопытства, которое часто проявляется ко всякому новому лицу, а тут ведь сам «царь-батюшка» налицо.

Иногда проходившие мимо дома задерживались, стараясь заговорить с постовыми, узнать хоть немного об интимной жизни, заглянуть в окно или сад.

Во время перевода Николая Романова из Тобольска в Тюмень на лошадях население знало, что везут бывш. царя, хотя мы и старались скрыть это. При проезде через деревни и села, все крыши домов, заборы плотно были усеяны народом. Но вопросы из народа были больше или выражающие любопытство, или злорадство, так, например: «Что, доцарствовал?», «Саша, а где твой Гриша?» и т. п. можно было слышать чуть ли не в каждой деревне.

В селе Покровском, где жил Распутин и где мы ожидали встретить особое сочувствие к бывш. царю от населения, которому перепадали через Распутина «царские милости», раздавались выражения: «А что, навоевался, субчик?» и т. д.

Когда проезжали мимо самого лучшего дома в Покровском, принадлежавшем Григорию Распутину, построенному на царские деньги, Александра Федоровна крестила собравшихся у ворот этого дома крестьян. Из группы крестьян раздались насмешливые выкрики и громкий смех, после чего она потупилась и не поднимала головы, пока не выехали за село.

В Покровском стоянки мы не делали, да, к нашему удивлению, об этом и не просили нас Романовы.

Еще в Тобольске, из переговоров по прямому проводу с Екатеринбургом, мы знали, что у Яковлева имеется директива от ВЦИК о том, чтобы Николай Романов был доставлен именно в Екатеринбург, это подтверждал нам лично и сам Яковлев.

По приезде в Тюмень все сопровождаемые нами пассажиры и их багаж были размещены в приготовленный заранее, по телеграфному распоряжению за подписью Яковлева, поезд, состоящий из 6 вагонов.

При размещении вся царская семья заняла отдельный вагон, причем в среднем купэ этого вагона поместились мы с Яковлевым, справа от нас — купэ Николая, слева — Алисы с дочерью. Крайнее купэ занимал начальник караула, посты стояли на площадках и в коридоре вагона.

Надо заметить, что в караул вошли исключительно люди, прибывшие с Яковлевым.

Как только мы уселись в поезд и караул был уже расставлен, Яковлев ушел к прямому проводу на телеграф. Это навело меня на подозрение, что здесь что-то не чисто. Я пытался пройти из вагона на вокзал выяснить в чем дело, но часовые меня не выпустили.

Несколько минут я просидел в вагоне, обдумывая, что предпринять, и услышал шум на площадке — часовые с кем-то перебранивались. Я поспешил выйти на площадку вагона и увидел нашего рабочего с Злоказовского завода, красногвардейца Ивана Логинова. Он пробивался ко мне в вагон, а часовые не пускали. Подошел начальник караула. Воспользовавшись моментом, Логинов подошел к площадке вагона, и я ему сообщил, чтобы он после отхода нашего поезда сообщил в Уральский совет о времени отхода и на-

правлении нашего поезда. Услыхав мое сообщение Логинову, начальник караула начал требовать, чтобы я вошел в вагон, а Логинова просил удалиться от вагона.

Через несколько минут вошел Яковлев, и поезд тронулся, только не по направлению к Екатеринбургу, а, как я и предполагал, к Омску. Я спрашиваю Яковлева: «Почему поезд пошел не в Екатеринбург, или ВЦИК дал новую директиву?». Мой вопрос остался без ответа. Но вслед за этим Яковлев пригласил меня в купэ, где помещался начальник караула, и, закрыв дверь, заявил, примерно, следующее: «Достоверно известно, что уральцы готовили взрыв поезда, поэтому я вынужден ехать в другую сторону. Вы же должны рассказать мне все, что знаете о подготовке этого взрыва, так как причастность ваша к этому делу несомненна». Я стал доказывать ему, что это ложь, никакого смысла взрывать поезд нет, раз царь будет привезен в Екатеринбург, столицу Урала. Тогда Яковлев дает мне полчаса на размышление и заявляет: если я не сознаюсь во всем, то ему придется прибегнуть к крайней мере, использовав данные ему полномочия от ВЦИК по отношению к лицам, которые препятствуют выполнению возложенных на него задач. Сказав, что зайдет через полчаса, вышел из купэ.

В ожидании возвращения Яковлева прошло полчаса, а казалось — прошла вечность.

Протестуя против действия Яковлева, я заявил ему, что на пути к Омску он скорее всего вместе с поездом может взлететь на воздух, чем по пути к Екатеринбургу, и что в том у меня нет сомнения. Яковлев удивленно спрашивает, откуда у меня эти сведения. Я говорю, что сами действия Яковлева говорят за то.

На остановке поезда Яковлеву сообщили телеграмму, присланную Уральским областным исполкомом, которой Яковлев об'являлся вне закона и которой предписывалось всем советским органам задерживать его или же взорвать поезд.

С этой телеграммой Яковлев в сильно возбужденном состоянии вбежал ко мне и стал кричать, что все там с ума сошли. Эта телеграмма разрушила все планы Яковлева.

Вместе с тем, эта телеграмма резко изменила отношения Яковлева ко мне. Он начал советоваться со мной, как теперь быть, так как на каждой станции может быть приготовлена соответствующая «встреча». Уверял меня, что увоз бывш. царя по направлению к Омску означал только лишь гарантию полного выполнения возложенной на него директивы. Он хотел его вначале увезти на Южный Урал, а затем уже сговориться с центром.

Не доехав одной остановки до Омска, мы остановились на ст. Куломзино, где Яковлев, отцепив паровоз, отправился на нем в Омск для переговоров с Москвой по прямому проводу, поручив охрану поезда мне и Гузакову.

Было только два часа утра и еще темно, но все арестованные не спали. Николай несколько раз пытался со мной заговорить, но я всячески уклонялся от разговора с ним.

Те два-три часа, которые нам пришлось провести на ст. Куломзино в ожидании Яковлева, показались целой вечностью.

Наконец, вернулся Яковлев и сообщил, что он говорил по прямому проводу с Як. Мих. Свердловым, и что нужно возвращаться в обратный путь.

Вернулись. По пути следования в Екатеринбург Яковлев старался загладить дело и был ко мне особенно любезен.

Приезд в Екатеринбург и передача бывшего царя Уральскому совету.

Поезд наш был остановлен на товарной станции Екатеринбург 3-й, не доезжая 2 верст до главного вокзала. Нас уже ожидали там тт. Белобородов, Голощекин и Дидковский — руководители Уральского совета. Вся территория станции была оцеплена кордоном красногвардейцев.

Тов. Белобородов об'явил нам, что отсюда высадятся и поедут на автомобиле Николай, его жена и дочь, а остальные спутники и охрана, а также и багаж последуют до главного вокзала, где и сойдут все остальные и выгрузят багаж. Это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание публики, ожидавшей на главном вокзале.

Все арестованные уже были одеты и готовы к выходу из вагона.

Передав Яковлеву расписку о принятии им бывш. царя, Белобородов пригласил Николая сесть в один из автомобилей, в который сел с ним сам и рядом усадил меня. На втором же автомобиле ехали Александра Федоровна, дочь Мария, тт. Голощекин и Дидковский. По дороге тов. Белобородов мне сказал, что постановлением областного исполкома я назначен комендантом «дома особого назначения», т. е. того дома, где будет содержаться арестованной царская семья.

Автомобили остановились у углового дома на Вознесенском проспекте, принадлежавшего инженеру Ипатьеву. К дому примыкали довольно большой разросшийся сад, занимавший примерно площадь в полдесятины, надворные постройки, дворы, конюшни, каретник, бывшие складочные помещения и пр.

Дом был каменный, двухэтажный, но нижний полуподвальный был приспособлен для кухни и кладовок. В нем же имелась цементная кладовая, в которой впоследствии был казнен Николай Романов.

Остальные все под'ехали с главного вокзала, из них в дом были допущены двое слуг, фрейлина Демидова и доктор Боткин.

У дома уже был поставлен караул.

Когда все прошли в дом, тов. Белобородов об'явил бывш. царю, что, по постановлению ВЦИК, Николай Романов и его семья будут находиться в Екатеринбурге, в ведении Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов впредь до суда, а комендантом дома назначен Авдеев.

Если будут какие просьбы или жалобы — обращаться через коменданта Уральский областной исполком.

О внутреннем распорядке для арестованных будет об'явлено такж через коменданта. А теперь они могут занимать весь второй этаж дом и располагаться по своему усмотрению, оставив только одну комнату дл коменданта.

Если в Тобольске не хватало для помещения бывш. царской семь больших 18 комнат в губернаторском доме, а нужно было еще занимат противоположный дом в два этажа, то по приезде в Екатеринбург, пр некотором сокращении штата прислужников, бывш. царская семья был размещена в 5 комнатах, — правда, довольно просторных и хорошо об ставленных, но уже без того комфорта, которым они располагали в То больске. Шестая комната была отведена под комендантскую, а седьмая - под кухню. Внутреннее расположение и убранство «дома заключения» Екатеринбурге совсем не походило на тюремную обстановку, но не был конечно, той роскоши, что была в Тобольске. Так, комната, где поме щался Николай с женой, имела две кровати, одну кушетку, письменны стол, два маленьких стола, три стула, шкаф для платья и белья, умы вальник, драпировки на окнах, ковер на полу, — так, примерно, были об ставлены и другие комнаты.

После того, как Романовы были размещены и заявили тов. Белобо родову, что у них никаких к нему заявлений и вопросов нет, — он выше из дома. Остались мы с Дидковским в доме и произвели осмотр вещей взятых им и его спутниками из Тобольска, так как при выезде из То больска осмотра не производилось, для чего предложено было привезенны чемоданы оставить в коридоре. Когда мы предложили пред'явить для осмо тра ручные саквояжи, Александра Федоровна начала протестовать н ломаном русском языке, — оказывается, бывш. царица русская и говорить то по-русски не умела. И доктор Боткин об'яснил нам ее протест. Она кричала «истефательство...», «хосподин Керенский... и еще что-то. По об'яснениям Боткина, это значило, что она указывала на Керенского, ка на образец вежливости, а наш осмотр считала издевательством. Никола Романов молчал. Мы пригласили его присутствовать при осмотре, хотя о пытался заменить себя д-ром Боткиным. При осмотре саквояжа Алексан дры Федоровны она сама пожелала присутствовать, и как раз оказалось что в ее саквояже заложены под всякими принадлежностями туалета и косметики фотографический карманный аппарат и подробная точна карта Екатеринбурга. С фотографическим аппаратом она никак не хо тела расстаться. Тут она что-то говорила по-английски, повидимому, не совсем лестное для нас, так как д-р Боткин перестал даже нам пере водить.

После осмотра вещей был составлен акт, и приехавшим с бывш. ца рем в дом особого назначения лицам предложено было разместиться по комнатам. Весь багаж был помещен в кладовые и ключи переданы Ро манову.

Хотя багаж бывш. царя и был весь привезен из Тобольска и находился в кладовых екатеринбургского дома и ключи были переданы Романовым, но пользоваться этим багажом им было чрезвычайно трудно. Всех ключей было около 20 фунтов от всевозможных чемоданов, чемоданчиков, саквояжей и т. п. Раньше чуть ли не по слуге у каждого чемодана было; так, шляпками ведал один слуга, ботинками — другой, бельем — третий, верхним платьем — четвертый и т. д. и т. д.

И никто из владельцев этих бесчисленных чемоданов никогда не прикасался к ним. Получалось так, что когда нужно было достать белье или верхнее платье и начинали копаться в чемоданах, то попадалось как раз не то, что ищут: то обувь, то чемодан с трубками, то еще с чем-нибудь, но никак не то, что нужно. Правда, на ключах были номера, соответствующие чемоданам, но их опять было по несколько серий с соответствующими инициалами. Приходилось целую кучу чемоданов не только открывать и закрывать, но и переворачивать с места на место, и на эту работу иногда требовалось несколько часов. Больше всего это делали все дочери Романова, фрейлина Демидова и повар Харитонов, конечно, под наблюдением нашей охраны.

При таких поисках однажды был обнаружен целый чемодан холодного оружия: сабли, кинжалы, несколько полевых биноклей, что и было сдано в областной исполком.

Как курьез отмечу, что, однажды отыскивая что-то необходимое в чемоданах, открыли один чемодан, наполненный до верху стэками и тростями, другой — трубками для курения табака.

Остальные [1]), приехавшие из Тобольска вместе с бывш. царем, поступили в распоряжение местной чрезвычайной комиссии.

Доклад Яковлева в Уральском областном исполкоме.

Вечером 30 апреля, как только мы приехали, было заседание Уральского областного исполкома под председательством тов. Белобородова, на котором был заслушан доклад Яковлева и содоклад Авдеева. В докладе Яковлев старался себя оправдать и всю вину свалить на партизанские действия уральцев, ссылаясь, что он был информирован Бусяцким о якобы подготовлявшемся покушении со стороны уральцев. Говорил, что у него не было другого намерения, кроме как сохранить бывш. царя по директиве ВЦИК, ссылаясь на меня, как очевидца всех его стремлений.

В своем содокладе я рассказал все, что Яковлев хотел затуманить. Я также доложил о том, какое отрицательное и недоверчивое отношение Яковлева было за все время к Хохрякову и уральским рабочим и почти полное доверие к полковнику Кобылинскому и к старой охране бывш. царя.

Дальше я доложил о попытке Яковлева заставить меня дать письменное подтверждение о якобы готовящемся нападении со стороны ураль-

---

[1]) В доме были размещены: Н. Романов, его жена Александра, дочь Мария, слуги Седнев, Демидова и Трупп.

цев на поезд. После коротких прений, в которых единодушно указывалос на недопустимое поведение Яковлева, была принята резолюция, котора гласила, что миссия Яковлева после этого доклада считается оконченной О всех же его действиях, как представителя правительства, сообщить і президиум ВЦИК.

Прибывшую же с Яковлевым охрану, бывших преображенцев, разо ружить.

Так закончилась перевозка из Тобольска и передача бывш. цар: Уральскому областному исполкому.

Наши, уральцев, подозрения в том, что Яковлев не может быть п своим поступкам подлинным революционером — оправдались. Впоследстви на восточном фронте Яковлев перешел к белым.

Пребывание бывшего царя в Екатеринбурге (ныне Свердловск).

Бывш. царь, да и вся его семья, очевидно, сразу же по приезде і Екатеринбург почувствовали, что только именно тут они перешли в рук революционных рабочих.

Когда они находились в Тобольске, все окружающие их, в том числ и комендант бывш. царя Кобылинский, еще продолжали величать их «ваш величество».

Как только их привезли в Екатеринбург, фальшивые титуловани были отменены, и предложено было как прислуге, так и лицам, окружаю щим бывш. царя и его семью, обращаться к ним по имени и отчеству Эта с нашей стороны мелкая формальность сильно покоробила их, осс бенно Александру Федоровну, которая обратилась ко мне с вопросом «Почему же до сих пор никто не отменял титулование?».

Я ей ответил, что они только теперь именно переданы в руки дей ствительных революционеров. Октябрьская же революция отменила ка ношение всяких погон, так и фальшивые титулования.

Далее последовало второе мероприятие: бывш. царю, его семье приближенным не позволили дальше жить по-царски, упразднили шта прислуг — из 45 оставили 3, имея в виду, что все заключенные могли о ходиться и без посторонней помощи. Это «сокращение штата» вызва целую бурю негодования, и опять же больше всего со стороны Александр Федоровны.

Бывший царь сам приходил в комендантскую и торговался насч «увеличения штата» по каждой единице «мирным путем».

В противовес ему Александра Федоровна кричала при моем появл нии в комнатах и требовала увеличения прислуги, обращаясь все время п английски в сторону Боткина, который должен был переводить, но докто будучи между двух огней, побледневший, повторял мне только одно, ч Александра Федоровна протестует и требует к себе председателя облас ного исполкома и свой протест требует передать в Москву.

цев на поезд. После коротких прений, в которых единодушно указывалось на недопустимое поведение Яковлева, была принята резолюция, которая гласила, что миссия Яковлева после этого доклада считается оконченной. О всех же его действиях, как представителя правительства, сообщить в президиум ВЦИК.

Прибывшую же с Яковлевым охрану, бывших преображенцев, разоружить.

Так закончилась перевозка из Тобольска и передача бывш. царя Уральскому областному исполкому.

Наши, уральцев, подозрения в том, что Яковлев не может быть по своим поступкам подлинным революционером — оправдались. Впоследствии на восточном фронте Яковлев перешел к белым.

Пребывание бывшего царя в Екатеринбурге (ныне Свердловск).

Бывш. царь, да и вся его семья, очевидно, сразу же по приезде в Екатеринбург почувствовали, что только именно тут они перешли в руки революционных рабочих.

Когда они находились в Тобольске, все окружающие их, в том числе и комендант бывш. царя Кобылинский, еще продолжали величать их «ваше величество».

Как только их привезли в Екатеринбург, фальшивые титулования были отменены, и предложено было как прислуге, так и лицам, окружающим бывш. царя и его семью, обращаться к ним по имени и отчеству. Эта с нашей стороны мелкая формальность сильно покоробила их, особенно Александру Федоровну, которая обратилась ко мне с вопросом: «Почему же до сих пор никто не отменял титулование?».

Я ей ответил, что они только теперь именно переданы в руки действительных революционеров. Октябрьская же революция отменила как ношение всяких погон, так и фальшивые титулования.

Далее последовало второе мероприятие: бывш. царю, его семье и приближенным не позволили дальше жить по-царски, упразднили штат прислуг — из 45 оставили 3, имея в виду, что все заключенные могли обходиться и без посторонней помощи. Это «сокращение штата» вызвало целую бурю негодования, и опять же больше всего со стороны Александры Федоровны.

Бывший царь сам приходил в комендантскую и торговался насчет «увеличения штата» по каждой единице «мирным путем».

В противовес ему Александра Федоровна кричала при моем появлении в комнатах и требовала увеличения прислуги, обращаясь все время по-английски в сторону Боткина, который должен был переводить, но доктор, будучи между двух огней, побледневший, повторял мне только одно, что Александра Федоровна протестует и требует к себе председателя областного исполкома и свой протест требует передать в Москву.

передать ее протест тов. Белобородову и просил передать
е сам тов. Белобородов, то сюда придет представитель
істного исполкома, которому она и может пожаловаться.
го сообщения в исполком о всем происшедшем, к нам
езидиума тов. П. Л. Войков, чтобы выслушать жалобы Але-
овны.

ая, повидимому, что Войков не знает английского языка,
оровна при его появлении начала кричать, топать ногами
д-ра Боткина, пятившегося от ее наступления; все ее крики
ы, конечно, по нашему адресу.

йков быстро остановил ее и спокойным тоном попросил д-ра
ть бывш. царице, чтобы она не забывала, что она находится
была бы в выражениях более корректна, излагала бы ко-
жалобы и не задерживала его, так как он очень занятый
очет слушать ее истерические крики.

ого д-р Боткин приступил к изложению ее жалобы, которая
том, чтобы были возвращены все ее слуги и во всяком
е меньше 30 человек и, если областной исполком не удо-
просьбу, она просит передать ее жалобу в Москву Ленину.
казал, что слуг им больше не прибавят, потому что в этом
, а жалобу, если она желает, он может передать в Москву,—
она изложит в письменной форме. На этом и кончился ин-

ворилось, что часть семьи бывш. царя была оставлена в То-
чиной тому послужила болезнь Алексея, а также невоз-
ги столько подвод, чтобы везти всю семью и багаж на ло-
рст, притом в самую распутицу.

мая прибыли дочери: Татьяна, Ольга и Анастасия и сын
ии же пришел и «необходимый ручной багаж», составлявший
не два американских вагона.

ть семьи сопровождал тов. Хохряков, который оставался в
сле нашего от'езда.

с указанными выше членами семьи в дом были допущены:
нов, его помощник — мальчик поваренок, слуги: Седнев и
есколько дней матрос Нагорный (дядька Алексея).

зда из Тобольска повара обеды и ужины для заключенных
з советской столовой по составленному ими самими меню.
отовили Демидова и дочери в имевшейся при доме кухне.

бывшего царя и его семьи в Екатеринбурге.

рабочие организации высказывались за то, что бывш. царя
ледует поместить в самую обыкновенную, царскую же, тюрь-
ский областной исполком обсудил этот вопрос и пришел к

заключению, что гораздо удобнее предотвратить всякие попытки побега, содержа его совершенно изолированно. Поэтому-то и был избран дом-особняк, расположенный почти в самом центре города, в таком месте, что оборона его от внешнего наступления была благоприятна во всех отношениях.

Вскоре был разработан внутренний распорядок для арестованных, а также окончательно установлены посты охраны.

Вокруг наружных стен дома, выходящих на улицу, был сооружен тесовый забор, довольно высокий, закрывавший окна дома. Остальная часть дома была достаточно защищена от внешнего мира надворными постройками и садом.

Охрану составляли исключительно рабочие, преимущественно металлисты с Злоказовского и Сысертского заводов и на 80% члены партии.

Сразу после того, как семья Романовых была помещена в Екатеринбурге, на нас стали напирать по двум направлениям. Первое — со стороны анархистов, которые требовали немедленной казни бывш. царя и требовали выдать его им для расправы. Второе — черносотенцы старались всякими путями завязать связь с охраной. Напор со стороны черносотенцев был, главным образом, на семьи рабочих, дежуривших в охране. В первую же неделю поэтому пришлось заменить тридцать человек, недостаточно выдержанных, недостаточно надежных. Со стороны арестованных также начались попытки сближения с охраной. Было несколько случаев, когда ко внутренней охране подходила одна из дочерей бывш. царя, чаще Татьяна и Мария, и начинали разговор с часовыми, расспрашивали, откуда они, давно ли служат и т. д.

Того, кто вступал в разговор, снимали и отсылали из охраны на завод.

Местный женский монастырь обратился с ходатайством о том, чтобы доставлять продукты для семьи Романовых.

После обсуждения в областном исполкоме было решено разрешить им это делать, чтобы проследить за намерениями черносотенцев и учинить строгое наблюдение за доставляемым.

Было видно, что через монастырь хотят иметь связь монархические организации. В дальнейшем это предположение и оправдалось. При передаче сливок, в пробке бутылки был обнаружен кусок пергамента, где было написано по-английски, что все приготовлено для их спасения и ожидают их согласия, — подпись офицер. Эта бумажка была мной доставлена тов. Голощекину, и, после снятия с нее копии, она была вложена обратно в пробку и передана по назначению. Через 2—3 дня таким же порядком последовал ответ Николая, что они готовы, при условии без риска.

После этого «офицер» был арестован; он оказался офицером австрийской армии Магич. Кроме того в монастыре было обнаружено пребывание сестры Александры Федоровны — Елизаветы Федоровны. Вблизи дома стали часто появляться подозрительные личности с фотографическими аппаратами. Один бывш. офицер пытался проникнуть во внутренность дома с подложным разрешением облсовета.

Для всего этого требовалась непрестанная бдительность охраны и ее соответствующий подбор. Если же принять во внимание, что большинство рабочих не умело владеть оружием, то можно себе представить трудность нашего положения.

Рабочим приходилось сменяться с поста и тут же обучаться — после смены — стрельбе.

Были случаи, что стоят люди у пулемета, а стрелять не умеют из него, и часто делали так: ставили к пулемету на пост и тут показывали, как надо стрелять и обращаться с пулеметом. Да всю трудность обстановки и представить невозможно!

Первые две-три недели еще были затруднения с арестованными в смысле стирки белья. Привыкли они менять белье ежедневно, и надо было всю эту массу белья тщательно просмотреть, прежде чем сдать прачкам; при возвращении его — та же история. Для этого не было ни времени, ни людей, а следить за каждой мелочью приходилось очень напряженно.

Согласовали мы этот вопрос с тов. Белобородовым и предложили заняться этим делом, т. е. стиркой белья, самим дочерям бывш. царя совместно с Демидовой, да и на кухне дома удобно было отгородить помещение для прачечной. А делать-то им было нечего, — не мешало немножко и поучиться работе хотя бы на себя.

Вначале Александра Федоровна, как всегда, протестовала, требовала, чтобы пропускали прачку, но так как соответствующего человека не было найдено — ей категорически отказали. После этого бывш. великие княжны обратились ко мне, чтобы им достать печатную инструкцию по стирке белья. Конечно, книжки, как стирать белье, нам негде было достать, и мы были в затруднении, но нас выручил один старик кузнец с фабрики Злоказова тов. Андреев — он вызвался проинструктировать их. И действительно, после оборудования прачечной, тов. Андреев оказался хорошим преподавателем, и дело со стиркой наладилось с тем лишь только, что менять белье они стали гораздо реже.

Распорядок дня у арестованных был таков: вставали в 9 часов утра и в 10 часов пили чай, после окончания которого производилась проверка, состоявшая в том, что комендант обходил комнаты, проверяя наличность заключенных.

На прогулку им полагалось 2 часа, причем они могли пользоваться им по своему усмотрению, — иногда они гуляли по часу утром и до обеда. Завтрак был в 1 час дня и в 4—5 часов обед, в 7 часов чай, в 9 часов ужин. В 11 часов ложились спать. Между едой бывш. царь иногда читал Алексея Толстого, играл с дочерьми в карты, или же беспрерывно ходил по столовой, напевая вполголоса военные марши и солдатские песни.

По его виду никогда нельзя было сказать, что он арестован, так непринужденно весело он себя держал. С красной толстой шеей, с красным носом, он напоминал скорее мясника, спекулянта, с ограниченным кругозором, чем бывшего главу государства. Д-р Боткин говорил, что Николай Александрович никогда таким полным не был, как во время своего заклю-

чения. Человек он был недалекий, и вот случай, приблизительно рисующий его. Вся корреспонденция, исходящая от заключенных, должна была писаться на русском языке и в незапечатанных конвертах передаваться коменданту, который уже передавал ее в областной исполком.

И вот, однажды, при просмотре писем было обращено внимание на одно письмо, адресованное Николаю Николаевичу. При тщательном просмотре между подкладкой конверта и бумагой самого конверта был обнаружен листок тонкой бумаги, на котором был нанесен точный план дома, где содержались заключенные, с масштабом и пр. Все комнаты были обозначены с указанием, кто в них помещается. Подписи были сделаны так, что нетрудно было догадаться о составителе плана, написано было так: «комендантская», «моя и жены», «детей», «столовая» и пр. Был вызван составитель этого плана в комендантскую. До этого бывш. царя ни разу не приглашали в комендантскую, а все повседневные мелкие вопросы проводились через д-ра Боткина, который сам заходил в комендантскую, или приходил к нему комендант. Поэтому вызов Николая в комендантскую произвел волнение среди населения дома. Позвать Николая направился тов. Украинцев, который приходит и говорит, что д-р Боткин просит разрешения присутствовать при разговоре коменданта с Николаем Александровичем. Когда ему было отказано в этом, Николай все же явился с одной из дочерей — Марией. От стула, предложенного ему, он отказался. Спрашиваю, не знает ли он, что в одном из писем их вчерашней корреспонденции был спрятан под подкладку конверта план дома? Ответил, что не знает, может быть кто-нибудь из детей это сделал, — он разузнает. Когда же я ему показал самый план, написанный им собственноручно, то он замялся, как школьник, и говорит, что он не знал, что нельзя посылать плана. На запрос, почему же тогда его запрятали под подкладку конверта, он как ребенок начал просить, чтоб его извинили на первый раз и что больше таких вещей он делать не будет. И тут же спрашивает: а вы все-таки пошлете этот листок с письмом или оставите его? Вопрос был настолько наивен, что его мог задать человек или с перепугу, потерявший ум, или совершенно не имевший его от рождения.

После переговоров с тов. Белобородовым я получил директиву предупредить Николая, если он еще будет заниматься такими художествами, то будет переведен в местную тюрьму в одиночную камеру.

После этого случая бывш. царь начинает меня называть по имени и отчеству и во время прогулок, когда нет Александры Федоровны, пробует со мной заговорить.

Надо сказать, что своей жены он боялся пуще чорта. Ругала она его, не стесняясь нашего присутствия и дома, и на прогулке; жаль только, что на английском языке, которого никто из нас почти не понимал, а то было бы порядочное развлечение для окружающих.

В ее отсутствие поведение его резко менялось: он заговаривал и задавал вопросы окружающим, бегал по двору с дочерьми, часто марши-

ровал с ними и держал себя проще, естественней, что замечали все дежурившие рабочие. Появление же Алисы резко меняло его поведение.

Видно было, что по всем вопросам решающее слово принадлежит ей. Да он, кажется, и сам не скрывал своей бесхарактерности.

Припоминаю некоторые из неоднократных моих разговоров с ним.

Так, однажды, он задал вопрос о том, кто такие большевики. Я указал ему, что пять большевиков-депутатов II Государственной думы были им сосланы в Сибирь, так что он должен знать, что за люди большевики, на что он ответил, что это делали его министры часто без его ведома.

Тогда я спросил его, как же он не знал, что делали министры, когда 9 января 1905 года расстреливали рабочих перед его дворцом, перед его глазами.

Он обратился ко мне по имени и отчеству и сказал: «Вот вы не поверите, может быть, а я эту историю узнал только уже после подавления восстания питерских рабочих».

Я ему ответил, что этому, конечно, не только я, — не поверит ни один мальчишка из рабочей семьи.

Он много расспрашивал о приисках и рудниках Сибири.

Несмотря на его простоватость, видно было, что бывш. царь зондирует почву, изучает, кто его окружает.

Как-то во время прогулки Николай спросил стоявшего на посту рабочего Фомина, почему на солдатах нет определенной форменной одежды? (Почти вся охрана ходила в штатском.)

Тов. Фомин ответил: «Не во что одеться, — провоевали вы одежду, нам не осталось».

В белогвардейской печати говорится, что бывш. царь, будучи в заключении, много читал, но наши наблюдения за три месяца показали обратное. В доме, где помещался Николай, была довольно большая библиотека после владельца дома. Но не замечалось, чтобы Николай проявил к книгам какой-нибудь признак интереса. Единственная книга, которую можно было видеть у него — это «Дом Романовых», изданная к 300-летию дома Романовых, которую он перелистывал, рассматривая своих предков.

В отличие от своего мужа Александра Федоровна не сидела без дела. Она или вязала, или вышивала что-либо, часто сидела за чтением книг, но эти книги были все вроде жития святых.

Про дочерей можно сказать, что они походили на отца своим времяпрепровождением: или сидели за картами, или пели песни, но все же изредка пользовались книгами из библиотеки.

Однажды Алексей услыхал, как красногвардейцы поют «Вы жертвою пали... Я в то время разговаривал с Боткиным; Алексей спрашивает меня, знаю ли я эту песню, и, получив утвердительный ответ, попросил написать ему, так как ему очень понравился мотив.

Я об'яснил ему, что это революционная песня; присутствовавшая здесь же Татьяна начала говорить что-то Алексею по-английски.

Затем Алексей вновь обращается ко мне с вопросом: «А что, эта песня цензурная, в ней нет нехороших слов?» Об'яснив ему, что эта песня очень хорошая и нехороших слов в ней нет, — пообещал дать ему эту песню.

Вскоре сборник революционных песен был в руках Алексея, но пользоваться им ему, кажется, не пришлось, так как, когда я спросил через несколько времени, читает ли он песни, то получил ответ, что песни читает мама. Было ясно, что сборник мой угодил в камин.

Новые попытки заключенных к сношению с внешним миром.

Дом особого назначения, как говорилось выше, был обнесен тесовым забором, который все же неполностью закрывал угловое окно дома, выходящее на Вознесенский проспект. В верхней части окна помещалась форточка, которая закрывалась и открывалась по усмотрению живущих в доме. В этой комнате помещался бывший царь с женой. И вот примерно в июне месяце часовые, стоявшие у угла между забором и домом, обнаружили, что по утрам чаще всего стала высовываться в форточку голова одной из дочерей, и сколько часовой ни предупреждал, — ничего не помогает.

После вечернего обхода дома, я предупредил всех живущих, что, если кто еще будет высовываться, трудно поручиться, чтобы не произошло что-либо более худшее, чем они ожидают, так как часовой, после двукратного предупреждения, может стрелять в неповинующегося его требованию. Девицы чуть ли не в один голос заявили, что этого больше не будет...

Прошла неделя, — голова в форточке вновь появилась, и появления стали чуть ли не ежедневными между 7 и 9 утра, т. е. до утреннего чая, до поверки дома. С улицы в это же время заметили прохаживающегося взад и вперед перед домом какого-то гимназиста, оказавшегося впоследствии сыном одного арестованного купца.

Пришлось усилить наблюдения и за улицей.

Часовым был отдан приказ, как только еще раз появится в окне рука или голова, дать выстрел предупредительный в воздух. И вот, однажды, раздался выстрел. Поняв в чем дело, бросаюсь в комнаты. Отворив дверь угловой комнаты, застаю такую картину: Николай лежит на полу вниз лицом; за кроватью, возле ночного столика присела его жена, возле окна на полу полулежали Мария и Татьяна. Когда я спросил, не ранен ли кто-нибудь, тогда первым вскочил Николай, а за ним поднялись остальные. Первой начала говорить Алиса — почему стреляют, это «песобрасие» и т. п.

На окне увидел небольшой лук, — подошел и взял его. Татьяна сейчас же начала говорить, что этот лук принадлежит Алексею. Стрелы к этому луку не имелось...

Говорю Алисе, что виноваты в выстреле они сами, но хорошо, что они так дешево отделались — одним испугом. При обследовании окна оказалось, что пуля попала в верхний наличник окна и засела в штукатурке стены.

После этого история с окном прекратилась.

Отношение рабочих к бывшему царю.

Вся охрана бывш. царя, поставленная большевиками, состояла, как сказано выше, исключительно из рабочих и преимущественно из металлистов.

Первой заботой охраны, а также всех рабочих завода, было — не сбежал бы царь от революционного суда.

Когда кто-либо из охраны появлялся на заводе, рабочие всегда встречали предупреждением: «Смотрите хорошенько, не прозевайте Николая, а то и на завод к нам не показывайтесь». Затем следовали всегда любопытные вопросы, как живет бывш. царь и его семья. На металлургическом заводе б. Злоказова, где я одновременно состоял и комиссаром завода, устроили митинг и потребовали, чтобы я сделал информацию о том, как содержится бывш. царь, его семья и т. д. Дальше на этом собрании были вопросы, почему долго возятся с бывш. царем, почему он сидит не в обыкновенной царской тюрьме, а живет в барском доме со всем инвентарем и пр., а также: достаточно ли принято мер, чтобы он не сбежал. Помнится ярко выступление одного старика рабочего на том митинге, который говорил, что у нас есть поважнее дела, чем охрана кровопийцы народного. Надо вот завод перестраивать, со снарядов переходить на полезное дело, на продукты мирного строительства, а тут оторвали полторы сотни самых нужных людей на заводе. И дело стоит, и люди там бездельничают.

Группа анархистов пыталась подсунуть резолюцию о том, чтобы бывш. царь был немедленно казнен и чтобы в 24 часа ликвидировать всех арестованных и пр. и пр.

Но рабочие высмеяли анархистов и охране дали наказ зорче смотреть за бывшим величеством и не выпускать его из рук советской власти.

Положение на Урале.

Помимо тех общереспубликанских задач, держась которых уральский пролетариат только и мог итти со всем революционным движением, на Урале в то время были и свои специальные задачи и особенности.

Так, Октябрьская революция в некоторых заводских районных местностях Урала совершилась фактически еще в сентябре — это на Северном Урале. На Южном же Урале революция произошла с некоторым опозданием. И на месте было много работы.

В Свердловске, бывш. Екатеринбурге, в городском совете рабочих и солдатских депутатов все рабочие депутаты были на стороне большевиков,

и большевики с горячностью шли вперед и вперед. Даже городскую думу, и ту прибрали к своим рукам, не говоря уже о заводах, где эсерам и меньшевикам на рабочих собраниях не давали и рта открыть рабочие.

На многих заводах Урала в сентябре были уже проведены забастовки— они произвели большую панику среди буржуазии и их лакеев — меньшевиков и эсеров.

Рабочие Урала сразу же поняли, что воевать с буржуазией придется неминуемо, так как своих привилегий эксплоататоры даром не отдадут.

Лозунги партии большевиков о вооружении нашли среди рабочих большой отклик, — они уже сознали, «что» они будут защищать.

После Октября лихорадочное вооружение усилилось. Враг был всюду: и внутри Урала — тайно действовавшие монархисты, и к границам Урала подступал враг извне.

В ноябре месяце казачий генерал Дутов занял Оренбург, пытался собрать армию и двинуть на Урал, чтобы душить советы.

Но крупные заводы Урала не дремали, — сейчас же сорганизовали отряды красногвардейцев и бросили их на так называемый дутовский фронт. Там-то рабочие Урала и получили свое первое боевое крещение. С оружием в руках, лицом к лицу встретились с классовым врагом!

В половине января наши отряды разбили генерала Дутова и заняли Оренбург, восстановив там власть советов. Закрепив власть советов в Оренбурге, рабочие вернулись на свои заводы продолжать работу.

Но тут февраль-март! Начались повальные погромы, которые организовывались оставшимися черносотенцами и уцелевшими переодетыми городовыми. В первую очередь громили винные склады.

С этим злом Красная гвардия должна была вести беспощадную борьбу, и все внимание было сосредоточено на подавлении этих врагов.

А тут в половине мая чехо-словацкое восстание. Полки восставших следовали через Россию на Дальний Восток, и 18 мая был занят город Челябинск чехословацкими бандами и примкнувшими к ним белыми.

Имея в виду пребывание бывш. царя в Екатеринбурге, чехо-словаки, в союзе с русскими монархистами, и направили все свое усилие на то, чтобы как можно быстрее захватить в свои руки столицу Урала и не дать вывезти из нее большевикам бывш. царя.

Время было горячее. Каждый человек, умеющий владеть винтовкой, был слишком дорог, как защитник завоеваний революции, умеющий не только сам постоять, но и показать, поучить других, как обращаться с оружием. А в это время приходилось держать до 300 человек, чтобы охранять жалкие остатки царизма. Но так как было решение ВЦИК, чтобы бывш. царя Николая Романова судить публично, для чего должен был специально выехать из центра трибунал, — нужно было терпеливо охранять и ждать.

Но вот в июне месяце пал Златоуст на Южном Урале [illegible]амаро-златоустовской жел. дороге. По пути же к Екатеринбургу был [illegible] завод Кыштым, находящийся от него в 130 верстах. Как только чехи заняли Злато-

уст, они двинулись по соединительной жел.-дор. линии на Пермскую жел. дорогу, рассчитывая отрезать Екатеринбург от центра, т. е. от Москвы и Питера.

Положение Екатеринбурга было тяжелое. Количеством рабочие превосходили чехов в несколько раз, но чехи все же продвигались вперед, потому что многие из рабочих не только не знали тактики или стратегии военного дела, но и стрелять-то начинали учиться, идя на переднюю линию в бой. Это часто понапрасну губило лучших революционных рабочих.

Может быть, чехи подвигались бы еще быстрей и скорее бы охватили кольцом Екатеринбург, но местность, по которой продвигались чехи, была населена рабочими, на 100% революционно-настроенными за советскую власть, и отряды наши состояли исключительно из местных рабочих, знающих район военных действий, как свои пять пальцев. И, конечно, главным образом, помогал тот энтузиазм, которым были охвачены все рабочие России, понимая, что за спиною чехов наступает на нас капитал, который хочет снова и покрепче закабалить рабочих.

Только благодаря стойкости рабочих Урала, бывш. царь не оказался у своих друзей черносотенцев, шедших вместе с чехо-словаками, благодаря этому же не осуществился план чехов захвата Екатеринбурга вместе с бывш. царем. Все же в начале июля кольцо белых и чехо-словаков начало все более сжиматься вокруг Екатеринбурга, и была уже очевидная угроза главной жел.-дорожной линии, идущей на Москву и Питер.

Увозить в такое время в другое место бывш. царя было рискованно и значило передать его прямо в руки чехов и черносотенцев. Держать в Екатеринбурге — последствия те же.

Оставалось одно: бывшего царя Николая Романова и его приближенных (отказавшихся его покинуть) — расстрелять.

В ночь с 16 на 17 июня это и было приведено в исполнение...

А три сотни рабочих, занятых в охране, облегченно вздохнули и поспешили на фронт помогать своим товарищам отбиваться от наступающего капитала и закреплять завоевания Октября.

Париж с птичьего „Дуазо“

Ольга Форш.

Улица.

I.

Под триумфальной аркой могила неизвестного солдата. Мимо нее, куда-нибудь, каждый день да пройдешь. А не пройдешь — из витрин, с тысячи открыток, она сама кинется на тебя, угнездится в мозгу и далеко, во все стороны раскинет 12 лучей своей огромной звезды.

Безнадежно-прямы, бегут в бесконечность эти улицы-бульвары, рожденные под триумфальной аркой от язычков вечного пламени над мраморной плитой:

«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ СОЛДАТ, ПОГИБШИЙ ЗА РОДИНУ».

Эта могила для современного Парижа той же принудительной силы и навязчивости представления, как для Мопассана была не облагороженная временем, свеже-испеченная башня Эйфеля, от которой, как известно, он в ужасе убежал.

«Неизвестному солдату» кто-нибудь всегда возлагает цветы, к нему шествуют парады, к нему, под двойной цепью подобранных в рост ажанов, защиты от пуль анархистов, мчат на прекрасной машине египетского Фуада. И многие сотни французских публичных речей, как лучи вот этой звезды, бегущие от языков вечного пламени в бесконечность, начинаются со слезой в голосе: le tombeau du Soldat inconnu...

Приехала целая американская делегация. Представители штатов. Некий весельчак из Коннектикута, славного откормленными гусями, провел пред «Томбо» (чем богат, тем и рад) на цепочке огромного гуся. Гусь, обученный то ли местным Дуровым, то ли от собственных чувств, выбрав паузу между грохотом барабанов и трубами, загоготал во всю гусиную мочь.

Париж пришел в дикий восторг. Гуся славили, гуся печатали, «американского гуся» ели с яблоками, и пустили фильмой в кино. Даже самые умеренные республиканцы, даже почитатели «Action française» с облегчением вздохнули:

— Enfin...

Но ведь вы патриоты?

Но мы прежде всего смешливые люди. Без улыбки под аркой было слишком торжественно. Гусь прибавил улыбку, гусь поднял стиль.

Стиль — это все.

На знаменитом балу «интернов» — молодых врачей-практикантов в госпитале — ежегодно даются неописуемые инсценировки, их ритуал хранит свято молва. «Конец целомудрия и торжество Венеры!» Грим представителей и жертв этого довольно языческого культа лучшими художниками доводится до столь предельного реализма, что даже печать, восхищаясь широтой «стиля», о подробностях говорит лишь намеками. Тоже — постановка на тему Пруста — «Les jeunes filles en fleurs», прославившая госпиталь Лайнек. Еще — «Безумие». Огромнейший головной мозг (в нем прыгают голые женщины) переходит в бесконечную змею мозга спинного. Все это несут одержимые разнообразнейшим сумасшествием.

«Больной табесом в «саду пыток»!» «Три колесницы!» Колесница с врачами, которые только еще начинают изучать, как научный об'ект, женщину; другая — с врачами, об'ект изучившими, и третья — с врачами, которые позабыли науку и лечат уже «наугад». Стиль бала «интернов» — щелчок в нос буржуазной условности и морали. Дерзость «интернов» традиционно уважается властями и обществом. Все прекрасно знают, что дерзость эта только «стиль бала». А на самом деле интерн, как всякий умеренный и практичный малый, попав в провинцию врачом, очень скоро превращается в «столп общества», чтобы иметь клиентуру.

Еще удивительней иностранцу была «власть стиля» над партиями всех оттенков — в день бегства Леона Додэ из тюрьмы Santé, откуда никто никогда не бежал. В первый день заключения Додэ радикалы и республиканцы скорбели о том, что у редактора «Action françaîse» при внедрении в камеру не в пример прочим не отобран был галстух и горестно восклицали: «О, как расхлябан наш государственный аппарат!». Не успокаивало и возражение, что отбор галстухов, введенный из предосторожности, чтобы узник не повесился, ввиду многопудового веса Додэ не имел бы ни малейшего смысла. Но это правило. А правила надобно исполнять.

Но вот сейчас, когда Додэ был на свободе и мальчишки газетчики дерзко кричали: «Новый фильм — одно прогнившее министерство!» — и в восхищении радикалы и республиканцы восклицали: «Но как чисто сделан побег! Каков стиль!».

На бульварах с хохотом читали, вслух, уничтожающие власть подробности о том, как «подручные» Додэ дали приказ из самого министерства внутренних дел об его освобождении, как без запинки провели приказ через все инстанции — пока начальник тюрьмы его не выпустил из Сантэ».

И смеявшиеся были врагами Додэ. Но одно то, что сам он был сейчас в Бельгии, что для гнева властей оставалась в музее Гревен лишь одна его восковая фигура с газеткой в руке, приводило в восторг.

Много стиля было и в том, как в один ранний утренний час студенты Сорбонны об'явили бойкот нежеланному им профессору. Когда весь Париж, зажав под мышкой портфель, бежал в бар проглотить свой «натюр» или «крем» (бульварное сокращение кофе черного и со сливками, сокращение, которое уже не понимают в дальних фобурах) — перед Огюстом Контом, отцом позитивной философии, и перед куполом Сорбонны — люди в черных плащах воздвигнули гильотину. Правда, не ту «серьезную», поработав с которой «мосье де-Пари» должен потратиться на свежую белую пару перчаток (для каждой казни этикет требует новую пару) — но все-таки точную копию «той».

По-латыни прочли смертный приговор профессору, чья злополучная фамилия кончалась на длинный слог «veau», что, как известно, обозначает — теленка. Привязав обвинительный акт к хвосту юной туши невиннейшего из домашних животных, студенты положили его голову под топор гильотины. Палач зарычал, помогая гильотине рубить. Об'явив казненную телячью голову годной на студень, а все прочее на жаркое, палач взвалил тушу с гильотиной на площадку, и судьи уехали.

Аплодисменты и смех...

В отставку профессора! Теперь уж капут. Теленок убит гильотиной, человек — смехом.

Да, парижская толпа любит смех. Она просто беснуется от веселья в многочисленных «фет» и «фуар» де-Пари. Она же чудовищно работает и в таком же масштабе пьет вино...

Однако, и полупьяная, она не груба. Впрочем, любезность и острословие — для нее такие же непроизвольные вещи, как у нас на родине бранное слово.

II.

Помнится, как-то в трамвае в Москве неизвестный, слегка навеселе, гражданин нашел для себя необходимым рассказывать вслух свою жизнь. Походя, он пересыпал излияния такой отечественной прослойкой, что публика потребовала у кондуктора его вывести. И вот, когда его выводили, он обернулся, распахнул невинные глаза с изумлением и горько сказал: «Зря вы меня... граждане. Ну, разве я ругался? Я без намерений»... И всем стало ясно: он, правда, был без намерений: произносил как дышал.

Смешно сказать, но странное дело: французская любезность, легкость улыбок, приветливые, частые как вздох: «S'il vous plâit!» очень скоро кажутся такой же, по существу, механизацией человеческого общения, как наши... выражения. Однако, хотя по удельному весу одно — по изяществу, французская форма механизации общения во много раз приятней нашей.

Еще поражает французская толпа свинченностью, аккуратностью в одежде, быстрым ритмом и опять-таки машинообразной точностью массового движения. Циркуляции по тротуарам, скопление на площадях, толпа вниз под землю в метрополитен, толпа вверх из-под земли из метрополитена.

И, вместе с тем, движение не мертво — оно свободно, естественно, на наш взгляд даже бесцеремонно. Француз не стесняясь живет на улице: он на глазах у всех обнимается со своей дамой; не уменьшая шагу и целуясь как воробьи, они проходят часть пути, которая им обоим по дороге. То он забежит в брассери одним махом, не отходя от стойки, опрокинет рюмки две апперитива; то из писсетьерки он кричит и кивает знакомым, а выбежав непременно купит в петличку цветок в одном из бесчисленных ларьков, полном уже готовых на всякий вкус бутоньерок. Здесь наблюдатель опять поразится: в Париже цветами считается то, что мы топчем не только как травы, а как вовсе не нужный сор. Так, осенью чудесный подбор опавших желто-красных листьев был здесь в немалой цене.

— Как смешно, у вас это цветы, а у нас просто сор...

— На то ваша страна — страна сказок... — любезнейше улыбнется француз. — Как же, мы слышали: мостовые мостят у вас не булыжником, а драгоценными камнями. Сказки для детей!

— Пусть у нас страна сказок, но у вас как бы не оказалась страна собачьей старости, — отвечает с такой же любезностью русский.

— Результат старой культуры! Мы уже не ищем связи вещей, мы предпочитаем просто вещи накоплять, — каламбурит француз. — А противоречия, мосье, нас давно не смущают.

Действительно, противоречия французскую мысль не смущают. Примеров без счета.

В день именин Жанны д'Арк все государственные здания украсились национальными флагами, цветами, лампионами. Золотая Жанна д'Арк, на площади Риволи, верхом на золотом коньке, маловатом для ее кавалергардской посадки — носки вперед, казалась испуганной столь официальным почетом. В церквах республики шли специальные мессы, особые хвалы перед свежим ужасом лепного дела — порождением нового облика Жанны, недавно канонизованной в святые, в панцыре, латах, с мечом. В церквах, за статуей, протянуто синее небо, затканное золотыми бурбонскими лилиями.

И странно, что и сейчас есть бурбоны в стране, что на улице вам могут указать неприглядного человечка и скажут: — Вот это последний... он скупердяй. Он ходит в кино на дешевое место, он норовит, позавтракав, не додать пурбуар, — разболтали гарсоны.

В Нотр-Дам службу правит сам évеque de Paris. Необыкновенный орган. Необыкновенное пенье. Заслушались сложного звона химеры на крышах (воплощенье пороков людей и соблазнов монахов), а в скульптурной группе святых Сен-Дени, держащий в руках собственную голову, вот-вот не выдержит безголовья и насадит ее себе снова на шею.

Муниципалитетом, монахами, городом прославляется Жанна д'Арк.

А в тот же день вечером в театре шла пьеса Бернарда Шоу, где главную роль играет русская актриса с своей труппой. Французы ломились в театр, чтобы посмотреть, как в последнем действии «Жанна» заплачет взаправдашними, русскими слезами, когда палач, тоже, несомненно, русского происхождения, ее будет тащить на костер.

Еще больше того привлекает апофеоз: «Жанна», сгорев на костре, опять появляется, чтобы заявить, что аббаты налгали: «После моей смерти я никому не являлась, я не понимаю, зачем меня канонизировали после того, как сожгли!». И лукавый вопрос: «А что бы вы все со мной сделали, если бы я вправду воскресла?». На это единодушный ответ короля, аббатов и воинов: «Жанна, не воскресай! Тебя еще раз сожгут».

И французы, быть может, те самые, что слушали в Нотр-Дам торжественную мессу в честь канонизованной Жанны, вторят хором актерам: «Тебя снова сожгут!». И смеются и закусывают смех «эскимосами». Так любезно в честь морозной Москвы зовут в театре мороженое в шоколаде и серебряной бумаге. Его с громкими криками: esquimos russe разносят после каждого действия по рядам.

Русский театр вообще в большой моде, уж не говоря про музыку и танцы. В Champ-Elisées идет у французов с большим успехом «Ревизор».

В афише сделана тщательная подготовка зрителей к пониманию пьесы, в хорошем переводе даны отрывки из биографии Кулиша, приведено письмо Гоголя после первого представления, продекламировано проникновенное слово о гибельных судьбах русского гения. На пьесу самим Жувеном, прекрасным исполнителем Жюля Ромена, затрачено немало сил, но спектакль получился смехотворный по совершенной неспособности французов понять Гоголя, а, быть может, и русское творчество вообще.

Ведь вот даже умнейший из авторов, Анри Жид, наивно попавшись на письмах Достоевского, распинается в целой книге о том, что отличительный признак этого «génie Slave» — христианнейшее смирение...

Городничий, — «le gouverneur», одетый в мундир бегемот, — едва появившись, с арапником в руках, рычит ультра-зверским голосом все пять актов. Кроме того, памятуя, что надо создавать «местный колорит» (крепостное право, знаменитая Салтычиха), он, при всякой встрече, Держиморде дает в зубы и ногой пониже спины, персонажу под именем Svistunoff — отчего персонаж немедленно, как сломавшийся паяц, замирает, болтая руками и скиснув головой. В последнем действии городничий делает ультрареалистической трюк (что сходит за специально-русское выражение ярости). Непонятно, как, в багровом окружении щек и носа, у беснующегося актера, после чтения известного письма вдруг оказывается полон рот белой пены.

Мишка изображается каким-то татарченком-дурачком, ходит животом вперед и мычит. Хлестаков лучше других подходит к роли по фигуре и жесту. Но играет и он утробно. Хлыщеватый балбес гугнит, мотая головой, и с необычайной виртуозностью в оттенках икает: в первом действии голодной икотой и икотой испуга, после лабардана — жирной, сытой. Публика от этого ужасно хохочет. Вообще весь удар пьесы на физиологию.

«Svistunoff» — огромное страшило. В трепете перед городничим на одной ноге, он всякий раз скачет от авансцены к выходу, непременно падая по дороге — это опять всем очень смешно. Бобчинский и Добчинский почему-то говорят как люди Прованса en zezayant, по имени зовут городни-

чиху и Марью Андреевну: взамен гоголевского текста: — Здравствуйте, Анна Антоновна! Здравствуйте, Марья Андреевна! — bonjour Annà, bonjour Marià... Чиновники однообразно звероподобны с гримом партизана Дениса Давыдова. Никакого внутреннего понимания — одно утробное подражание чьим-то рассказам про псевдо-русские нравы.

Для финала, в последнем действии пущен символизм: задняя стена комнаты в доме городничего при возвещении: «Ревизор приехал!» идет ходуном, и по ней снизу вверх, зигзагом забегал отчаянно-красный бенгальский огонь. В публике говорили с чувством, что все большие русские писатели настоящие пророки, и эти красные зигзаги-молнии—прозрение Гоголя в грядущую революцию «des bolcheviks».

Если приезжий захочет побывать в исторических кабаре, и ему Париж показывают русские, то они непременно поведут его в так называемый «кабачок Верлена», где, к концу ночи, погрузившись в винные пары, он будто бы первый оправдывал собственное положение о стихах:

— De la musique avant toute chose, le reste est litterature...

Кабаре этот в подвале, против площади Сен-Мишель, где чудесные фонтаны бьют из пастей оскорбленных драконов, закрутивших от боли в крутой винт хвосты. Итти глубоко под землю. На стенах каменной лесенки неплохие рисунки молодых.

С голодухи идут за пять, десять франков.

Подвал — сводчатый потолок, деревянные скамьи крепкого дуба — похоже у Гете в ауербахском погребке, где из таких вот столов Мефистофель выгонял заклинаньем вино. В густом, сизом дыму, безмолвно и плотно, — видать, на всю ночь, — засели мужчины разнообразнейших состояний и стран, от совсем черных до белых как молочные поросята промышленных жирненьких немцев. Из французов — больше сутенеры и литературные неудачники. Почти каждый с дополняющей его половиной такого же разнообразия: преобладают девицы из больших магазинов и галлерей Лафайетта, всегда жадно ищущих случая пополнить свой скудный бюджет. Так называемые на бульварном жаргоне «фуфа» из разных кварталов с модными деколорированными волосами, с непомерно красным, как свежая рана, ртом и бровями, выщипанными парикмахером за 15 франков.

В гротах, в пещерах, в сталактитовой нише сидели парочки, известные всем лесбийки в каменных от крахмала воротничках и манжетах с тросточкой и неприятно голодными носами.

В глубине около последних, сидящих за длиннейшим дубовым столом под низкими многодольными сводами — в стене ниша. Над нишей, как семафор в тумане — в сизой мгле яркий глаз — то красный, то зеленый. Его мигание создает настроение тоски, тревоги. Выступают раздетые малоголосые девы, скабрезненький и мелодраматический псевдо-апаш. Щуплый малый, без жилета, расхлестан ворот. Он поет две песни одну за другой. Первую, зверски играя ножом, о том, как он, из ревности, долго поворачивал в самом сердце убитой им жертвы этот вот нож. Во второй песне он со слезами хоронит свою юную жизнь на каторге... O, bi-ri-bi...

— О, biribi... — тянет за ним весь кабаре, зовя каторгу этим ласковым уменьшительным, как гильотину зовут здесь Луизет.

У рояля некий лысый Юлий Цезарь, с необыкновенным туше; к довершению сходства, он в лавровом венке. Рядом мальчишка, тоже в венке, дует в невиданный инструмент — вроде старинной трубки с поршнем, похоже — клистир старинного образца из мольеровской постановки. Труба извергает нежданные, как цыганщина, звуки пронзающего томления и грусти. Юлий Цезарь выбивает рыданья из клавиш, а третий музыкант, тоже окончательно лысый и в лавровом венке, лягает ногами замысловатый бубен с колокольцами.

Как возникли они, неизвестно; казалось, их раньше здесь не было. Но они играют необычайно и пронзительно.

В сизой мгле сигаретного дыма, многосводные потолки свесились ниже. Под ними, как сигналы в тумане, то тут, то там огоньки папирос.

Лица людей синевато-бледны. Только губы у женщин, то-и-дело обновленные краской, извиваются в смехе как красные пиявки.

Юлий Цезарь, дуда и бубен затянули пьяниссимо до потери дыхания. Придержали паузу. Ударили танцы.

На сцене закружились в юбочках из балета и глубоком пустыннейшем декольтэ несомненные юноши. Кофейные мулатки затрясогузили под чарльстон.

Мальчик с дудой попропускал такты и вдруг с яростью ринулся в трио. Он закрыл глаза, как заслушавшийся себя соловей, и пронзающими своими звуками, одного за другим, всех вовлек в чарльстон. Скоро скамьи были пусты, и среди тесных стен, как бы сбившись в кучу, в общем свальном грехе, затоптались в чарльстоне, с страшно-недвижными окаменелыми в сизой мгле лицами — мединетки, мулатки, англичане и русские.

Редкий зритель, не втянувшийся в угар виски и сизый дурман, с тоской вопрошал сам себя: «Так это вот видел и слышал Верлен?».

И, будто подслушав эти не сказанные вслух мысли, неудачник-литератор из романа Додэ говорил опустившемуся «типу» Бальзака:

— Они идиоты... иностранцы; они думают, что попали в инфернальное место. Они полагают — те мальчишки в цветах — все Оскары Уайльды. А они, подлецы, прежenатые...

Выпивший тип Бальзака примирительно отвечал:

— Не брани их, Гюстав, не брани! Жизнь после войны впятеро вздорожала, а у них дома семьи... В конце концов, ведь и это: métier comme métier.. А иностранцы, разумеется, дурачье. Тут и ноги Верленовой не бывало!..

Пер-Лашез.

Сторож, водивший иностранцев по кладбищу, равнодушно и плавно, как привычный оратор, наизусть давно знающий свою речь, говорил:

— В Париже, это легко запомнить, девятнадцать публичных кладбищ — из них три главных: северное, южное и западное или, как население его обычно зовет: «Пер-Лашез».

В средние века на этом месте было поле Епископов, последующий владелец, некий богатый человек Рено, выстроил здесь себе такое шикарное жилище, что его прозвали «Безумие Рено». Спросить: где оно, это безумие? Как вы видите: ничто не вечно, месье.

Дальнейшая история этих мест такова: под Луи четырнадцатым иезуиты выпросили себе этот лакомый кусок. Ну, разумеется, они польстили королю; как известно, при всех правительствах полезно льстить, — недаром господин Лафонтен, здесь неподалеку лежащий, обессмертил своей басней лесть. Однако вернемся к иезуитам. Еще раз — увы, до чего бренно все под луной! — иезуитов мы с удовольствием изгнали в 1773 году, «мон Луи» пошел платой за их долги. О, эти умели хорошо пожить! Но префект Сены купил прекраснейший их холм, и по декрету Наполеона он был пущен под кладбище. Работы подгоняли — знаменитых покойников накопилось. Уже весной 1804 года сюда в'ехали первые: Мольер, Лафонтен, Бомарше...

С этих пор кладбище Пер-Лашез — последнее убежище всего, что было на земле когда-то богато, могущественно, знаменито. И, вместе с тем, messieurs et mesdames, — это кладбище не печалит взоры. Не глядя на могилы, вам может сдаться — это чудесный увеселительный сад! Обратите внимание: какие деревья! какие цветы! ваши ноги ступают по мягким песочным дорожкам вдоль столетних платанов. А, взойдя на вершину холма, вы увидите, mesdames, горизонты. Именно то, что авторы романов зовут «горизонты». Их замыкают Медонский лес и Сен-Клу, башни замка Венсенн налево. Про этот замок прилично сказать так: «он свидетель средних веков».

Однако прошу прощенья, messieurs, я чуть-чуть покурю.

Сторож, любитель апперитивов, прирожденный резонер, как второй могильщик у Шекспира, бросив на землю окурок, его тщательно зарыл ногой и рассмеялся: — что поделать, это уж профессиональное, насмотревшись как день-деньской зарывают, зароешь каждую мелочь и сам.

Но займемся покойниками: теперь опустите глаза, messieurs et mesdames, и как вы только что охватывали взорами горизонты, охватите, сколько можно, подножный пейзаж.

У ваших ног: слава империи, знаменитости реставрации, наконец, достоинство республики. На каждом шагу вы попираете могилу необыкновенного человека...

Вот готический памятник с скульптурным надгробием юных и прекрасных существ — Абеляра и Элоизы, — только после смерти история признала союз их любви. Здесь не переводятся, как вы сами видите, цветы. Как смерть, любовь вечно волнует сердца. Прошу отметить, сколь верно сказал один поэт: кто именно любви посвятил свою лиру — к тому и после смерти не оскудеет ответная нежность людей! Вот он, Альфред де Мюссе... и сегодня, как всегда, обилие роз. Если хотите, сорвите на память листок с этой плакучей ивы, которую, по его завещанию, ему посадили над гробом. Между нами сказать, не в добрый час, для кладбищенских сторожей, он это придумал: весной, когда цветет эта плакучая ива, у него на могиле чистки больше, чем у прочих мертвецов, ровно вдвое. Ну, иной раз и пошлешь его

к чорту! Ведь ему, полагать надо, сейчас вполне безразлично, есть над ним дерево или нет. Ну, что бы раньше додуматься! Однако умирающих все равно уму не научишь: без фанаберий редкий помрет...

И вы ошибетесь, messieurs et mesdames, если здесь вспомните пропись: на кладбище обитает справедливость. Увы, и здесь ее нет! Если б была, то почему, спрошу я вас, на памятнике нашего великого баснописца всего-навсего небольшая лисица, у Бернардена де-Сен-Пьер, у Парни, у Мольера (похороненного ночью и без помпы) простые кресты или камни, а совсем неизвестному лицу давит кости вон та огромная, отовсюду видная пирамида?!

Да, в этой давке у мертвецов, как у живых — лучшее далеко не по заслугам: Давиду (первейшему), художнику Франции — одноглазый медальон, Бальзаку — небольшой бюстик; ну, про генералов я не говорю: генералам бесспорно правильно ставить памятники поважней, — но частные, никому не известные лица? Только оттого, что у них деньги? Нет, это бы я запретил...

Вот направо гробница английского поэта Оскара Уайльда.

Крышку мавзолея держит голый крылатый юноша в высокой фараоновой шапке. Он одновременно распластал крылья и поджал ноги, будто собирается кинуться вниз с большой высоты. Говорят, что здесь тайный английский смысл, но в чем он именно — не умею вам сказать. Англичане знают.

А вон там богатейший памятник, словно пирожное, — это повара воздвигли своему патрону-ресторатору.

Здесь — знатные индусы. Приехали, заболели и померли. Родина же их далеко.

Однако извините, messieurs, к стене коммунаров я не могу вас вести, это далеко, а мне нельзя отлучаться от ворот. И то я вам показываю незаконно... что вы, что вы! Я не к тому... гран мерси! Выпью за здоровье иностранцев. И мой совет, messieurs: к коммунарам поспеете и потом, здесь все мертвые одинаково смирно лежат. Сперва посмотрите крематорий — там сейчас перерыв. И пока никого не жгут. Мой приятель вам прекрасно покажет. Он при печке; только шепните ему: нас прислал Антуан!

В крематорий же идите все прямо, вот по этой дорожке.

Здание крематория оказалось похожим на буддийский храм. На верху вместо креста треножник, над входом — сова. С двух сторон полукружием идут колоннады, в два этажа. Вдоль колоннад высокие стены в сплошных, как для детской передвижной азбуки, нарезанных квадратиках, снизу доверху. Каждый квадратик в кубический аршин. В нем урна с прахом. Квадрат снаружи прикрыт мраморной доской. На ней золотом: имя, год, чувствительный стишок. Редко изречение из священного писания.

Видно, все еще нужно известное вольнодумство, чтобы сделать выбор: быть медленно с'еденным червем или пожранным раскаленной до бела печью. Впрочем, в печи, в приподнятую на миг заслонку, привычного глазу огня совсем не было видно. В нестерпимую белизну, похожую на удержанную, растянутую в большой квадрат молнию, был превращен здесь огонь.

Действительно, приятель Антуана, дежурный при печке, оказался славным малым, толще и пьяней Антуана и еще больше чем он похож на другого шекспировского могильщика — не резонера, а весельчака.

Человек этот будто выпрыгнул из последнего акта Гамлета в природном прекраснейшем гриме: его взвихренные брови, навсегда удивленные бренностью мира, при каждом слове прыгали то вверх на лоб, то нависали на быстрые умные глаза. Это вечное движение бровей создавало впечатление непрерывного хохота, несмотря на спокойствие крупных румяных щек.

И, конечно, как полагается человеку его невероятной профессии: через каждые два часа бросать в огонь другого человека, — он был сильно на взводе. Потому что, не будь это именно так, он бы, конечно, постеснялся в виде указки, из свалки костей, сожженных трупов неизвестных из морга,— выхватить большущую берцовую кость и размахивать ею в подкрепленье своих об'яснений...

— Настоящий палач! — хохотал англичанин.

«Палач» прежде всего стал восхвалять преимущества над старым способом погребения крематория:

— Эта печь — мой патрон, — рекомендовал он, кивая берцовой костью на саженную печь, присевшую как старуха с злющим стиснутым ртом.

— Все сжигайтесь, messieurs, сжигайтесь, mesdames! Завещайте сжигаться вашим детям, дарите друг другу, как это делают на вашей родине, фрейлейн, квитанцию в крематорий. У нас, у французов, это еще не привилось; мы сантиментальны совсем на другой образец, нежели вы, мы еще не поняли, что каждому должно быть лестно иметь после смерти кости такой вот чудеснейшей белизны. Эта берцовая для медицинской академии, на заказ. Но родные предпочитают, чтобы покойник совершенно истратился — чтобы сгорел в порошок! Меньше места...

— Однако положите кость, — сказал англичанин, — вы ей машете как оглоблей. Того гляди, заедете по живым!

Сунув палачу в руку франки, он предложил показать, как здесь, в его хозяйстве все происходит с самого начала.

Палач ловко спустил франки в карман, снял кожаный передник и, оказавшись довольно толстым человеком в пиджаке, сказал: «Сейчас сюда принесут свеженького из морга, и я должен буду смениться. Всем вам придется отсюда уйти, потому что жечь будут наскоро, для медицинской академии, без церемоний. А потому, если месье разрешите, я лучше об'яснять начну с самого конца. Эта печь вроде как, извините за сравнение, «Неопалимая купина» — горит не угасает. Очень уж трудно ее распалять. Покойника, как только вытащат из саркофага, который я вам потом покажу, сейчас к нам в тепло. Принимаем его здесь уже без всяких надгробных речей. Примем, и прямехонько в огонь. Однако богатый и здесь норовит отличаться; он, видите ли, лежит в гробу дорогого дерева, в тонком надушенном белье. А уж тут души его не души — понимаете, обыкновенный труп.

Вот посмотрел бы этот труп сам на себя в печь в это окошечко, не стал бы душиться! И богатый, и бедный попрыгает сколько ему надо, покорчится — и берите, пожалуйста — кучечка праха.

Однако отсюда сейчас пора уходить — пойдемте в salle d'attente, — теперь я об'ясню, как вы хотели, с самого начала...

Палач провел всех по лестнице вниз, в «залу ожидания». Мы оказались в первом ряду кресел амфитеатра, повышавшегося в задних рядах. Перед нами, на значительно поднятой сцене, между двух занавесок тяжкого черного бархата, стоял тоже черный, с серебром саркофаг.

Наш пьяный маэстро вышел на авансцену и как певец-солист сказал, с очень верными жестами, усвоенными им от многочисленных переслушанных здесь проповедников:

— Messieurs et mesdames, эта роскошная гробница не что иное, как подставное лицо, а все происходящее здесь торжество — un simulaire — лицемерие! Ну, разумеется, оно необходимо для папенек, маменек, неутешных вдов...

Пока они все сидят на тех местах, где сейчас сидите вы, натурально с белыми носовыми платками в руках — пока проповедники говорят о загробных наслаждениях, то есть о вещах никому доподлинно не известных, мы, с вашего разрешения, в мягкой обуви, сторожим за бархатной занавеской, чтобы собранью и шороха не услыхать. Мы даем проповеднику хорошенько разогнаться и выбираем покойника из саркофага. Потом, извините опять за выражение, мы его, как бревно, прямехонько в печь. А проповедник долго еще трудится и по временам, когда этого требует речь, все обращается к мертвецу, как к живому, то есть как к лежащему в саркофаге: «Ты слышишь ли меня? Ты слышишь!». Хорошо, что сам тут же и отвечает: «Да, я слышу!». Ведь в саркофаге ни живого, ни мертвого... Потеха!

Из публики спросили:

— А толстые дольше горят, чем худые?

— Толстые? — вздернулись вз'ерошенные брови, и не понять, соврал нам маэстро или это правда: — толстые на пять минут горят дольше. А одетые или раздетые — все равно.

Совсем недавно горела у нас в очень хорошем белье одна танцовщица. Известная. Ее убил собственный шарф. Говорили люди, что не надо было ей изобретать «танец апаша». Она все его танцовала с этим самым шарфом, который душила руками, будто как апаш душит свою возлюбленную, а он, шарф-то, вот возьми, да и задуши ее сам. Оч-чень хорошее у ней было белье!

Близкие, конечно, ничего своим не жалеют, ну, а мы знаем правду. Как вынешь из печки, никого, ведь, уже не узнать: ни богатого, ни бедного, ни старого, ни молодого. Одно слово — прах.

Но, messieurs, странное дело: когда этот прах в урне, в своем квадратике, когда на доске золотом горит его бывшее имя, а по бокам, на медных крючках, бутоньерки с белыми пыльными розами, — я замечал, родные очень успокаиваются. Бывают такие, что даже хвалят. Ведь если сожжешь чьего покойника, месье, будто с его родней чуть-чуть и сам породнишься.

Вот на-днях дама одна зашла. «Хлопот, говорит, мне теперь никаких; не то что в земле! Там уж худо, плохо — три аршина надо досматривать. А расходы? И сторожу дай, и садовнику дай»...

Здесь же дело совсем домашнее: а чистота, а дешевка! Цветов, говорит, куплю ему на франк, да пыль с дощечки сотру.

К сведению вашему, messieurs et mesdames, — следующий номер записи на сожжение — отличный номер, кончается четом 6784-й!

После крематория нам оставалось пройти к стене коммунаров. Оказалась она далеко на опушке кладбища. В воображении и по описанию впечатление гораздо сильней. В действительности, прежде всего неприятно поражает, что город совсем рядом, что нет тишины кладбища.

Здесь грохот огромных фур, запряженных першеронами, звон трамваев, свистки авто, крики газетчиков. Стена в неприятных венках: грубые толстые маки (фарфоровые цветы здесь гораздо грубей русских) буро-красные, как будто измазаны кровью.

Отделение 97. Стена федералистов. Здесь были расстреляны последние защитники Коммуны 28 мая 1871 года.

Вдоль стены ходила одинокая, очень старая женщина лет под 80, в черной мантилье. Шляпа кибиточкой, черные ленты завязаны бантом под подбородком; старуха с трудом двигалась, напирая на палку. Она склонялась к белой мраморной доске с именами коммунаров и шептала имя за именем. Потом она крестилась мелким католическим крестом, и слезы капали у нее из глаз.

Ее совершенно особая интимная связь с этим местом была несомненна.

— Дочь коммунара? — прошептали мы с волненьем. — Но может быть и жена?

В самом деле, почему бы и нет? Если ей в 71-м году было 20 лет — то сегодня ей всего 75. Ну да, она могла быть женой.

Старуха опустилась на колени в глубоком поклоне, но встать не могла, и, бессильно плача, затрясла головой. Ей кинулись помогать. Ее подняли. Все были глубоко взволнованы. Жена коммунара, живая история была перед нами! Было благоговейное участие, была человеческая гордость за верность женского сердца.

— Вот они, наши женщины, — сказал сквозь навернувшиеся слезы один из французов. — Женщины — это те, которые не забывают.

Старушка оправилась, чистым платком вытерла глаза, любезно поблагодарила, неожиданно, еще молодым голосом. Потом она указала своей сухонькой ручкой, в черной перчатке, и деловито, как хозяин, за многие годы изучивший до песчинки свое владенье, сказала:

— Расстреляли их там, много левее, но зарыли здесь. Правительство пожалело на месте расстрела старые платаны, и могилу приказано было выкопать тут, на голом месте. И подруга моя, Элиза, помнит тоже. Наши

мужья не раз нас водили сюда и рассказывали нам в подробности. Оба умерли. И Элиза умерла тоже. Вот я за всех их теперь и вымаливай. Но расстреливали их там...

— Ваш муж, мадам?..

— Мой муж был сержант, сержант национальной гвардии. И муж Элизы Рике тоже. Не сами они придумали расстреливать — служба! Ах, умереть бы мне раньше, messieurs, когда все было ясно, как день и ночь. А то сейчас... внучек у меня коммунист. Как пойдет поносить деда! И до чего довел? А что, думаю, если и на том свете мужа моего не похвалят? Вот и хожу сюда, вот и молюсь за коммунаров... Служба, говорю им, служба у мужа такая была, наградные, говорю, на ней получали, не худым, говорю, видно, делом считалось...

«Горе от ума» перед судом современности.

Д. Тальников.

Нынешним летом исполняется сто лет так называемому «булгаринскому» списку грибоедовской комедии, — последней, окончательно просмотренной автором редакции текста. Грибоедов вручил его 5 июня 1828 г. Булгарину, приятелю своему петербургскому по литературным делам, с надписью «Горе мое поручаю Булгарину», — накануне от'езда на Восток в последнее свое путешествие. Проезжая в 1829 г. в Арзерум, Пушкин встретил на пути арбу в сопровождении нескольких грузин. — «Что вы везете? — Грибоедова...» Это было тело трагически убитого 30 января 1829 г. русского писателя.

Сто лет отделяет нас от этой смерти, более ста лет жизни несет на себе грибоедовское создание, замечательнейшая комедия русская, «истинная divina comedia», как называл ее Белинский, — и не увядает.

Жизнь художественного произведения в веках — интереснейшая история не только эстетических воззрений разных эпох, но и общественных отношений, складывавших эти воззрения. И вот через 100 лет первая наша, можно сказать, политическая и революционная комедия, носящая на себе отсветы ярких зарниц надвигающейся «декабристской» грозы, — комедия «миллиона терзаний» и «горя» от ума, — попадает в условия и обстановку новой, совсем иной революции, — иных классов, в комедии и не затронутых... Каково должно быть ее общественное звучание в этих условиях современности?.. на сцене передового, революционного театра наших дней?..

Своей постановкой грибоедовской комедии Мейерхольд продолжает тот свой художественный и идеологический пересмотр нашего классического наследия, ту переоценку, «ревизию» великих памятников нашей литературы и культуры, которую он начал уже своим «Ревизором» в прошлом году (в «Лесе» Островского был не пересмотр, а простое приспособление классического произведения к агитационным нуждам современности). Выяснить идейные основы, опорные пункты этой «ревизии», которую иные воспринимают в свете революционных осуществлений, а другие, как подлинный поход на классиков — задача настоящей статьи.

I.

Грибоедову было тогда 25 лет (1820 г.).

«Я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор», писал он о себе (15 апреля 1818 г.). Друзья отмечают его «неистощимую веселость и остроту», «веселую и разгульную жизнь» (С. Бегичев). Но уже проходит веселая беззаботность литературных встреч, любовных затей, французских водевилей с куплетами, театральных кулис. Потом злосчастная дуэль из-за «танцорки» Истоминой, — той самой, воспетой другим поэтом:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена...

смерть Шереметева... Перелом от юности к зрелости. «Налегла на меня необ'яснимая мрачность...» «Я в тягость самому себе... скука и отвращение меня преследуют...» — такие мотивы звучат в его превосходных письмах к друзьям. Об этой поре вспоминал позже Пушкин, встретив тело поэта на чужбине: «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться однажды навсегда с своею молодостью и круто поворотить свою жизнь». Скептик по складу своего ума, он не мог целиком уйти и в жизнь политических тайных кружков, развивших кипучую деятельность в эти годы — под влиянием и отзвуков событий на Западе, и возвращения русских войск и офицерства из Франции. Но он не был безразличен к политике. Вспомним, что в масонскую ложу он был принят в 1816 г. одновременно с Чаадаевым и Пестелем; а «праздность и роскошь» московской жизни без «малейшего чувства к чему-нибудь хорошему» (к Бегичеву в 1818 г.) прямо угнетали его. «Он простился с Петербургом и с праздною рассеянностью; уехал в Грузию». Это было в конце 1818 г. Не было ли «Горе от ума» этим «расчетом однажды навсегда с молодостью», отмеченным еще Пушкиным?

Судьба забросила его на далекую чужбину. Он прекрасно образован, владеет языками латинским, французским, английским, немецким, персидским и арабским. «Но для того, кто хочет быть полезен обществу, еще недостаточно иметь много выражений для одной и той же идеи, — пишет он по-французски: — чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему отечеству... Я прошу об увольнении от службы или отозвании из печальной страны, где, вместо того, что чему-нибудь научиться, забываешь и то, что знаешь...» Очевидно, это проект прошения, вернее всего не отправленного.

Черновик письма, на обороте которого написаны эти скупые, такие волнующие, полные чувства достоинства и независимости строки, — относится к 1820 г. (17 ноября) и помечен Табрисом. Кому письмо адресовано, неизвестно. И. А. Шляпкин относил его к кн. А. А. Шаховскому, одному из литературных друзей Грибоедова. Письмо помечено «часом по полуночи». В тихие пустынные таврические ночи Грибоедов записывает свой удивительно-четкий сон — разговор с приятелем. «Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет...» Но воображаемый приятель настаивает на том, чтобы поэт взялся за работу. «Что же вам угодно? — Сами знаете. — Когда же должно быть готово? — Через год непременно. — Обязываюсь». И поэт «с трепетом» дает клятву... Грибоедов проснулся, вышел из дому: «Чудное небо! нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии! Муэдзин звонким голосом возвещал ранний час молитвы...» — и поэт «затеплил свечку» в своей «храмине» и сел писать...

Сон — выражение подсознательных движений дневной жизни. Творческие муки, очевидно, с большой силой одолевали в тиши, — замысел был потаенный, давний, давно уже обдуманный. Поэт хитрит, спрашивая: «что же вам угодно?» — «Сами знаете...» — отвечает во сне приятель.

Речь идет, очевидно, о замысле «Горя от ума», и мы присутствуем при начавшемся уже творческом акте рождения пьесы. Самый замысел зрел давно, наливался, как трудное зерно, годами. Университетский товарищ Грибоедова В. Шрейдер в начале еще 1812 г. (т. е. когда поэту было 17 лет) слышал «отрывок» из «задуманной» комедии, которую он считает «начатками» «Горя от ума». С. Н. Бегичев вспоминает о «плане» комедии в 1816 г. «Даже написаны были несколько сцен» и даже выведена была, позже уничтоженная, «жена Фамусова,

сантиментальная модница и аристократка московская» (как Мейерхольд устоял от соблазна восстановить эту выброшенную автором фигуру?). О «проекте» «Горя от ума» и отрывках комедии вспоминает и кн. Д. О. Бебутов, встретивший Грибоедова в 1819 г. на пути в Тифлис.

Но только с 1820 г. можно говорить о начавшемся процессе полного оформления пьесы. В 1822 г. Грибоедов в Тифлисе читает «Кюхле»-Кюхельбекеру первую редакцию 2-х актов комедии. Их он привез весной 1823 г. в Москву. Прочтя Бегичеву, он сжег первый акт, не понравившийся его другу, и через неделю написал его наново. Летом 1823 г. Грибоедов работает в тульской глуши — в деревне Бегичева над 3-м и 4-м актами. Осенью, зимой и весной 1823—1824 гг. продолжается работа над комедией, рукопись которой автор подарил в 1824 г. пред от'ездом в Петербург Бегичеву: это так называемый «музейный автограф», бережно сохраненный другом и изданный только в 1903 г. (под ред. В. Е. Якушкина). Это наиболее ранняя из известных нам редакция «Горя от ума», в которой можно отличить и свой первоначальный текст и позднейшие исправления автора.

Этой редакцией автор недоволен: из Петербурга он посылает (в июне 1824 г.) тому же Бегичеву просьбу сжечь свою рукопись, «коли решишься» (и во всяком случае «никому не читать»): текст «так несовершенен, так нечист...». Во время переезда из Москвы в Петербург, оказывается, автор обдумал новую развязку комедии (12 явл. IV акта), внес переделки: «Представь себе, что я слишком восемьдесят стихов, или, лучше сказать, рифм, переменил. Теперь гладко, как стекло». Свою петербургскую работу над текстом, свои творческие «муки слова» (стих давался Грибоедову трудно), он характеризует так: «урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем пополовели, сержусь и восстанавливаю стертое, так что, кажется, работе конца не будет...». А. А. Жандр сообщал потом, что в переделках Грибоедова, в его «ужасных брульонах» «разобраться было невозможно». «Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил его полулисты... Идет ли тут речь о «гибели» — на взгляд постороннего, хотя бы и приятеля — или о дальнейшем совершенствовании взыскательного художника, хотя бы он и называл это скромно переменой «дела на вздор», — так или иначе, переделки были закончены к осени 1824 г. Этот переделанный и исправленный список, подаренный автором Жандру, и есть так называемая «жандровская рукопись», основная редакция текста.

В 1825 г., благодаря хлопотам Ф. В. Булгарина, удалось напечатать отрывки из комедии с цензурными искажениями в булгаринском альманахе («Русская Талия»). Больше при жизни Грибоедова ничего не было напечатано из его комедии, и только в 1833 г. появилось первое отдельное издание всей комедии в испорченной, неполной редакции театрального списка — по резолюции Николая: «Печатать слово от слова, как играется...». Полностью можно было напечатать гениальную комедию только в 1862 г., и то по недостаточно проверенной рукописи, и потому с погрешностями.

Последним из авторизованных текстов комедии, окончательной редакцией можно считать уже упомянутый нами «булгаринский список» (1828 г.), просмотренный автором, как мы знаем, перед от'ездом в Персию, незадолго до своей смерти: очевидно, жандровский текст явился настолько завершенным в художественном восприятии Грибоедова, что через 4 года автор мог внести в него только небольшие разночтения: он полностью подтверждает и окончательно утверждает (в этом его значение) каноничность текста комедии. Здесь сохранены, как указывает редактор академического издания Н. Пиксанов, и все характерные особенности грибоедовского письма: «То же обилие восклицательных и вопроси-

тельных знаков — двойных и тройных[1]); те же непременные тире в конце стихов, обильные многоточия, даже такие странности, как запятая или двоеточие в конце реплики. И те же формы живого языка: раде (и ради), два дни — наряду с такими условностями, как — другий, иный, седьмсот и пр. Сохранены даже такие особенности, как «к прихмажеру».

Таковы текстовые этапы творческой истории «Горя от ума». Каков же был внутренний смысл работы, проделанной автором на протяжении, в сущности, нескольких месяцев? Предварительная, внутренняя, не вылившаяся на бумагу работа над замыслом комедии, — если даже итти не от смутных упоминаний мемуаристов, а только от «чудной тавризской ночи» 1820 г., — нам неизвестна. Предварительные этюды, сценарии, черновики и пр. материалы творческой лаборатории к нам не дошли. Комедия где-то внутри, в творческом сознании поэта, оформлялась и потом быстро (в период 1822—1824 гг.) вылилась полно, почти законченно и гармонично в редакции «музейного автографа», потребовав для окончательной отделки и переработки «жандровской рукописи» (подтвержденной «булгаринским списком» 1828 г.) только нескольких месяцев: май 1824 г. — конец лета 1824 г. И для характеристики работы Грибоедова мы имеем, в сущности, только вот эти отделенные небольшим промежутком два конечных пункта: «музейный автограф» и «жандровская рукопись».

Что же говорит нам история текста грибоедовской комедии, какой творческий путь намечает она в оформлении Грибоедовым своего замысла? Ведь история текста — не простое и скучное «археологическое» гробокопательство: перед нами вскрываются пути формы, выражающие известную мысль, идею, проектирующие во вне художественные и идеологические этапы развития творчества.

II.

Работа Грибоедова в области стиля мне кажется в значительной степени недооцененной и сейчас, в эпоху усиленной разработки формальных элементов искусства. Б. Эйхенбаум в своей интереснейшей во многом и опорной работе о Лермонтове только вскользь, кажется, упоминает о стилистических приемах группы поэтов (Рылеев, Полежаев, А. Одоевский), об'единявшихся, главным образом, вокруг Грибоедова — «грибоедовской группы» — и отодвинутых на второй план развитием и влиянием Пушкина и его соратников.

А между тем, в той роли, которую придает Лермонтову исследователь, нельзя обойти именно этой отодвинутой от главного пушкинского русла грибоедовской линии. Еще Белинский, противопоставляя «идее художественности идею «содержания», как особый, более важный, чем поэтичность», уклон в поэзии, подчеркивал, что в противоположность пушкинскому пафосу, «пафос Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах личности», и стих для Лермонтова был только «средством». Эйхенбаум углубляет эту мысль, стараясь показать, что поэзия Лермонтова резко отделяется от поэзии пушкинской плеяды «отрицательным характером содержания», от которого «до тенденциозного», где поэзия обращается в средство и отодвигается на задний план, один только шаг. Путь Лермонтова в его интерпретации — «путь снижения высокой лирики», торжества стиха, как «эмоционального средства выражения», над самодовлеющей формой стиха. «Надо было смешать жанры, наделить стих особой эмоциональной напряженностью, отяжелить его мыслью, придать поэзии характер красно-

---

[1]) Очень характерна (и для театральной практики весьма любопытна) разговорная фактура грибоедовского стиха: вот, напр., пунктуация, с которой написана реплика Софьи во всех редакциях комедии (и музейн. авт., и жандр. рукоп., и булгар. списке): «Случалось ли, чтоб вы смеясь? или в печали? Ошибкою? добро о ком-нибудь сказали?..». Здесь даже «четверной» вопросит. знак.

речивой патетической исповеди, хотя бы от этого и пострадала строгость стиля и композиции».

Грибоедов был поэтом-драматургом и сатириком, не чистым лириком, но к нему в большой степени можно было бы применить анализ Эйхенбаума о Лермонтове, в котором критик видит предшественника общественной сатиры и патетической лирики Некрасова. Кто же, как не Грибоедов, в сильнейшей степени способствовал развитию «поэтического красноречия», «ораторской лирики», резко уходя от господствовавшего в 20-х гг. стиля, от «воздушности» поэтической формы Пушкина? И кто так много идеологической «содержательности» — пусть и считаемой Эйхенбаумом «отрицательной» — внес в поэзию, как не Грибоедов? Грибоедов, в сущности, по недоразумению, — больше по личным связям — сближал себя с архаистами-шишковистами, — в противовес карамзинской идее приближения к разговорному стилю, тяготевшими к «церковно-славянской стихии». То, что сделал Грибоедов, есть именно «путь снижения» стиля, приближения его к разговорной свободной речи, и путь, идущий как-то в стороне от Пушкина. Пушкин уже подводил итоги борьбе с архаизмом, с «витийством» стиля за упрощение его. Но «Граф Нулин» написан только в 1825 г., «Домик в Коломне» — в 1830 г., «Повести Белкина» — в 1830 — 1834 гг. Первая глава отдельного издания «Евгения Онегина» появилась в 1824 г., и стиль его был так необычен, что сам Пушкин в предисловии писал о себе, как о «сатирическом писателе», только позже (в 1825 г., 24 марта, письмо к Бестужеву), понимая, что «самое слово «сатирический» — тут неуместно: «Где у меня сатира? У меня о ней и помину нет в Онегине»... Чисто-разговорный акцент у Пушкина — в непечатном энергичном (по-российскому) завершении стиха в «Телеге жизни» (1823 г.). Гоголевский «Ревизор» начат был только через 10 лет после «Горя от ума»...

На этом господствующем в литературе наших 20-х гг. стилевом фоне необыкновенная живая московская речь грибоедовских персонажей должна была прозвучать подлинной революцией. Грибоедов сохраняет и произношение, и транскрипцию разговорной барской речи Москвы своего времени: «рюматизм», «клоб» (вместо «клуб»), «я должен у вдове, у докторше крестить», «вот ко-бы вы порхнули в дверь», «горнишной» и пр. Придирчивая «старая» критика современников отмечала язык «жесткий, неровный и неправильный» и рекомендовала «исправить слог» (М. А. Дмитриев в «Вестнике Европы» 1825 г.). Хваливший в «Московском телеграфе» комедию Н. А. Полевой прибавлял — и исследователи думают, что таково же мнение кн. П. А. Вяземского, тонкого ценителя именно пушкинской поэтической стихии [1]) — пожелания «большей гармоничности и чистоты в стихах»: «Выражения: кто ж радуется эдак, — черномазенький — дом зеленью раскрашен — нету дела — слыли за дураков — опротивит — к прикмахеру и т. п. — дерут уши». Но уже «Сын отечества» (1825 г., 5) подчеркивал, что если сокращение «к прикмахеру» и «может назваться непозволительным в хороших стихах», то все прочие слова... ничуть не противны ни правилам, ни пристойности театральной». Критик указывает на «свободу слога поэтического» и заслугу Грибоедова, «умевшего переложить в непринужденные рифмы язык разговорный»... Зато единомышленники Грибоедова поняли отчетливо значение писателя, сумевшего показать «невиданную доселе беглость и природу разговорного русского языка в стихах» (А. А. Бестужев в «Полярной звезде» 1825). О. Сомов (в

[1]) Сам Пушкин, как известно, оценил высоко комедию Грибоедова («много ума и смешного в стихах», «о стихах я не говорю: половина — должны войти в пословицу», — т. е. отметил как раз разговорный, жизненный характер языка), но с художественной стороной комедии, нарушающей все традиции ее высокого строения («Грибоедов видно не захотел — его воля») он был, видимо, несогласен. Об этом позже.

«Сыне отечества» 1825 г., 10) подчеркивал, что язык Грибоедова — «не тощий набор звонких или плавных слов и обточенных рифм, при изыскиваньи которых часто жертвовали... даже самою мыслью». Чацкий говорит с Софьей «языком не книжным, не элегическим, но языком истинной страсти»... Автор «соблюл в стихах всю живость языка разговорного; самые рифмы у него нравятся своею новостью, и в чтении заставляют забывать однозвучие ямбического метра и однообразие стихов рифмованных».

Но что знаменует собою это «снижение» лирического и драматического языка с «высот» современной Грибоедову литературы? Ведь вот его же лирическое стихотворение (1824 г.) «К Телешовой», написанное уже после «Горя от ума». Сколько здесь архаической выспренности:

Прерывно персей волнованье,
И томной думы полон взор:
Созданье выспренного мира
Скользит, как по зыбям эфира
Несется легкий метеор.

А замысленная Грибоедовым и частью написанная (в 1826—1827 гг.) трагедия «Грузинская ночь», на которую столько литературных надежд возлагал автор? Оставшиеся отрывки полны высокой риторики («слезные токи», «очи застылые»)... Даже первые водевили Грибоедова, переделки с французского («Молодые супруги», «Притворная неверность») изобиловали такими архаизмами:

Ах! убегая раз она домашней сени,
Тобою занята гораздо будет меней...

Блестящий, простой и четкий язык «Горя от ума» — не только плод большой работы: он характеризует и самую форму произведения. От пустых любовных водевилей или от высокой любовной лирики стих приходит к комедии четкого общественного характера, к сатире реалистической, полной волнующих жизненных эмоций. Разговорный, легкий стих «Горя от ума» — остро-общественный (оттого он и вошел в пословицы) язык определенной сатиры: в этом весь смысл так называемого «снижения» ad hoc. Путь, проделанный грибоедовским стихом, — путь сатиры. Знаток грибоедовских рукописей Д. А. Смирнов установил в окончательном тексте 117 вариантов сравнительно с «музейным» автографом, и большинство этих вариантов — языковых. Другой знаток Н. К. Пиксанов отмечает в разновременных текстах борьбу Грибоедова — «упрямую и счастливую, с трудностями языка и слога», ибо в ранней «музейной» редакции — множество «неудачных, тяжелых оборотов, устарелых слов, искусственных рифм, просодических неловкостей». Комедия, если она желала быть сатирической, если она должна была произвести известный эффект, бороться с известным реальным злом, должна была остро ощущаться современностью в своей языковой созвучности.

Софья в ранней редакции отвечает Чацкому:

Как не смутиться мне? От вас нет оборон,
Вы обзираете меня со всех сторон...

что в окончательном виде звучит так:

Да хоть кого смутят
Вопросы быстрые и любопытный взгляд...

Это — уже язык, понятный и нашей современности.

Работа над словом шла параллельно с работой по сокращению текста, художественному сжатию его, отбрасыванию лишнего в целях сконцентрирования силы для основного боевого удара.

Так, в первоначальной редакции 2 акта монолог Чацкого начинался: «Как истинно в Москве всему своя печать»... Он был менее язвителен, менее содержателен, менее обличителен и расплывчат, художественно вял и старомоден по языку. Уже в «музейном автографе» он заменен другим — «А судьи кто?», и здесь впервые появились и «Нестор негодяев знатных», и «амуры и зефиры», распроданные по одиночке. Здесь уже звучит четкое и ясное обличенье. В окончательной редакции монолог подвергся правке литературной, и содержание, в основном оставшееся нетронутым, уточнилось, и ярче выявились счастливые афористические стихи. Так, начало: «А судьи кто? За древностию лет В отставке, вечный толк их о придворных штатах, Сужденья черпают из забытых газет Годов семь-сот осмидесятых» заменено более энергичным: «А судьи кто? — За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма»...

В 1 д. рассказ Софьи о сне, занимавший 42 стиха и довольно многословный, растянутый: о травках, — «В ирисах, в бархатцах, в левкоях и в синели», и о том, как грустила с «милым человеком», — доведен до 22, более энергичных и сжатых стихов. В окончательной редакции репетиловских речей выброшены повторения, ничего нового не прибавляющие к его характеристике, также фарсовое его обещание: «Детьми займусь, вселю в них божий страх... Остепенюсь, моя жена уж более не ляжет спать одна», на что Хлестова подает резонную реплику: «Так, видно, никогда бедняжке не ложиться...» (Мейерхольдом эти стихи восстановлены). Есть ряд изменений, усиливающих первоначальный политический смысл: напр., Скалозуб в музейном автографе был больше вояка и добродушнее: «Давай ученье нам, чтоб люди в ногу шли. Я школы Фридриха, в команде гернадеры, фельдфебеля мои Волтеры». В окончательном тексте он уже дает политическую программу аракчеевщины: «Я князь-Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам... а пикните, так мигом успокоит»... Характеристика XVIII века: «прямой был век любви и страха», — любви, по контексту, к царю, что ли, — была заменена: «прямой был век покорности и страха». Есть ряд смягчений и поправок, неизвестно чем вызванных, — может быть, необходимостью спасать комедию в цензурном смысле, «подделываться», как писал сам автор, «к общепринятой глупости». Так, в монологе Репетилова: «Лохмотьев Алексей чудесно говорит, что за правительство путем бы взяться надо», заменено более мягким: «что радикальные потребны тут лекарства». В реплике Загорецкого: «Я сам ужасный либерал и рабства не терплю до смерти» — о «рабстве» выброшено; может быть, оно приводило на память Радищева, которого Пушкин назвал «рабства врагом»... Сокращена в реплике Молчалина характеристика Татьяны Юрьевны, вернее, ее мужа: «Занимает пост из первых в государстве, любезен, лакомка до вкусных блюд и вин... Она прикажет, он подпишет...».

Приводить многочисленные примеры работы Грибоедова над формой стиха, над словом, над образом не будем: сопоставив тексты разных редакций, видишь ясно, как из создания, «почти совершенного», отсекается это «почти» — архаическое, вялое, малоценное, лишнее; как стих становится более энергичным, четким, язык более разговорным, звучащим ярко и сильно и сегодня — через сто лет со времени создания своего. «Теперь гладко, как стекло», писал автор о тексте, прежде казавшемся ему «несовершенным», «нечистым»...

III.

Само построение, композиция грибоедовской комедии в свое время вызвали ряд нападков критики.

Известный водевилист А. И. Писарев (в «Вестн. Европы» 1825 г.) писал, что из «Горя от ума» «можно выкинуть» каждое из эпизодических лиц, «заменить другим, удвоить число их — и ход пьесы останется тот же. Ни одна сцена не истекает из

предыдущей и не связывается с последующей. Перемените порядок явлений, переставьте нумера их, выбросьте любое, вставьте, что хотите, и комедия не переменится. Во всей пьесе нет необходимости, стало, нет завязки, а потому не может быть и действия». П. А. Вяземский поддержал позже эту же точку зрения формальной драматической эстетики: «Действия в драме нет. Здесь почти все лица эпизодические, все явления выдвижные — их можно выдвинуть, переместить, пополнить и нигде не заметишь ни трещины, ни приделки». И Белинский указывал на отсутствие стройности в развитии действия, особенно на 3-й акт с его бытовыми фигурами: «все это как-то несвязно с целым комедии, выставляется само собою, особно и отдельно». «Комедия разрывается беспрестанно, — писал критик «Библиотеки для чтения» (1836 г.), — и только воля автора разделила ее на четыре акта. Можете разделить ее на десять, на двенадцать штук, вынуть одну штуку, убавить, прибавить — целое ничего не потеряет».

Уже Пушкин после первого быстрого чтения комедии, прослушав Чацкого «не с тем вниманием, коего он достоин», писал Вяземскому (25/I 1825 г.), что «во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины», но, обдумав свое впечатление, уже через несколько дней в письме А. А. Бестужеву отметил, что «драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следовательно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов». Говоря о прелестном «натуральном» элементе комедии («недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину»), на котором, по его мнению, «должна была вертеться вся комедия», т. е. ее художественно-драматическая композиция, Пушкин прибавляет: «но Грибоедов, видно, не захотел — его воля».

Об этой «воле» авторской отчасти говорит О. М. Сомов, друг Грибоедова, очевидно, знакомый с замыслами его, в цитированной уже нами статье: Грибоедов «не хотел итти тою дорогою, которую углаживали и, наконец, протоптали комические писатели от Молиера и Пирона до наших времен». «Посему обыкновенная французская мерка не придется по его комедии, здесь нет ни плута слуги, около которого вьется вся интрига, нет ни jeune premier, ни grande coquette, ни pére noble, ни raisonneur... Здесь характеры узнаются и завязка развертывается в самом действии; ничто не подготовлено, но все обдумано и взвешено, с удивительным расчетом»...

Для нас сейчас ясен весь «расчет» этот: Грибоедов изменил обычный тип комедийного единства и действия, нарушив все художественные законы завязки, развития действия и диктуемой этим развитием обусловленности действующих лиц, именно для того, чтобы осуществить ярче идею общественной сатиры, цель которой, — как правильно угадал грибоедовский замысел Пушкин, — «характеры и резкая картина нравов».

Сам Грибоедов (в своем письме П. А. Катенину в январе 1825 г.) отвечает на эти формальные упреки — прежде всего «погрешности в плане»: он рассказывает этот «план», фабулу, сюжет пьесы — «простой и ясный по цели и исполнению»: «девушка, сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку; и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих» и т. д. «Сцены связаны произвольно» — так же, как в натуре всяких событий, мелких и важных. «Характеры портретны?» Ну, что ж!.. Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии» [1]). «Всякое ремесло имеет свои хитрости, и не лучше ли вовсе без хитростей? Я как живу, так и пишу свободно и свободно».

---

[1]) Сравни с этим реплику Грибоедова в романе Ю. Тынянова («Кюхля»): «Пора растрясти нашу комедию, где интрижка за интрижку цепляется, а человека нет ни одного — все субретки французской комедии... Не действия в комедии хочу, а движения. Надоела мне завязка, развязка, все винтики вываливаются из комедии нашей».

Такова «поэтика» Грибоедова. Эта авторская оценка своего произведения с формальной стороны, со стороны «свободного» и натурального» («в натуре всяких событий») творчества есть оценка творчества сатирически-общественного.

Не до художественных идеалов формы тут было, когда надо было осуществлять «резкость» в самой живописи; пусть будет излишнее количество эпизодических лиц — сколько вместится, независимо от завязки, — тем лучше. В пьесе противопоставлено лицо обличителя всему быту, в этом — идея пьесы, «план», смысл ее, действие. Действие здесь в речах, в слове, в внутреннем пафосе обличения. А. А. Бестужев, близкий к грибоедовскому кружку человек, очень четко выразил эту — не эстетическую, а общественную — установку грибоедовской композиции: «Говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится»... В комедии есть зато главное, к чему стремился автор: «толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах»... В ней есть действие в «чувствованиях», в «речах», и это есть тот особый, признанный Грибоедовым над собою «закон», о котором говорит Пушкин, — закон свободной резко-сатирической природы комедии, который он осуществляет с искусством «истинно-комического гения» (Пушкин). Грибоедов не хочет эстетической правды: она смягчит и убьет сатиру, идеологическое «содержание» ее; он не боится «неэстетических» условностей, ибо условность — элемент сатиры.

Вот почему в работе Грибоедова над текстом только кое-где заметна работа над самой драматургической структурой, в смысле более яркого и более художественного сценического оправдания действия и фабулы.

Такова, напр., пришедшая ему «в голову» по дороге из Москвы в Петербург (в июне 1824 г. — письмо к Бегичеву) «новая развязка»: «я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее». Грибоедов говорит здесь о замечательных 68 новых стихах, вставленных в 12-е явл. 4 акта — сцене заигрывания Молчалина с Лизой, дающей много новых штрихов и для характеристики Молчалина, и для сценической психологии дальнейшего поведения Софьи: здесь и реплика Молчалина: «Без свадьбы время проволочим...» и «я в Софье Павловне не вижу ничего завидного», «любовника я принимаю вид в угодность дочери», вся низость и подлость молчалинской натуры: «готовлюсь нежным быть, а свижусь — и простыну», и все его, наконец, житейское credo, знаменитое: «Мне завещал отец» и т. д. — то, что ставит определенные точки над характеристикой этого героя. Правду эту о себе он говорит Лизе в порыве откровенности (на всякого мудреца довольно простоты), желая оправдаться перед ней, девушкой подневольной, которая может понять его зависимость от бариновой дочки, — правду, которая может ему заслужить ее доверие вдобавок.

Мы не знаем, какую, собственно, редакцию «Горя от ума» читал Пушкин, когда писал, что «Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли было сделать из него и труса?», — но в редакции, оставленной Грибоедовым в Москве Бегичеву («музейный автограф»), ничего этого не было, — того, что потом вставлено, — «новой развязки» — всего этого молчалинского конфуза, молчалинское естество не было еще раскрыто в этой ночной наготе до конца, — и когда Чацкий неожиданно появляется перед Софьей, идущей навстречу Молчалину, то Софья, вовсе еще не разочарованная в своем герое, имеет (по ранней редакции) все основания негодовать и бросить Чацкому совершенно справедливый укор: «Какая низость подстеречь, подкрасться... Чтó этим думали к себе меня привлечь? И страхом, ужасом вас полюбить заставить?...» Этих слов Софьи нет в окончательной редакции, а есть «слезы» понимания после того, как ей самой воочию раскрылся Молчалин в своей подлости: «Я виню себя кругом. Но кто бы думать мог, чтоб был он так коварен!».

Другое изменение в сценической конструкции касается психологической истории происхождения сплетни о безумии Чацкого. В первоначальной редакции Чацкий, говоря Софье о Молчалине, в котором «Загорецкий не умрет», заканчивает тем, что «ей на ухо» (по ремарке автора) шепчет многозначительно: «О! давишнее вам так даром не пройдет», и уходит. И Софья видит в этом определенную угрозу (о которой Лиза ее предупреждала еще после падения Молчалина с лошади и ее обморока): «Грозит и тешится, и рад бы что есть силы Молчалина при всех унизить»... И тут же подвертывается случай погубить Чацкого, отомстить ему, предупредить исполнение его угрозы, полусогласившись с фразой N. о безумии Чацкого. В окончательной редакции этой фразы Чацкого, «сказанной на ухо» и воспринятой Софьей, как угроза, нет. Н. Пиксанов («Атеней» 1924, 1—2) сожалеет об этом выброшенном «центральном стихе» (по определению Д. Смирнова) драмы, которую освещает он, «сжатый, энергический». Такой «важный момент в сценической коллизии исчез из позднейшего текста», и везде позже дана «новая, бледная редакция». Нам же кажется, что, выбросив этот стих угрозы, Грибоедов желал сделать распространение сплетни о Чацком, может быть, и менее театрально-оправданным, но зато и менее обдуманным, более случайным. И Чацкий — не человек угроз, и Софья — не опытная мстительница-женщина, а легкомысленная и капризная девушка, пожелавшая не столько зло отомстить, сколько посмеяться над Чацким, не придавая «шутке» очень серьезного значения: «Угодно ль на себе примерить?». Но в сценической коллизии, конечно, выброшенный момент угрозы — элемент очень острый и сюжетный, и здесь мы видим только лишнее доказательство того, что Грибоедов не особенно считался с традиционным сценически-обоснованным построением плана и развития действия. Его не очень интересовала здесь художественно-формальная оправданность надвигающейся развязки, и он шел уверенно на сатирическую у с л о в н о с т ь ее.

IV.

Более значительные, уже по существу, изменения при работе над текстом коснулись характеристики героини комедии — Софьи. И здесь эти изменения так же целесообразны и в общем плане «закона», поставленного себе драматургом.

Меткая оценка образа Софьи, сделанная Пушкиным в свое время, остается как-будто в силе и сейчас: «Софья начертана не ясно: не то..... не то московская кузина». В этом колебании между характеристикой непечатного типа, означающей женщину легкого поведения, и характеристикой Софьи, как мечтательной, сантиментально-наивной (но «не глупой», как определял ее сам автор) и пустой московской барышни, виноваты смущающие всех исследователей и критиков комедии ночные свиданья Софьи с Молчалиным, которые вызывают откровенный иронический смех не только у одной Лизы. Внешняя сценическая коллизия очень сближалась в данном случае с французскими фарсами и водевилями, господствовавшими тогда на сцене. «Не совсем благопристойным» находил эту коллизию Катенин; А. И. Тургенев назвал интригу «подлой», а гр. Д. И. Хвостов (об одах которого так непочтительно выражался, как известно, Пушкин) считал Софью «столь развращенной, что недостойна быть на театре». Оттуда и пошла, построенная на ночных свиданиях Софьи, известная непечатная пародия, приписываемая (кажется, несправедливо) Баркову. Подобную оценку Софьи повторил и кое-кто из потомков: «любви все возрасты послушны», — писал в 70-х гг. М. В. Авдеев, обличитель писаревского толка, — и мы не бросим камня осуждения в хорошо развитую 17-летнюю красавицу, которая, прежде замужества, пробует силы, так сказать, in partibus infidelium», — тем более, что есть дурная наследственность со стороны мамаши» («бывало, я с дражайшей половиной...»), да и папаши. «О любовнице Молчалина мы бы пожалели, влюбленную в Молчалина мы презираем», — резюмировал свой взгляд критик.

Иначе несколько, но так же отрицательно, подошел к Софье А. С. Суворин, писавший, что Софья «не только слепа, но и лжива» в своей любви к Молчалину: «Она лжет с начала до конца, лжет мелко и трусливо, чисто по-рабски. И мстит она по-рабски, совершенно в тоне того общества, идеалы которого она вполне себе усвоила».

Но текст Грибоедова, конечно, противоречит всем таким высказываниям, — и текст вовсе не иронический: нельзя же подходить к Софье с мировоззрением Лизы, которой, конечно, не могла быть не чужда вся психика дворянской девушки 20-х гг. Пиксанов приводит тут кстати один вариант из пушкинского «Евгения Онегина», иллюстрирующий эту психику:

Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан...

Софья совершенно ясно определяет характер своих ночных свиданий (и этот характер, за пределы которого Молчалин, очевидно, как подневольный, не мог переходить, толкал его накапливаемую и не растрачиваемую энергию к простой «природе» любви с Лизой): «держались более вы робости во нраве, чем даже днем и при людях»... Он в ее глазах «враг дерзости, всегда застенчивый, стыдливый!..». Если б он был иным, он не был бы Молчалиным. «Пойдем делить любовь плачевной нашей крали» — в устах самого Молчалина именно подчеркивает сантиментальный характер любви.

Софья — скорее «московская кузина». Сантиментальность ее — в духе времени, воспитывавшегося на французских «славных романах века» (примечание Пушкина). Софья не романтическая Татьяна, но и ей, конечно, «рано нравились романы; они ей заменяли все; она влюбилася в обманы и Ричардсона и Руссо». Софья любит еще и другое — Кузнецкий мост, и вечные обновы, балы, танцы: она не Татьяна, конечно, — теплая, «милая Татьяна», — с тобой теперь я слезы лью...», — ее «плачевность» другого типа, она скорее та упоминаемая у Пушкина родственница Татьяны — «княжна Алина», —

Ее московская кузина...

которая тоже увлекается Грандисоном, «вздыхает по другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо боле», но которая позже превращается в хорошую хозяйку и жену, «привыкла и довольна стала: привычка свыше нам дана»... Об этой «кузине», вероятно, и думал Пушкин, когда высказывался о Софье в своем известном письме к Бестужеву.

Часть критики видит в Софье черты даже значительной личности: Гончаров находит в ней «сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте... Недаром ее любил и Чацкий!». В ее образе «прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию». И Белинский находил в Софье «какую-то энергию характера... она не дорожит ничьим мнением и, когда узнала, что такое Молчалин, с презрением отвергает его, грозя все открыть отцу».

Все эти противоречия в отношениях критиков к образу Софьи об'ясняются очевидной незавершенностью образа в представлении самого автора и значительной ломкой первоначального замысла. Между замыслом первой редакции и осуществлением в окончательном виде — большая пропасть, как ясно увидит читатель, сравнивая тексты. Пиксанов («Атеней» 1924 г., 1—2) путем этого сопоставления показывает, что «образ Софьи задуман был необычайно оригинально и сложно», в «двойственном» плане: «изобразить натуру глубокую и сложную, но связанную наносной сантиментальностью». Однако этот замысел не был разработан, «не завершон в окончательном тексте»: «некоторые характерные черты, зарисованные в ранних редакциях, потом исчезли, отчего образ проиграл в ясности».

Нам же кажется, что автором это «снижение» образа Софьи было сделано сознательно, и в его плане глубоко и тонко продумано. Действительно, Софья первоначального замысла обнаруживает черты смелости, независимости, значительной натуры. Скалозубу в ранней редакции она рассказывает: «сама не берегусь, верхом скачу, лечу, мой конь с огнем». Сброшенная конем, она «не охнула, привстала и опять на нем отважилась скакать». Ряд постепенных переделок смягчает эту черту, и в последней редакции «конь с огнем» заменен «каретой»: «карета свалится, поднимут, я опять готова сызнова скакать» — это уже московская барышня.

В любви Софья ранней редакции так же смела, умна, не считается с общественным мнением. Правда, она не поняла Чацкого, ей чужда его вечная язвительность и беспокойство натуры — «что встреча с ним у нас, то ссора», и она предпочитает «серьезного» Молчалина, «несмелого», не разглядев его глупости — но ведь игра любви всегда слепа и кто девичьему сердцу указ, и любят, ведь, не за ум и за таланты,—ведь Чацкий видит же духовную чуждость свою Софье, однако, все-таки «без памяти» любит ее... — в этом предпочтении умному «дурака» и заключается один из существенных трагикомических элементов «горя» Чацкого, — но зато, пусть слепо, глупо, нелепо, — полюбив, Софья беззаветна. На слова Лизы: «грех не беда, молва не хороша» Софья отвечает стойко и смело (в «м у з е й н о м автографе»): «Предвижу я, достанется терпеть! Мне не страшна людская слава». И на совет практической Лизы подсесть к Чацкому и «подать ему надежду», чтобы предотвратить возможные пересуды после сцены с обмороком, Софья мужественно отвечала: «Не стану лгать, не уважаю света». Этот стих был сразу и вычеркнут автором. Также была вычеркнута и в основной текст даже «музейного автографа» не попала другая реплика Софьи, которою она отвечает на опасения Лизы, что Молчалина «прогонят со двора»: «Куда его, и я за ним же вслед». А ведь эта реплика рисовала Софью женщиной «недюжинной», умеющей в любви итти на героические жертвы — это уже не «московская кузина»! Реплику же Софьи о том, что ей «не страшна людская молва», автор заменил безразличным и капризно-легкомысленным: «Что мне молва? Кто хочет, так и судит». И, придав всему этому характер своенравного легкомыслия пустой барышни, прибавляет: «Бывает хуже, с рук сойдет».. Вот все, на что рассчитывает позднейшая Софья: «с рук сойдет»...

Гончаров был прав, считая, что Чацкий «разыграл роль Отелло, не имея на то никаких прав». Софья и в окончательной редакции говорит: «А кем из них (т. е. Чацким и Скалозубом) я дорожу? Хочу люблю, хочу скажу». Здесь балованный ребенок. Но первоначально тут же следовало: «И что же, наконец, в моей любви худова? кому я неверна? кому давала слово?». Это уже протест женщины, сознающей себя человеком, распоряжающейся собою сознательно. И в финальной сцене «музейного автографа», где не было еще, как мы знаем, такой показательной позднейшей сцены Молчалина с Лизой, — Софья, возмущенная Чацким, «подкрадывающимся», «подстерегающим» в тиши, — встает перед нами в свете глубокой драмы: в устах Софьи звучат здесь ноты свободной женщины, — в своем умственном развитии вышедшей из-под опеки теремов и особняков фамусовских, — необычные для тех дней. Перед нами образ девушки, полюбившей и собою не дорожащей даже перед лицом тирана-отца («Вы знаете, что я собой не дорожу»),— не пустой кисейной барышни, ищущей прикрытых утех. «Отчетом я себе обязана самой!..» — говорит Чацкому эта Нора александровской эпохи. «Однако вам поступок мой чем кажется так зол и так коварен? Не лицемерила, и права я кругом!..» Это совсем не та лживая и мелко-трусливая рабыня, о которой пишет Суворин. Но когда в позднейшей редакции введена сцена молчалинского конфуза и выброшен весь этот эмансипационный монолог героической романтики, — на долю Софьи остаются только слезы — слезы одураченной девушки, не сумевшей разобраться в своем «предмете». «Я виню себя кругом». Эта Софья более правдоподобна для фамусовской Москвы, и здесь более с а т и р и ч е с к и развязалась до конца сюжетная линия не только Молчалина, но и Софьи.

Вот почему мне кажется не достаточно обоснованным упрек Пиксанова Грибоедову в «недоговоренности» и «недоработанности» в характеристике Софьи, «смущающей и критиков, и актрис». Да, Грибоедов сознательно делал то, в чем его упрекают, — «последовательно сглаживал, притушал многие яркие черты в характеристике Софьи». Он смягчил проявления сильных чувств, черты независимости, внутренней сложности образа Софьи, и это не только потому, что искал большей художественной правдивости, правдоподобия, реальности, типичности: в этом превращении почти героической девушки в образ «московской кузины» кроется не только определенный художественный смысл, но и определенная выношенность с а т и р и ч е с к и-о б щ е с т в е н н о г о замысла. Все дело — в стиле: и стиль Софьи Павловны Фамусовой Грибоедов, наконец, уловил в окончательной редакции, сделав свою героиню с а т и р и ч е с к и - к о м е д и й н ы м персонажем в «плане» всей пьесы. И здесь налицо то «снижение», процесс которого в применении к языку комедии мы уже выше наблюдали: «снижение» высокой трагедии во имя сатирически-бытовых и общественных задач. Не художественное разрешение образов героинь и любовных драм их, а более резкое обличение всего этого мира московского барства — задание автора, тенденция, наиболее отчетливо выявившаяся в работе над образом Софьи. Этот образ был задуман и даже частично осуществлен в первых редакциях героически и романтически, — и, повторяю, не художественная неясность и «недоговоренность», а последовательность и строгий «расчет» был в этом р а з в е н ч а н и и, разоблачении образа: Софья не должна подыматься над уровнем фамусовского круга, она — типичный продукт, тепличное растение этой среды. Цельность сатирического фона «грибоедовской Москвы» не нарушена, все герои пьесы однотипны.

Если бы Софья была иной, как мог бы звучать в монологе Чацкого стих о «предательстве в любви»? «Вы помиритесь с ним, по размышленьи строгом» — так оно и будет, должно бы быть... И чем чувство «оскорблено» (в первоначальной редакции этого не было)? Не тем, что любят другого (в этом «отчета» нельзя требовать, — пусть бы только любовь была настоящая, честная, смелая, какою, была и сама Софья первоначального замысла), не тем, наконец, что предпочли ему — умному, честному благородному — Молчалина, а тем, что он, Чацкий, был «слепец», не видал, пред кем «так страстно» и так унизительно «был расточитель нежных слов», не видал, что об'ект его чувств — плоть от плоти этой фамусовской ненавистной Москвы. При Софье первоначальной, героической он был бы ранен в сердце роком слепым, — может быть, на смерть, — при этой, нынешней Софье он только оскорблен за свое чувство, брошенное на «негодяйку» (Грибоедов), на недостойное существо... Если б Софья была иной, нарушилась бы та гармония п о л н о г о одиночества и полного «горя», которая является уделом Чацкого на московском его поприще: «все гонют, все клянут», во всех сферах жизни — личной и общественной...

V.

И этот мудрый смысл, какой мы видим в текстовой работе Грибоедова над образом Софьи, подтверждается и историей текста последнего монолога Чацкого, в окончательной редакции которого тот же Пиксанов подчеркивает более широкую и глубокую «оценку фамусовской Москвы и обобщение общественной драмы», чем в раннем музейном тексте.

На однотипном, выдержанном в своей цельности, фоне фамусовского мира — одна индивидуалистическая, несколько романтическая фигура (а не две, как это было первоначально при иной редакции Софьи), один герой — истинный герой грибоедовской пьесы, — художественно не очень ясный, незавершенный, может быть, потому, что это alter ego автора, не отвлеченная, во вне созерцаемая фигура, — и, может быть, не столько образ художественный, сколько условно-поэтическое воплощение жара душевного и пылких дум передовых общественных групп, еще не

выкристаллизовавшихся ни в жизни, ни тем паче в литературе. Вот в чьих устах снижена «высокая лирика» пушкинской традиции и вот где стих торжествует, как «эмоциональное средство выражения» известных идей, стих, «отяжеленный мыслью», та «красноречивая патетическая исповедь», о которой говорится у Эйхенбаума. И герой сам «снижен» во всей своей фигуре, снижен с высот трагических до реальной общественной действительности, опущен с высот традиционных героической позы и героического содержания до обличения быта, будней... Пушкин так описывает этого героя: «пылкий, благородный и добрый малый»... «Добрый малый» — т. е. человек без живописного плаща и без «мировой скорби» во взоре... И волнуют его не мировые вопросы, не проблемы бытия, а самая обыкновенная любовь «негодяйки» и будничная бытовая жизнь московских сановников.

Единомышленники Грибоедова поняли этот смысл образа Чацкого. Автор «вовсе не имел намерения выставлять в Чацком лицо идеальное» — писал О. М. Сомов: «он представил умного, пылкого и доброго молодого человека, но не вовсе свободного от слабостей — заносчивости и нетерпеливости». Кн. В. Ф. Одоевский тогда же («Московский телеграф» 1825 г.) писал, что автор в Чацком «не думал представить идеала совершенства, но человека молодого, пламенного, в котором глупости других возбуждают насмешливость, — человека, к которому можно отнести стих поэта: «Не терпит сердце немоты»...

Чацкий — страстный обличитель, сатирически резкий отрицатель, бунтарь — не философ, не мудрец, не трагическая фигура углубленных переживаний, а весь на поверхности сатирической легких и страстных речей.

В ранней редакции в последнем монологе Чацкого акцент на иной коллизии — не сатирической, а драматической: Чацкому приходится сознаться — после правдивой и смелой отповеди Софьи — в некоем своем конфузе. С горькой иронией он признает свою «вину» перед Софьей («я перед вами виноват») — в том, что ставил ее («не знаю почему») в ряд с сотнями других современных московских барышень, «искательниц фортун и женихов чиновных», которые уже с юности научены «не сердцем поискать, а взвесить и расчесть, и продавать себя в замужестве».

Вы свыше этого...

т. е. Софья — не опытная расчетливая кокетка, и мы знаем, что она — та первоначальная Софья — действительно, идет только за голосом «сердца» («не лицемерила и права я кругом»). В окончательной редакции это начало монолога выброшено: Чацкий не может понять, в чем он «виноват». Софья — одна из многих, не хуже и не лучше, московская барышня, с которой можно только «гордиться» своим разрывом... Если она и «свыше» других, то в чем же проявляется ее превосходство? И она предпочитает беспокойному страстному человеку — тихое спокойное фамусовское «семейное счастье»: Молчалин никаких беспокойств не несет с собой, он «немножко прост, и очень мил, чтоб вы могли его беречь и пеленать, и спосылать за делом»... Элемент значительного лирического драматизма все же остался и в окончательной редакции монолога, этот драматизм резко контрастирует с сатирическим смыслом всей комедии и подчеркивает этот смысл: монолог подытоживает любовные искания Чацкого и его тревоги на протяжении всей комедии. это — душевная «прокламация» его. Когда Пушкин (а за ним и многие) назвал Чацкого «совсем не умным человеком», то это относилось не только к его поведению общественному, но и личному — в его романе с Софьей. Последний монолог Чацкого — этот «громокипящий» кубок эмоций, лирики, остроты — реабилитации Чацкого перед зрителем, перед публикой... Разве был «умен» Пушкин перед своей «Софьей» — Гончаровой, расточая ей все перлы своей гениальной души? А «кого» себе избрала, «кого» предпочла та — пушкинская — «Софья»?... Эта видимая, столь презираемая окружающими «глупость» Чацкого, чуждая «малень-

кому», практическому, житейскому, «призрачному» (как сказал бы Белинский) уму Фамусовых, — есть подлинный большой ум, — ум чувств полных беззаветной пылкости и огня сердечного...

Четыре акта пылал, горел Чацкий подлинными эмоциями, страстями, которые, не задумываясь о месте, лицах и смысле, — нетерпеливо всюду выплескивал, высказывал — на балу, в обществе, перед Скалозубом, Фамусовым, цену которым и умственный горизонт которых он, конечно, знает... В Софье он думал найти во всяком случае искренность, если не любовь: «зачем мне прямо не сказали» и т. д. (введено только в позднейший текст), но и здесь обманулся в «слепоте» страстей... «Я с вами тотчас бы сношения пресек»... Да, этот монолог «под занавес» — монолог «оскорбленного чувства» — есть художественно-психологическая реабилитация Чацкого, оправдание его пылкого любовного жара, некое «возвеличение» его в контраст с стилем «снижения» всей комедии. Одновременно последняя редакция монолога и усиливает черты сатирического обличения: здесь реабилитация и общественных его выступлений — того, что делало Чацкого в глазах критиков «неумным» и в этом смысле. «Все, что говорит он, — очень умно, — писал Пушкин. — Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это не простительно. Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобн.». Впрочем, Пушкин заранее сделал уже известную читателю оговорку: «драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным»... Целью Грибоедова и «законами» его поэтики были не эстетически-художественное совершенство образов, а психологически-сатирическая оправданность их. Конечно, цену лицам, с которыми Чацкий сталкивается, он знает, но он не может не говорить им того, что он говорит, ибо «в ту минуту, когда предрассудки трогают его, он не в силах владеть своим молчанием» (О. Сомов), и еще потому, что говорит он не «им», презренным, — а слушателю, театральной публике, читателю — через головы тупоумных Скалозубов и Фамусовых. Это — не философ, не мудрец, не трагическая фигура углубленных переживаний, а весь места, героев, а условно-сатирический метод, оправданный силою эмоций и авторской искренности. Об этом «большом», настоящем уме чувств и страстей — мы выше и говорили.

Этот метод в позднейшей редакции усилен, подчеркнут введением большой обличительной вставки, одного из самых пламенных мест комедии, подытоживающих образы всей «грибоедовской Москвы», в изобилии разбросанные по пьесе: «Мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором»... Это обличение всей Москвы: «Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы».

Это подлинное — в плоскости не трагедии, а бытовой, сатирической реальности — горе от ума, горе от жара душевного, не находящего себе выхода и выбрасываемого зря на ледяной полюс... Путь этому энтузиазму, личному и общественному, указан один: здесь «сниженный» с условно-театральных, традиционно-героических высот «добрый малый» опять подымается автором над поверхностью тусклой жизни — становится положительным типом, героем подлинным будущих легенд.

«Пойду искать по свету»... Мы знаем, что это было написано в 1824 г. у самого кануна декабрьского восстания, что не далеко нужно было итти Чацкому — рядом были его друзья, будущие декабристы, такие же энтузиасты — тот же Кюхельбекер, которому Грибоедов читал в Тифлисе еще первые акты своей комедии, Бестужев, Рылеев. И, конечно, там, в этом кругу горячих («не умных»?) людей — там, на площади Сенатской, в героической п р о з е, нашел он «уголок» своему оскорбленному чувству...

VI.

Я не буду здесь, за недостатком места, останавливаться на различных отношениях критики к комедии Грибоедова: в разноречивых взглядах на комедию можно установить некую систему. Одна сторона исходила из эстетических и самодовлеющих художественных принципов, и, естественно, многое ей не могло нравиться у Грибоедова: Пушкин, Надеждин, Вяземский, М. А. Дмитриев, Д. И. Писарев, сюда же должен быть отнесен Белинский своего первого периода («примирения с действительностью»), исходивший из законов «поэзии формы», «кроткого благолепного сияния эстетической красоты». Эта критика должна была вообще отрицать форму сатиры, как форму «снижения» искусства. Другой точки зрения на комедию — общественной и исторической — придерживался Чернышевский, Григорьев, Герцен, Д. И. Писарев; примиряющую позицию занял Гончаров.

Нас здесь интересует социальная проблема, выдвинутая комедией, само содержание сатиры Грибоедова и ее звучание в наши дни.

О. И. Сенковский (Брамбеус) (в «Библ. для чт.» 1834 г.), отводя грибоедовской комедии место «Свадьбы Фигаро» в нашей литературе, называет ее «политической», ибо в ней «выведены на сцену политические понятия и привычки общественные». Сравнивал ее с комедией Бомарше, имевшей для предреволюционной Франции значение «государственного переворота», и Герцен. Так, несомненно, надо оценивать комедию не только потому, что она полна целого ряда чисто злободневных общественно-политических намеков: «ланкарточные взаимные обучения» Хлестовой (школы ланкастерские) [1]), с которыми связан был, между прочим, ген. М. Ф. Орлов (один из энергичнейших членов Союза Спасения и благоденствия) и процесс декабриста В. Ф. Раевского; или такой же злободневный «педагогический институт» княгини Тугоуховской, «где упражняются в расколах и безверьи профессоры» (процесс 1821 г. против профессоров этого института — Галича, Арсеньева и др.) и т. п. Комедия вообще «насыщена социально-политическим» содержанием, как ни одна в русской литературе (Пиксанов), это — «самое серьезное политическое произведение русской литературы XIX в.» (Ключевский). Написанная за год до декабристского восстания, оборвавшего безмятежный, казалось, сон старого XVIII века — «времен Очаковских и покоренья Крыма» — пережившего себя и затянувшегося до 20-х гг. следующего века—она подводит идеологические итоги старой России и знаменует перевал к новой — перевал, который в военной истории ознаменовался кампанией 12 года. «Горе от ума» явилось осиновым колом для XVIII в., «дух» которого еще бродил, «как заколдованная тень» — и оно же явилось поэтическим (как комедия Бомарше) предчувствием революционных бурь. «Горе» было стране, что эти бури в зародыше были раздавлены и прогремели только холостым выстрелом. Политический скептицизм Грибоедова, видевшего «слабые ребяческие стороны» движения декабристов, «лжелибералов» (воспоминания Завалишина), часто повторявшего, что «100 прапорщиков хотят изменить весь государственный быт в России», был оправдан историей.

Идея «Горя от ума» — не какая-либо глубокая, обобщающая, философского или психологического характера, — идея общественно-политическая, взятая притом и не в углубленном социологическом анализе, а в поверхностно-сатирическом разрезе, — вся высказана в противопоставлении Чацкого старой Москве и в пылких речах самого Чацкого. Когда делаются попытки систематизации, сводки всех идеологических моментов комедии, как это делает Пиксанов в своих послед-

---

[1]) В записке А. Х. Бенкендорфа Александру I (в мае 1821 г.) о Союзе благоденствия указывалось, между прочим, что каждый член Союза обязываем был «к освобождению крестьян» и распространению этих самых «училищ взаимного обучения».

них работах, то легко впасть в ряд ошибочных заключений, в частности, неправильного «сужения политической содержательности» комедии. Конечно, легко доказать, что обличения, например, крепостного права в комедии (против Нестора негодяев знатных, променявшего толпу слуг на три борзых собаки, или же против театрала-помещика, распродавшего поодиночке «амуров и зефиров», предварительно отторженных от своих семей) — явно недостаточны и направлены как будто не столько против самого крепостного права вообще, сколько против дикого злоупотребления им; можно доказать, что бледно и расплывчато рисуется в пьесе облик нового поколения, что резко проявляются черты консервативного национализма и выявлены резко-неприятно чисто-«славянофильские» черты «позитивной идейности».

Но ведь задача пьесы была не в борьбе же с крепостным правом; это ведь комедия не о крепостном праве, а о старой барской Москве; крепостное право в пьесе не показано в художественных формах, в художественных образах, оно где-то незримо, но явственно живет за кулисами, как не показан бюрократизм в своих живых образных проявлениях, в своем действии драматическом, — о нем только рассказывается; зато показано другое в живых образах, ярких социально-бытовых формулах — фамусовщина, молчалинство, скалозубовщина, эта художественно-историческая формулировка аракчеевщины (и позднейшей николаевщины). Такого «знака» художественного, символа для крепостного права в его живом художественном проявлении (не считать же отдельных штрихов обращения Фамусова с Лизой) нет в комедии, а если нет — то и спрашивать не приходится.

О крепостном праве в пьесе только г о в о р и т с я, — упоминается, главным образом, в обличительных сентенциях героя, — так как пьеса ударение делает, повторяю, не на полном художественном изображении социально-бытовых отношений разных общественных классов эпохи, не на противопоставлении помещиков и бар крепостным крестьянам, а на расслоении в среде самого барства, на рождающихся внутри него противоречиях. Все дело в пьесе не в действии и фактах, а в диалогах и монологах, в сентенциях, в эмоциях; на сцене борьба и действие только идеологические, борьба мнений, суждений, идей. Это комедия, главным образом, идей, а не фактов, но и идея — факт первостепенный. Важно то, что комедия в некоторых своих моментах дышит пламенным протестом и, между прочим, против крепостничества в разных его проявлениях, против самого духа рабства, и в этом дыхании ее пламенном — смысл ее и общественно-политическое значение даже в конкретном вопросе, не стоящем в центре пьесы.

Другой упрек также необходимо осознать. Сейчас звучат для нашего уха совсем странно и непривычно все националистические нападки Чацкого на иностранцев, но отсюда далеко еще до обвинения Грибоедова в политическом консерватизме. Национализм на известных стадиях общественного развития является не только отрицательным реакционным явлением. Можно показать, что стрелы обличений Чацкого и его друзей, воспринявших идейные влияния Запада в лучшем смысле (Языков в 1809—1814 гг. переводил Монтескье «О существе законов» и Кондорсе, Ник. И. Тургенев в Геттингене писал «Опыт теории налогов», Рылеев читал не только Бентама — ведь и у Пушкина «иная дама толкует Сея и Бентама», — но и Руссо, Вольтера, Гюго, Ламартина, Шатобриана; сам Грибоедов знал и любил иностранную литературу), не являются еще доказательствами национальной ограниченности и, главным образом, направлены против «жалкой тошноты» подражательности, чисто внешнего «западничества», а все упреки в ношении фраков — нелепые на наш взгляд, когда мы к фракам уже привыкли — являются в его устах только более показательными и яркими примерами безоглядного подражания внешним западным новшествам, вызвавшим в русской жизни «щеголей» и «щеголих», петиметров и кокеток конца XVIII в. Ник. Ив. Новиков вступил еще в свое время в борьбу с галломанией, и его журнал «Ко-

шелек» (1774 г.) специально был направлен против этого увлечения всем французским. Новиков был передовым, прогрессивным человеком своего времени, за свои убеждения жестоко пострадавшим, но и он мог противопоставить французскому воспитанию одни только добродетели предков, старые русские начала. В протесте Чацкого против «слепого и рабского» подражания есть, конечно, и отклик недавних, связанных с войной 12 года обывательски-национальных мотивов, когда барыни на-время заменяли робронны и фуро-ферме сарафанами и кокошниками. Но националистические настроения окрашивали и идеологию декабризма. «Письма из сожженной Москвы в Нижний-Новгород к другу» И. М. Муравьева-Апостола (1813—1815) тоже направлены против галломании. А Рылеев писал Пушкину по поводу «Цыган» (в 1825 г.), что поэт «радует истинно-русские сердца», — терминология, в наше время звучащая весьма реакционно. М. О. Гершензон (в «Истор. молод. России») рассказывает об М. Ф. Орлове, что, «подобно большинству позднейших декабристов, он соединял с просвещенным либерализмом горячее чувство национального достоинства, доходившее подчас до того, что Н. И. Тургенев, европеец до мозга костей, метко назвал патриотизмом рабов». В 1831 г. 18-летний М. А. Бакунин писал о пушкинском «Клеветникам России», что стихотворение полно «истинного патриотизма», «чувства русского»; и достаточно хорошо известно, что даже такой просвещеннейший человек эпохи, как сам Пушкин, был сторонником идеи российского великодержавия и националистом, вызывая справедливую отповедь А. И. Тургенева и П. А. Вяземского (замечательное письмо последнего от 14/IX 1831 г. в т. IX его Сочинений). Но зато думаю, что и сейчас со сцены будет звучать вовсе не реакционно для современного зрителя реплика Чацкого о засорении нашего языка иностранными словами: «Как европейское поставить в параллель с национальным — странно что-то! Ну, как перевести мадам и мадемуазель? Ужли, сударыня...» «забормотал мне кто-то...» «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы? Не пора ли нам об'явить войну употреблению иностранных слов без надобности и коверканию русского языка?» Это писал Ленин в наши дни. «Мы разучились говорить на хорошем ядреном русском языке...» говорил Д. Рязанов на заседании ЦК о политике ВКП в художественной литературе.

Наконец, как доказательство того, что могут быть разные подходы к одному и тому же явлению и что жупелов не надо бояться, вспомним превосходную статью «О национальной гордости великороссов», принадлежащую перу В. И. Ленина и толкующую этот вопрос в истинно-революционном разрезе. «Чуждо ли нам, великороссам, сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? — спрашивал автор. — Конечно, нет. Мы любим свой язык и свою родину. Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х гг., что великорусский рабочий класс создал в 1909 г. могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться декабристом...

Конечно, сами по себе обличения Чацким фраков и бритья бород кажутся «мелочными», ибо «слонов»-то он не замечает, и эти «мелочные недостатки, зависящие от обычая или даже приличий, приняты всеми и, в сущности, никому не мешают» (Добролюбов), но ведь обличенья эти произносились в условиях бытовых будней, где живут мелочами, и не развивать же Чацкому в самом деле стройную программу политических воззрений перед стариками, дряхлеющими над вздором, и перед Хлестовыми, весь интерес которых сосредоточился на арапках и собачках... Можно сейчас подвергнуть уничтожающей критике все вообще и положительные идеалы Чацкого, высмеять его «маленькие требования», как это сделал в 60-х гг. Добролюбов. Будь, дескать, добродетелен, служи бескорыстно, ставь общее благо выше собственного и т. п. абстракции, весьма милые и вполне справедливые,

но, к несчастью, редко зависящие от воли частного человека» — но ведь и вот эти, такие смешные на наш взгляд, требования были революцией, резким политическим «памфлетом» (Овсянико-Куликовский) в свое время — «абстракция» была уделом и политических систем того времени, и разве не чувствовал читатель за всеми этими мелочами, что автор бьет «слонов», которых и он, и все очень замечают, — что вся суть этих обличений и яда их — в общем их д у х е — духе протеста против известных общественно-бытовых отношений.

Взгляды Чацкого, его идеология, поскольку она вылилась нестройно в его пылких речах (Чацкий дорог нам не стройностью идеологической, а, именно, своим страстным бунтарством), — если их подвергнуть современному анализу — весьма умеренны, и розовый либерализм их сейчас значительно потускнел, но ведь надо брать эти взгляды в перспективе исторической, и тогда их цвет покажется совсем иным.

Образ Чацкого сближали с Чаадаевым. В «музейн. автографе» начертание героя пьесы было «Чадский». Проф. А. И. Кирпичников (в «Русской мысли», 1896 г.) поддерживал эту версию, ссылаясь, между прочим, и на стихи Ф. И. Глинки про Чаадаева: он «пил из чаши жизни муку и выпил горе от ума». Вернее, что в Чацком Грибоедов написал свою общественно-политическую и психологическую автобиографию. Грибоедов вложил в нее черты своего горячего, резкого и благородного характера, какими они отразились в его переписке, — и рядом с ними «меланхоличность», которую отметил Пушкин, познакомившийся с ним в 1817 г. — «озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки», так «необыкновенно привлекательные» в нем, его «честолюбие, равное его дарованиям» (в Грибоедове его друзья, как это и Пушкин подтверждает, видели «человека необыкновенного»). Пушкин жалел, что Грибоедов не оставил своих записок: Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны».

Чацкий — это след, живой след Грибоедова. В Чацком Грибоедов выразил свое общественное миросозерцание, свою идеологию декабриста, каким с несомненностью — пусть и платоническим, скептическим, пусть официально и не принадлежащим к «обществу« — считает его новейший исследователь данных следствия по его делу (П. Е. Щеголев, Декабр., 1925 г., также М. Н. Покровский). В этот образ Грибоедов вложил и свой талант, личный ум (об этом Пушкин еще писал в своем отзыве о Чацком) и политический пыл, и желчь, и это он сам ушел искать в неведомые страны Востока — тот «уголок», которого не дала ему жестокая и печальная русская действительность.

Вернее сказать, — так многие из критиков и историков (В. О. Ключевский) и смотрели на Чацкого, — в его образе воплощен сборный тип декабриста кануна 25 года [1]). Впервые это сближение Чацкого с образом декабриста сделано было Ап. Григорьевым, видевшим в этом персонаже грибоедовской комедии «героическую» личность, «порождение первой четверти русского XIX ст., прямого сына и наследника Новиковых и Радищевых, товарища людей «вечной памяти двенадцатого года»: это «могущественная, е щ е г л у б о к о в е р у ю щ а я в с е б я и потому у п р я м а я сила, готовая погибнуть в столкновении с другой, погибнуть хотя бы из-за того, чтобы оставить по себе «страницу в истории». Вспоминая в 1864 г. о декабристах, — блестящем ряде молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед», Герцен вспоминает и первые сцены «Горя от ума», когда, «прерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол, серьезный стих Рылеева». «Фигура Чацкого, меланхолическая (известная уж нам от Пушкина характеристика самого Грибоедова. *Д. Т.)*, ушедшая в свою иронию, трепещущая от негодования и полная мечтательных идеалов, появляется в последний момент

[1]) В соответствии с этим Ю. Тынянов вкладывает Грибоедову (в романе «Кюхля») следующую реплику: «Герой у меня наш, от меня немного, от тебя побольше...» — беседа ведется с Кюхельбекером.

царствования Александра I, накануне возмущения на Исаакиевской площади; это — декабрист, это — человек, который завершает эпоху Петра I и силится разглядеть, по крайней мере, на горизонте обетованную землю... которой он не увидит». Тип декабриста, «как живой, стоит перед нами в неугомонной, негодующей и непобедимо бодрой, но при этом неустанно мыслящей фигуре Чацкого; декабрист послужил идеалам, с которого списан Чацкий» (В. О. Ключевский).

И вот здесь в «декабризме» Чацкого скрываются все те противоречия его умеренной идеологии, которые так смущают некоторых критиков и приводят их к развенчанию этого образа. Любопытно, что уже Достоевский устами Шатова (в своих реакционных «Бесах») пытался подойти к идеологии декабриста-Чацкого с точки зрения классово-народнической, которая в нем, разночинце, своеобразно совмещалась с барской, консервативно-охранительной, первых славянофилов. Чацкий «был барин и помещик, и для него кроме своего кружка ничего и не существовало. Вот он и приходит в такое отчаяние от московской жизни высшего круга, точно кроме этой жизни в России и нет ничего. Народ русский он проглядел, как и все наши передовые люди», о «народе русском, о его вере, истории, обычае, значении и громадном его количестве он думал только, как об оброчной статье». Так же, как Чацкий, «думали и декабристы, и поэты, и профессора, и либералы, и все реформаторы до царя-освободителя» (!!! *Д. Т.*). Достоевский упустил как раз, именно, националистические тенденции Чацкого, роднящие его с будущими славянофилами: именно, в «умном бодром нашем народе» и в его обычаях Грибоедов ищет спасения от ненавистных ему иноземцев, то, что позже, в 80-х гг., давало А. С. Суворину возможность видеть в Чацком политического защитника «русских идей», если хотите, «идей славянофильства». Но, конечно, по существу декабристы были, как это верно сказал о них Ленин, «страшно далеки от народа». Это близко к плехановскому повторению соображений Герцена: «У них не было поддержки со стороны народа, и судьба их была решена».

Элементы и национализма, и славянофильства, и «барства» входили в идеологию Чацкого, но не они в отдельности определяют ее основной характер. Чацкий—декабрист, и отсюда все его качества,—притом декабрист Северного общества.

Плеханов видел в декабристах «дворянское меньшинство, которое сумело возвыситься над сословными предрассудками и сословными интересами», но новейшие исследования декабристских архивов убедительно показывают, что это «возвышение» над классовыми интересами шло не очень далеко. «Александровские радикальные офицеры были, прежде всего, помещики, и классовых интересов не забывали, даже мечтая о русской республике» (Покровский, Русская история). Печать умеренности лежала и на социальной и даже на политической программе их. В борьбе с крепостным правом, например, значительную роль играли соображения не экономического характера, а этического, — но и в этом основном пункте своей программы — ликвидации крепостного права — они, первоначальные сторонники освобождения крестьян без земли, позже шли, как показывают исследования М. Н. Покровского («Декабристы», 1927 г.), только на недостаточное наделение землей, т. е. полупролетаризацию крестьянства, ибо и этика тут, как всегда, служила только известным выражением неосознанной экономики. Северные декабристы представляли себе, что и после революции они останутся помещиками, как и были, только перейдя от барщинного хозяйства, дошедшего уже до своего кризиса, к батрацкому, но вскоре помещичья масса стала колебаться «в силу ограниченности рынка», в самой этой необходимости замены привычной барщинной формы хозяйства новой капиталистической, и 14-е декабря, может быть, вовсе не имело бы места, «если бы не ворвалась своеобразная мелкобуржуазная струя в движение» (Покровский), т. е. «Южное общество» со своим вождем Пестелем. Мы уже знаем отношение разночинца Достоевского к дворянам-декабристам, которым он, как «бунтующим барам», не доверял. «Бьюсь об заклад, — говорит его герой Шатов, — что декабристы непременно освободили бы тотчас

русский народ, но непременно без земли, за что им тотчас русский народ непременно свернул бы голову». И Герцен, писавший, что «все заговорщики страстно хотели освобождения крестьян», отметил, что только один Пестель «старался основать революцию на народе и экономическом начале»: «их либерализм был слишком иноземен, чтобы быть популярным»... «то было логическое следствие цивилизации, перенесенной в один только класс. Пестель не был ни утопистом, ни мечтателем. Он знал... если оставить земли дворянству... народ даже не понял бы своего освобождения; русский крестьянин хочет быть свободным только с землей» («Русск. заговор 1825 г.»).

Но северные декабристы в большинстве были именно «утопистами» и «мечтателями», каким был и Чацкий. «Мечтанья с глаз долой» наступило значительно позже. Даже и через год после событий (в 1826 г. 9/XII) Грибоедов — этот скептик и «внутренний» декабрист — писал о себе другу: «Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов»... В этом крылись источники «горя»...

Но даже и Пестель, враг крупной собственности, в основу своей программы положивший «своеобразную национализацию земли», выражавший в декабристском движении не стихию помещичью (как северяне), а мелкобуржуазную, т. е. наиболее революционную, — не очень далеко шел в том освобождении от «сословных предрассудков», которые ставил Плеханов в заслугу декабристско-дворянскому меньшинству: он не только разделял «социальные упования мелкой буржуазии, но и ее предрассудки», как показал это убедительно Покровский. Он был, напр., антисемитом, и в «Русской Правде» — евангелии декабризма — есть глава, где автор, доказывая вредность евреев, проектирует всех собрать в одно место и отправить в Палистину, считая возможным при помощи русской армии завоевать Палестину у турок и основать там еврейское государство, — проект, своеобразное преломление которого много позже мы найдем у русских националистов типа Пуришкевича, которым эта сторона «Русской Правды» осталась, конечно, неизвестной.

Конституция Никиты Муравьева построена на цензовом принципе, хотя тот же Пестель, как демократ, отрицал всякий избирательный ценз. И в политической своей программе много декабристов шло не за Пестелем, решительным республиканцем и ненавистником монархии, — хотя официально все вожди декабристов и на юге, и на севере числились республиканцами,—и эта внутренняя неустойчивость и колебания отразились в тактике большинства. Пестель, член Союза благоденствия, еще в 1820 г. считает возможным переворот чисто-дворянского типа, но сам же и ликвидировал этот Союз, — «пеструю кучу болтающих интеллигентов, к которой с презрением относятся не один Пестель (грибоедовский Репетилов) есть несомненная карикатура на Союз благоденствия» (Покровский), — превратив его в конспиративный кружок заговорщиков с тактикой активной, чисто-революционной истребления царской семьи, захвата власти). У северян же взамен революционной тактики южан были одни революционные настроения и пыл, быстро переходившие в пассивность, и, вероятнее всего, правы те, кто зло думает, что северяне, победивши, может быть, не знали бы сами, что делать со своей победой. Покровский не разделяет взглядов Плеханова на 14-е декабря, только как на «военную манифестацию» людей, решившихся погибнуть, пожертвовать своей жизнью, мучеников. Он считает, что «карикатура восстания» там, где «была полная возможность военного восстания», показывает, что северный заговор был замышлен не как восстание, а «просто как попытка более энергичными средствами» убедить Николая дать конституцию, попытка не «захвата власти», а «давления на власть». Единственным, настоящим заговором был южный, где не было «революционных фраз» и «презрения к массам». Общество Соединенных славян состояло, как известно, из серой кучки поручиков и прапорщиков, из детей мелкопоместных дворян и провинциальных чиновников; в организации принимали участие и нижние чины.

VII.

Так или иначе, но как бы ни смотреть на идеологическую сущность декабристского восстания («дворянская революция»), какому бы развенчиванию истории ни подвергать многие крупнейшие фигуры, возглавлявшие его, всю эту «либеральную легенду о декабристах», — нельзя уйти от признания огромного революционного значения самого факта на пороге николаевской Руси. «На спине у всех повешенных, поверх савана, большими буквами было написано «Цареубийца». С этой славной надписью и вошли они в историю русской революции» (Л. Рейснер). Баре-дворяне в известной степени—и в этом бесконечно прав Плеханов—сумели возвыситься над своими предрассудками и интересами, отказаться от крупнейших карьер своих, титулов, жизни роскошной и независимой — ведь в бунте они не теряли своих цепей, а теряли свои привилегии. Они сложили свои головы и на эшафоте и «во глубине сибирских руд», и с ними на Сенатской площади 14 декабря и на полях Киевской губ. 3 января 1826 г. легли, как установлено историческими исследованиями, «сотнями крестьяне в солдатских шинелях, а рядом с ними в Петербурге — и сотни «мастеровых», а под Трилесами — немало местных крестьян, сопровождавших восставший полк». Бар и крестьян спаяла временно общая внутренняя идея, пыл, протест против векового рабства. Это было, выходившее за пределы сословия «последнее военно-дворянское движение» (Ключевский), которым кончалась «политическая роль дворянства», и где дворянство несомненно становилось выше своих классовых и сословных интересов и предрассудков, выражая первые революционные движения родившейся буржуазии. Было, конечно, и много революционной фразы во всем этом. Еще Пушкин в найденных в последние годы зашифрованных строфах сожженной части «Евгения Онегина» так характеризовал членов тайных обществ:

> Витийством резким знамениты
> Сбирались члены той семьи
> У беспокойного Никиты...
> Друг Марса, Вакха и Венеры,
> Там Лунин дерзко предлагал
> Свои решительные меры...

Какой живой эскиз декабриста, так напоминающий местами Чацкого! Но были не только фразы, но и революционный «жест», в котором Герцен видел исторический смысл событий. В декабристском восстании страна и потомство услышали первый, «вслух заявленный протест против чуждого правительства, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы» (Огарев); «пушечный гром, раздававшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение» (Герцен), и легенда общественная, освобожденная от либерального «прихорашивания», представшая перед современностью в правде социалистического анализа, может быть, и тускнеет рядом с ярчайшими событиями наших дней, но не теряет своего исторического значения и привлекательности. Конечно, мы теперь знаем, как далеко шел отказ передового дворянства от своих привилегий, но нельзя же терять перспективу времен, перспективу марксистского метода понимания истории... Декабристы не были социалистами и коммунистами — да от них этого и требовать нельзя, — они были в своей идеологии плотью от плоти своего класса, они были «барами» — но этими барами в наши дни «гордился» Ленин, и прав был Покровский тогда, когда писал о них: они не были «революционерами-пролетариями... Но никакого пролетариата в России в то время не было и не могло быть, поскольку существовало крепостное право... Но они дошли до той грани революционности, которая возможна для непролетарских классов, которая возможна для буржуазии крупной и мелкой»...

VII.

Так или иначе, но как бы ни смотреть на идеологическую сущность декабристского восстания («дворянская революция»), какому бы развенчиванию истории ни подвергать многие крупнейшие фигуры, возглавлявшие его, всю эту «либеральную легенду о декабристах», — нельзя уйти от признания огромного революционного значения самого факта на пороге николаевской Руси. «На спине у всех повешенных, поверх савана, большими буквами было написано «Цареубийца». С этой славной надписью и вошли они в историю русской революции» (Л. Рейснер). Баре-дворяне в известной степени—и в этом бесконечно прав Плеханов—сумели возвыситься над своими предрассудками и интересами, отказаться от крупнейших карьер своих, титулов, жизни роскошной и независимой — ведь в бунте они не теряли своих цепей, а теряли свои привилегии. Они сложили свои головы и на эшафоте и «во глубине сибирских руд», и с ними на Сенатской площади 14 декабря и на полях Киевской губ. 3 января 1826 г. легли, как установлено историческими исследованиями, «сотнями крестьяне в солдатских шинелях, а рядом с ними в Петербурге — и сотни «мастеровых», а под Трилесами — немало местных крестьян, сопровождавших восставший полк». Бар и крестьян спаяла временно общая внутренняя идея, пыл, протест против векового рабства. Это было, выходившее за пределы сословия «последнее военно-дворянское движение» (Ключевский), которым кончалась «политическая роль дворянства», и где дворянство несомненно становилось выше своих классовых и сословных интересов и предрассудков, выражая первые революционные движения родившейся буржуазии. Было, конечно, и много революционной фразы во всем этом. Еще Пушкин в найденных в последние годы зашифрованных строфах сожженной части «Евгения Онегина» так характеризовал членов тайных обществ:

Витийством резким знамениты
Сбирались члены той семьи
У беспокойного Никиты...
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Там Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры...

Какой живой эскиз декабриста, так напоминающий местами Чацкого! Но были не только фразы, но и революционный «жест», в котором Герцен видел исторический смысл событий. В декабристском восстании страна и потомство услышали первый, «вслух заявленный протест против чуждого правительства, первое вслух сказанное сознание, первое слово гражданской свободы» (Огарев); «пушечный гром, раздававшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение» (Герцен), и легенда общественная, освобожденная от либерального «прихорашивания», представшая перед современностью в правде социалистического анализа, может быть, и тускнеет рядом с ярчайшими событиями наших дней, но не теряет своего исторического значения и привлекательности. Конечно, мы теперь знаем, как далеко шел отказ передового дворянства от своих привилегий, но нельзя же терять перспективу времен, перспективу марксистского метода понимания истории... Декабристы не были социалистами и коммунистами — да от них этого и требовать нельзя, — они были в своей идеологии плотью от плоти своего класса, они были «барами» — но этими барами в наши дни «гордился» Ленин, и прав был Покровский тогда, когда писал о них: они не были «революционерами-пролетариями... Но никакого пролетариата в России в то время не было и не могло быть, поскольку существовало крепостное право... Но они дошли до той грани революционности, которая возможна для непролетарских классов, которая возможна для буржуазии крупной и мелкой»...

Они были политическими энтузиастами и пламенными мечтателями «в краю вечных снегов» — и в этом их значение, их ореол, до сих пор не спадающий с трагических голов их.

Вот почему пьеса декабриста о декабристах, грибоедовское «Горе от ума», наравне с радищевским «Путешествием», стихами Пушкина было сильнейшим орудием пропаганды в свое время, о чем говорят и сами декабристы, и историки (В. Семевский). И вот почему эту «политическую» комедию, насыщенную тем революционным пылом и энтузиазмом, который характеризовал виднейших деятелей декабризма (несмотря на свой прирожденный скептицизм «умнейшего» человека, Грибоедов в Чацком отразил этот бодрый пыл), — пьесу, вбивающую «осиновый кол» в «прошедшего житья» (не только прошедшего) «подлейшие черты», в старое барство помещичье, дикое, честолюбивое и тупое — в котором автор ни одной черты хорошей не отметил, все высмеял («не человек, змея!») — назвать ее «барской пьесой», «самой барственной из пьес русского репертуара», насыщенной «дворянской стихией», «барской и по автору, и по бытовому содержанию, и по идеологии, и по лиризму», — как это делает в наши дни со всем пылом неофита «марксистских методов социологического анализа» в последней своей работе (1927 г.) о «Горе от ума» Н. К. Пиксанов, редактор старого академического издания Грибоедова, — это значит тоже пойти по пути «ревизии» комедии, — и ревизии весьма своеобразный, самопокаятельной, ибо при этом Пиксанов решительно подчеркивает, что до сих пор среди писавших о комедии «не оказалось марксистов», и истолкование ее «было монополизировано либерально-идеалистической фракцией» (!). Сказать так, это, значит, ровно ничего не сказать о «Горе от ума» или сказать одно вредное и неправильное, извратить всю перспективу исторического бытия и судеб этой комедии на протяжении целого века, дать неверное и отнюдь не характеризующее ее представление о ней. Может быть, так можно, как это сделал Пиксанов, определить момент социального происхождения пьесы, ее истоки, но это не значит дать характеристики всей пьесы в ее осуществлении, в ее действии, в ее общественной жизни. Этот ограничительный признак не покрывает всего об'ема пьесы и вызванных ею вокруг себя движений. И спор здесь, конечно, не о словах только. Ведь сам же Пиксанов считает, что нет другой пьесы, столь богатой «политическим содержанием». Может быть, это политическое содержание ее не полно, не уточнено до политического трактата, или очень умеренно местами — с этим спорить нельзя, и весь анализ идей декабризма подтверждает правильность этой характеристики, — но можно ли назвать даже это умеренное и неполное политическое содержание грибоедовской пьесы реакционным в перспективе довлеющего ему времени? Все относительно, и то, что сегодня звучит в условиях современности умеренно, то революционным эхом отдавалось сто лет назад по стране. Списки «Горя от ума» переписывались тайком всей Россией, стихи комедии воспламеняли молодежь, цензура не разрешала ее. Характеристика пьесы как «барской» сейчас звучит как характеристика пьесы реакционной.

Да, конечно, и автор был барином, поэтому она «барская по автору», но и Пестель, сын сибирского генерал-губернатора, кавалергардский офицер, командир Вятского полка, был барином, и Плеханов — «сын помещика и интеллигента», мало ли еще «бар» найдется среди руководителей революционных движений!! Бытие определяет сознание в масштабе класса, но не всегда в масштабе отдельной личности. Грибоедов был барин, много справедливого приводит о его барстве Пиксанов из его биографии, но это был барин, возвысившийся над многими интересами и предрассудками своего класса, барин-декабрист, ненавидевший барскую Москву — а это уже не просто «барин» («В Москве все не по мне. Праздность, роскошь, не сопряженная ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему», — пишет он Бегичеву в 1818 г., и так же он пишет о «том крае, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных родов», о Шереметеве, который «скот, но вельможа и крез»). Конечно, Грибоедов для своей эпо-

хи — человек, революционно настроенный, в своем родовом кругу — «фармазон», «карбонарий», «безумец», революционер. Идеология «Горя от ума», Чацкого — идеологии декабризма, а об ее революционном значении — при всей несомненной дворянской обусловленности ряда моментов ее — мы говорили выше.

В «лирике чести и личного достоинства» Чацкого, конечно, имеются элементы барской психики и спеси, но ведь обличение придворной знати за «охоту поподличать» перед царской властью, обличение всякого «прислуживания» вместо службы [1]) — разве это только элементы барской «чести»? разве не звучит эта «лирика» благородным пылом честного гражданина и сейчас на нашей сцене, подымая высоко носителя ее над окружающей средой? Почему лирика Чацкого — «барская? Ее, однако, не почувствовал такой левый режиссер современности, эту лирику, в ее подчеркнуто-музыкальном оформлении, сделавший основной вехой своей трактовки образа Чацкого. Конечно, «Горе от ума» — не пьеса крестьянская и не пролетарская, но если она — «барская», то во всяком случае какого-то иного, другого барства, качественно иного, чем то, с которым у нас связано представление о консервативном барстве «грибоедовской Москвы». Эта пьеса не народная в узком смысле, так как в своей борьбе с барством она опирается на элементы интеллигенции, вышедшей из тех же дворянских слоев. Но она широко народная, так как ее символы, ее стихи стали пословицами, народная в силу осмеяния и развенчания в ней барства, в силу своей сатиричности. Сатира — народное произведение.

Повторяю: конечно, «Горе от ума» пьеса дворянского периода русской литературы, но характеризовать ее — всю построенную на борьбе с барством, берущую барско-бытовое ее содержание в резко сатирическом обличительном разрезе, так что ужас берет от него («Грибоедов казнит невежество и хамство. Вся комедия его комедия хамства» — слова Ап. Григорьева), — пьесу, весь смысл которой, весь пафос пламенный — в бурном отрицании барства — назвать ее «барской», конечно, есть и историческое и социологическое заблуждение. Весь анализ содержания пьесы показывает, что перед нами политическая сатира — не «сценическая поэма» и не трагическая драма — с резко выраженным общественным содержанием, волнующая нас и сейчас не столько, может быть, конкретными фактами этого содержания, сколько общей своей насыщенностью общественным энтузиазмом, атмосферой общественной борьбы и пылкой страстностью общественных эмоций. Лучше всего просто назвать ее общественной пьесой, ибо она стала пьесой всех общественных элементов, боровшихся с старым барством — и передового дворянства, и разночинца, и вообще интеллигенции всех классов. Эта «барская» пьеса, входившая таким крупнейшим элементом в движение 20-х гг., своей революционной энергией перебрасывается в нашу современность, победоносно завершившую то, что было начато 100 лет назад.

VIII.

Весь пройденный нами выше путь грибоедовской комедии, отмеченный историей ее текста — вся ее окончательная и решительная установка на общественно-сатирическое «снижение» стиля и содержания, — иллюстрируются и двумя вариантами самого заглавия пьесы, обусловленными, видимо, первоначальным, нам мало известным, замыслом и окончательным осуществлением его.

Мы знаем, что в самой ранней редакции заглавие пьесы было «Горе уму», зачеркнутое там же: «музейный автограф» носит уже заголовок «Горе от ума», прочно внедрившийся в литературе. Очевидно, первоначально предполагалось

[1]) В покаянных письмах-исповеди, посылаемых Каховским из каземата Николаю и Левашову, в его критике общественного строя имеется — к слову сказать — и такой пункт: — «Служба заменилась прислугою!» — совсем реплика Чацкого.

придать «сценическому конфликту не местный, бытовой и современный, но более общий, может быть, даже философский характер», — комментирует этот ранний заголовок Н. К. Пиксанов. Но и сам Грибоедов, переживавший в эпоху своего творчества над комедией настроения пессимистические, был по своей душевной склонности не философом, а здоровым реальным «афористическим» человеком, с острым общественным умом, человеком материализованных идей, земли, быта, художником, — и в нем нашла свое прекрасное выражение литературно-общественная потребность эпохи в «снижении» сценического стиля.

Очевидно, первоначальное заглавие комедии необходимо связать с авторской полу-исповедью известного «чернового наброска». В этом «черновом наброске» Грибоедова, предположительно относимом исследователем к 1824 г., ранний замысел характеризуется так: «первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его». Итак, можно предполагать, что комедия первоначально строилась (как и последовавшая за нею работа над «Грузинской ночью», на которую автор возлагал все свои высокие и серьезные надежды и которою почти был болен — на «Горе от ума» он смотрел, очевидно, как на переходный эпизод) в форме «сценической поэмы» или даже стихотворной трагедии (недаром вспоминает он тут же себе в утешение однородную «участь» Расина и Шекспира — может быть, в стиле философских поэм мировой скорби и мистерий байроновских «Манфреда» и «Каина», ему доступных в то время, и в которых есть «сокровенная глубина», где на душу «читателя» (его имел в виду первоначально Грибоедов) действуют одни «намеки», «не вполне выраженные мысли или чувства». В написанном одновременно «отрывке из Гете» (1824 г.) поэту, мечтающему об эстетическом «сладозвучии», о «спокойном и пышном течении» поэтического целого («так величаво, так прекрасно») — совершенно в духе пушкинского исповедания веры: «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво», — Грибоедов противопоставляет директора театра, который требует не поэм, а театрального действия:

Побольше действия! — что зрителей манит?
Им видеть хочется...
Как хочешь, жар души излей красноречиво,
Иной уловкою успех себе упрочь;
Побольше действия, оплетений и развитий!
Кто сильно потрясти народ желает,
Способнее оружье изберет...
Кому творите вы?
И для кого хотите вы, слепцы,
Вымучивать внушенье Муз прелестных.
Побольше простоты, побольше новизны —
Вот правило и непреложно...

Поэт «негодует», «терзается» такой постановкой вопроса, отвергает практические советы директора: «Поди, ищи услужников! Тебе ль отдам святейшее стяжанье, свободу, в жертву прихотей твоих?». Очевидно, вопрос этот — крупнейший вопрос литературного стиля, — формы и содержания, — мучил глубоко самого Грибоедова, в нем происходила драма выбора между «святейшим» служением музам, в духе которого написаны все его лирические стихотворения и задумана «Грузинская ночь» — и между «снижением» этого высокого стиля. Мы знаем, что в «Горе от ума» победило — и к счастью для поэта — последнее.

Автор ушел от первоначального замысла поэмы или трагедии, — и пусть он обвиняет в этой «суетности» себя, пусть об'ясняет ее «ребяческим удовольствием» слышать свои стихи «в театре», «желанием им успеха, всем тем, что заставило его

«портить» свое «создание сколько можно было»: — «сценический наряд», в который принужден был «облечь» свою пьесу автор — не только «наряд», а и сущность сама, идея, ибо форма в искусстве не отделима от содержания и обусловлена им. Тот быт реальный, который взял в основу своего произведения Грибоедов, не укладывался ни в форму поэмы, ни трагедии: Фамусовы и трагедия — несовместимые понятия. Отходило время романтики, приходил на сцену реализм, — тот сатирический реализм, которому великолепный образец дал уже автор «Недоросля», и не «искусство угождать» публике, а неосознанное, может быть, требование эпохи — желание быть выразителем общественных настроений, подойти вплотную к вопросам жизни вело пером Грибоедова, когда он уходил от своего первоначального замысла.

«Поэма» в периоде творческих раздумий над ней пришла к «суетному наряду», к «суетной», но подлинно органической форме комедии-сатиры. Смысл творческой работы над текстом комедии — это уничтожение кое-где прорвавшихся элементов «высокого» замысла (в особенности, как мы знаем, в характеристике Софьи), художественное опрощение стиля и резкое подчеркивание идейно-обличительных моментов — это утверждение общественно-сатирической природы пьесы.

Смена двух названий пьесы бросает луч света на два ее стиля — возможный и существующий, на замысел первоначальный и осуществление окончательное, как легло оно на бумагу, уже оформленное в творческом сознании автора. «Горе уму» звучит, как тяжелое серьезное утверждение, как «vae victis» Ливия, «malheur aux vaincus» — «горе побежденным», трагическим погребальным, философски безнадежным приговором. Здесь полная «мизантропия». Грибоедов ушел от этого замысла, перевел не только весь быт, но и Софью, на рельсы сатиры, «горю» Чацкого придал временный, условный характер, — дал название своей жизнерадостной комедии в стиле комедий и водевилей своего времени [1]). «Горе от ума» — звучит легко, с оттенком иронии, в сатирическом плане и открывает просветы: нет безнадежности в этом «горе» — временном, преходящем, ибо побеждает — в глазах зрителя тут же на сцене, — ум, логика, честь, нетерпимость благородная. Чацкий и не чувствует себя побежденным, он не уходит, посыпав пеплом поражения главу: за ним последнее слово судьи, он осуждает... Общественность торжествует в расширенных, а не углубленных, горизонтах комедии.

IX.

Переходя к вопросу об оформлении «Горя от ума» на современной сцене, необходимо отметить тот глубокого интереса и своего рода «исследовательский» характер, который представляют работы Мейерхольда над классическими произведениями. Вообще, нужно отметить, упрек, который бросает часть критики Мейерхольду в его тяготении к классицизму, явно несостоятелен: классические произведения — как «Ревизор», как гениальная, неповторимая на протяжении 100 лет в нашей драматургии грибоедовская комедия, — не только нужны монументальному и театрально-исследовательскому театру, как единственный достойный материал, на котором и театр, и его актер могут учиться и расти, но и нужны обществу, молодежи зрительного зала, — и не только своей непреходящей силой художественного очарования, эстетических эмоций, силой образов и историко-педагогических воздействий, но в известной мере и силою воздействий идейных: и через 100 лет актуально волнует общественная судьба Чацкого, его борьба с молчалинством, «блаженствующим на свете», скалозубовщиной, фамусовщиной в тех или иных проявлениях, с мысленной поправкой на время и среду.

---

[1]) «Пять лет в два часа», «Дядя на прокат» — пьесы остроумного водевилиста 20-х и 30-х гг. А. И. Писарева. Водевиль гр. В. А. Соллогуба — «Беда от нежного сердца» (1850 г.), а Ф. А. Кони — «Беда от сердца и горе от ума» (1851 г.).

Эта «поправка» входит в задачи так называемого «осовременения» классических произведений; эти задачи Мейерхо́льд (в беседе с сотрудником «Правды») определил так: «Дать этим произведениям новое толкование, более близкое к подлинному замыслу авторов (пробивая толщу ложной «традиции») и, вместе с тем, продиктованное требованиями новой эпохи». Работа над приближением к «подлинному замыслу» и есть та исследовательского характера работа, которая представляет в мире театральных явлений значительнейший интерес и для литературоведов и привлекает острое внимание их к театру Мейерхольда.

Но приблизиться к «подлинному замыслу» «Ревизора» или «Горя от ума» — при ближайшем рассмотрении вопроса и, значит, — одновременно ответить потребностям в современном толковании — и это вовсе, оказывается, не будет каким-либо «новым толкованием», идущим вразрез с «ложной традицией», как думает Мейерхольд. Сам же режиссер в упомянутой беседе определяет задачи этого «нового» толкования так: «подчеркнуть общественную сущность комедии Грибоедова». Да ведь это вовсе не ново, и это именно отвечает всему плану и задачам комедии в том окончательном виде, в каком она вышла из рук своего творца! Анализ истории текста и идеологии грибоедовской пьесы, который мы выше сделали, именно утверждает нас на этой позиции: пьеса Грибоедова есть определенная сатира, с резко «подчеркнутой общественной сущностью», дающей возможность характеризовать ее как «политическую пьесу» (О. Сенковский) или даже как «политический памфлет» (Овсянико-Куликовский). Так пьесу понимало и большинство критиков, и общественность наша, и сцена русская в своей общепринятой традиции. Отличие Мейерхольда (и «горе» его новой постановки) в ином: он думает, что это «новое» (а, как мы знаем, весьма старое и единственно правильное) толкование комедии Грибоедова отвечает пьесе не в том виде, в каком она существует и известна нам, а какому-то неизвестному нам, изначальному «подлинному» замыслу пьесы, — и вот обнаружить этот «подлинный замысел» и заново реконструировать по нему, заново воссоздать всю пьесу — и есть исследовательски-опытная задача, поставленная перед собою талантливым и острым режиссером. Скажем заранее: в этом, лабораторным путем поставленном, опыте экспериментатор потерпел неожиданное для себя и жестокое поражение: он, несомненно, в известных частях сумел реконструировать изначальный замысел пьесы, как он рисуется по скудным литературно-архивным документам, — но тут же сказалось предвидимое нами и неизбежное внутреннее противоречие: замысел первоначальный как раз резко расходится с задачей выявить «общественную сущность» комедии, — он ей по самому смыслу своему враждебен, — и, значит, с «требованиями» современности, а та грибоедовская пьеса, какую мы знаем, — сатира с резко подчеркнутой «общественной сущностью — враждебна тому самому замыслу, который первоначально рисовался автору и который с таким — увы! — печальным торжеством Мейерхольд победоносно старался сейчас воскресить... Железная логика диалектики сказалась и здесь.

В этой логической неизбежности конфликта первоначального, так несчастливо найденного замысла — с «общественностью», заключенной в окончательной редакции пьесы, мы и постараемся разобраться в дальнейшем.

Комедия Грибоедова, как мы уже знаем — определенно общественная сатира. Те критики, которые находили в ней ряд недостатков композиционных и в разработке образов, — главным образом, образа Чацкого — исходили из чисто-эстетических соображений и требований чисто-художественной гармонии, которым комедия, как сатира, не могла и не должна была бы вполне удовлетворять: сатира всегда в известной степени схематична, условна и тенденциозна, иначе она не была бы сатирой. Задачи ее — не правдоподобие художественно-нормальных и завершенных форм, а нарушение норм, гармонии, художественного масштаба, преувеличенность одного в ущерб другому — для сосредоточения удара с большей

силой по нужному месту. В критической борьбе мнений вокруг комедии наметились два начала, две стихии, которые можно в грубых схематических чертах обозначить одну, как пушкинскую — стихию самодовлеющей гармонии форм, поэтическо-художественную и реалистически-бытовую — и другую, грибоедовскую, начало сатирическое, комедийное, впрочем без гротескового характера, так торжествовавшего в гоголевском «Ревизоре» («Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь», — писал Грибоедов Катенину в 1825 г.), начало общественно-дидактическое, так называемого «снижения» художественного стиля.

И сценическая история грибоедовской комедии знает эти два толкования и оценки пьесы, два театральных замысла постановок: сатирической комедии нравов, какою она вышла из рук своего создателя, — и бытовой комедии с любовным сюжетом, какою хотели бы ее видеть ревнители художественной гармонии и чистого искусства. Чацкий — герой, декабрист, обличитель — или Чацкий — пылкий любовник, вот две, соответственно общему толкованию пьесы, вариации грибоедовского образа. Надо заметить, что традиция понимания Чацкого и всей комедии была на театре именно сатирическая. Но уже в 1862 г. в «Северной пчеле» В. Александров по поводу очередной театральной постановки «Горя от ума» выдвинул вторую, художественно-реалистическую точку, указав, что «артисты, играющие роль Чацкого, большею частью мало обращают внимания на его любовь, они больше заняты ненавистью», а между тем Чацкий «далеко не герой и, по юности натуры своей, больше любит, чем ненавидит» — и в таком чисто-бытовом толковании образа он — «живое лицо». Автор статьи был и против сатирически-подчеркнутого изображения на сцене других лиц, например, Молчалина: Молчалин в действительности, по мнению критика, должен быть «не только красив, но даже изящен»: он ведь нравится Софье и его садят за один карточный стол с графинями и княгинями, чего бы не сделали с человеком, «хотя бы и порядочно одетым», но с «лакейскими манерами», каковым обычно изображают Молчалина на сцене.

Впервые на сцене в этом эстетическом разрезе бытового натурализма, порывавшем со всеми общественно-сатирическими традициями постановок «Горя от ума», была поставлена грибоедовская комедия в Московском Художественном театре в 1906 г. Так она ставилась и дальше, в годы углублявшейся общественной реакции. В. И. Немирович-Данченко («Вестник Европы» 1910) определенно считал «грубой ошибкой» перемещение «центра пьесы из интимных отношений Софьи, Чацкого, Фамусова и Молчалина в сторону «галлереи типов» [1]), общественного значения «и разных комментариев публицистического характера». «Ж и т ь этим в непрерывном течении пьесы не может художник сцены». Чацкого играют, «в лучшем случае, пылким резонером. Перегружают образ значительностью Чацкого, как общественного борца» (это звучит совсем как эйхенбаумовские признаки «снижения» стиля: «отяжеление его мыслью, наделение особой эмоциональной напряженностью», «придание поэзии характера красноречивой патетической исповеди»). «Как бы играют не пьесу, — продолжает развивать свою мысль постановщик Художественного театра, — а те публицистические статьи, какие она породила. Самый антихудожественный подход к роли... Влюбленный молодой человек — вот куда должно быть направлено все вдохновение актера. Остальное — от лукавого». Под этим углом режиссеру рисуется и постановка всей пьесы в ее целом — не сатиры, а художественной комедии: «Отсюда только и пойдет пьеса с ее нежными красками, с сценами, полными аромата поэзии, лирики». Чтобы как-нибудь связать свой замысел постановки с неотделимой от грибоедовской комедии «общественной сущностью» (которую взялся после экспериментов над нею Художественного театра, реставрировать теперь Мейерхольд), Немирович-Данченко прибавляет:

[1]) Грибоедов Катенину писал в ответ на упрек в «портретности характеров»: «Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, — в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому»...

«Чацкий станет потом обличителем даже помимо своего желания. Он и не думал брать на себя эту роль». Мы знаем, что таковым, — обличителем, — Чацкий на сцене Художественного театра и не становился — не становится и сейчас.

X.

Замысел Мейерхольда, как можно себе представить его на основании художественно-неудачного и неубедительного спектакля, — в сценической жизни «Горя от ума» этап новый, но эклектический, какой-то двойственный: с одной стороны, сохранить и даже «подчеркнуть» общественную «сущность» грибоедовской пьесы (это замысел, оставшийся, как увидим, больше на бумаге), т. е. как будто утвердить ее характер общественной сатиры, но с другой — добиться как художественно-натуралистического правдоподобия (сделать не только Молчалина — живым лицом, а не только сатирическим выражением известного понятия, — т. е. сделать «красивым, изящным», как того требовал Александров, — но сделать и Чацкого из обличителя-борца «живым лицом», «влюбленным молодым человеком») и, значит, этим самым уничтожить сатирическое ударение, акцент пьесы, уйти от сатиры, придать пьесе значение внеполитическое, вневременное, чисто-поэтическое и художественное. Противоречие в самом замысле постановки, казалось бы, неразрешимое, и осуществление его показало эту неразрешимость своим общим впечатлением неопределенности, нечеткости, двойственности.

Сам Грибоедов, как мы уже отчасти знаем по скудным данным, переживал в каком-то там моменте первоначального зачатия пьесы борьбу двух этих противоречивых стихий оформления замысла, что выразилось бледно и в вариации двух заглавий пьесы и в одном цитированном нами в своем месте «черновом наброске». Задумана была, как можно реконструировать этот момент, «сценическая поэма» «Горе уму» «гораздо великолепнее и высшего значения», т. е. какая-то «поэма» типа трагического, философского, байроновских дерзаний или гамлетовской «мировой скорби». Живой общественный темперамент Грибоедова, живая общественная атмосфера нарождения декабризма счастливо остановили автора в его «первом начертании», «принудили» его придать замыслу «суетный» современно-политический характер, и он — один из умнейших людей России того времени, как его охарактеризовал другой умнейший человек Пушкин — перечеркнул крестом свой первоначальный замысел, вытравил, насколько мог, из «музейного автографа» попавшие туда отдельные черты этого замысла, зачеркнул в заголовке длинный хвост «у», вставил над строкой сатирическо-ироническое «от», и получилось то «Горе от ума», какое мы знаем. «Поэма» высокого стиля была требованиями эпохи (а, конечно, не одним «ребяческим» желанием «успеха») облечена в «суетный наряд» сатиры.

Любопытно, что уже в недавние дни критик с импрессионистски-идеалистическим уклоном к философии, Ю. И. Айхенвальд, сделал попытку свести сущность грибоедовской пьесы от комедии, на название которой она имеет, по его мнению, только формальные, историко-литературные права — к трагедии: «по существу же она — глубокая трагедия, и роковая невзгода, постигшая Чацкого, представляет собою лишь частичный отзвук «мировой судьбы идеализма» — вот оно, это грибоедовское «высшее значение»... Однако, Айхенвальд тут же вынужден признать, что Чацкий «в своем размышлении, в своем суждении не достигает философской высоты: его мысль летает гораздо ниже, и он, конечно, — критик не бытия, а быта, не мира, а только его отдельного уголка». Очень просто: Грибоедов философскую трагедию и «поэму» превратил в «суетную сатиру».

Но Мейерхольд не хотел пойти вслед за Грибоедовым и принять плод его выношенной мысли и таланта таким, каким он дан в литературе. Он не задумался даже над вопросом, является ли первоначальный замысел «подлинным» замыслом, «подлинным» смыслом пьесы. Вопреки явному намерению автора, закрепленному

всей творческой историей его произведения, режиссер решил возродить из пепла сожженный автором философский замысел, почему-то считая «подлинным» его, а не тот сатирический, который мы имеем из рук самого Грибоедова. «Сценическая поэма» трагически-философского типа, а не сатира, — «Горе уму», а не «Горе от ума» — вот первое основное достижение Мейерхольда, и прав был тот театральный рецензент из формалистов-поклонников этого театра, который назвал в своем отчете о постановке спектакль — «сценической поэмой о декабристе». Только вот — о «декабристе» ли?

Удалось ли Мейерхольду «подчеркнуть», как он печатно заявил в своих «беседах», — или даже просто сохранить в неприкосновенности традиционную «общественную сущность» комедии? Убивая сатиру, как таковую, — во всяком случае в части, касающейся ее героя, Чацкого — стремясь придать его обличительным горячим и не глубоким, по существу, политическим монологом какой-то философский смысл — не убил ли Мейерхольд заодно именно общественную значимость комедии, обличительную тенденцию ее, поскольку она подчеркнуто сосредоточена в образе Чацкого и всем его поведении?

Ключ к новой постановке Мейерхольда, к его замыслу, — вся основная идея «нового толкования» комедии Грибоедова лежат в Чацком, идеологическом фокусе постановки, — и на этом образе, таком бескрылом, двойственном и таком неясном, нечетком на мейерхольдской сцене (вина в неясности и неопределенности лежит не только в артисте Гарине, уже по своим данным совершенно не подходящем к образу классического «настоящего» Чацкого, но, главным образом, и в самом замысле режиссер П), лежит именно вся та печать «снижения» общественного значения и Чацкого и всей комедии, в которую на практике вылился мейерхольдовский замысел и которую режиссер почему-то считает новшеством. Иначе и не могло быть: или — или. Или первоначальный замысел Грибоедова («поэма»), или общественный смысл («сатира»), все остальное вот именно от лукавого. От «лукавого» идет и постановка Мейерхольда.

В самом деле, кто такой Чацкий в этом театре? В изображении этого образа чувствуется, как мы уже сказали, определенная двойственность: одна линия резкого натуралистического опрощения, другая — музыкально-философского и романтического (высокий стиль «поэмы») лиризма. В плане бытового натурализма режиссер снижает образ, как условно-героическую фигуру борца-обличителя («самый анти-художественный подход к роли», по слову Немировича-Данченко), стремясь сделать из него «живое лицо» — вот как все кругом живые люди, которые вовсе не «обличают», а едят, пьют чай, играют на рояли, влюбляются, целуют — если удастся — свою даму в голые плечи и т. д., и т. д. Чацкий у Грибоедова приезжает в 6 час. утра, на что негодовал еще Белинский, рассматривавший (в эпоху 1839 г. — своего правого гегелианства) комедию исключительно со стороны художественной натуральности, а не условности сатиры: приезжает прямо с дороги в дом Фамусовых, не заехав предварительно домой, чтобы побриться и переодеться. «Не по-светски, не умно и не эстетически!..» прямо заявляет критик. Мейерхольд в духе этого «эстетического» Белинского исправляет Грибоедова: Чацкий потому так рано — «чуть свет» — является в дом Фамусова, что он останавливается с дороги там на жительство, в этом с детства близком ему доме. Самый приезд Чацкого со своим крепостным, с вещами, портпледом, одеялом из разноцветных тряпок (очевидно, слуги) — характерен: он в дорожной дохе, меховой шапке, с него снимают 30 одежек, тулупчиков, телогреек, кофточек всяких, из которых, наконец, вылетает на сцену узкогрудый мальчик-«фитюлька» (которому играть Хлестакова или Гулячкина из «Мандата»), — в цветной какой-то, подпоясанной шнурком, косоворотке, вдобавок, кажется, впущенной в брюки, длинные с раструбом, — словно школяр, приехавший домой на побывку. Приятно потягивается с дороги, расправляет члены, пробует рояль, подает Лизе привезенный

гостинец в платочке, за что она целует его в руку; потом приносят чай, — попил чайку, подзакусил (по-настоящему), что-то невнятно сказал (рот полон еды), сейчас же опять за рояль; подвижен, как мальчик; да он и есть мальчик; поиграл чуточку, взял 2—3 аккорда — и сейчас же бегом на авансцену, к публике или к ширмам, за которыми почему-то нашла нужным переодеваться мейерхольдовская Софья (может быть это тоже по-живому, в духе эпохи: принимая в своей уборной Томского, графиня в «Пиковой даме» уходит «за ширмами» оканчивать свой туалет и из-за ширм переговаривается с гостем, — но к чему это здесь: может быть, этим трюком режиссерски-остроумно показывается холодность Софьи, не торопящейся навстречу гостю, умышленно затягивающей неприятную для нее встречу?). В этой мизансцене-перекрикиваньи между Софьей за ширмами и Чацким — и проведены все первые разговоры Чацкого и его воспоминания о Москве, тетушке «Минерве», Гильоме-французе, «подбитом ветерком», о театрале, у которого на бале — тоже «за ширмами» — был спрятан человек и щелкал соловьем. Но как-то за сменой впечатлений зритель и не внимает этим «домашним» разговорам-болтовне, тем более, что они и подаются по-домашнему», натуралистически небрежно.

Не только внешность и поведение, но и вся внутренняя сущность грибоедовского Чацкого снижена, измельчена, обескрылена. Срезан весь боевой пыл его речей (чтобы сделать его не «резонером», а «живым» лицом), сатирическая эмоциональность его так называемого «резонерства», заставляющая воспринимать эти речи во всяком случае не как холодное резонерство, — и хотя часть монологов совсем выброшена (напр., о французике из Бордо), а остальные раздроблены и подаются кусочками, но и оставшиеся эти стихи звучат в житейской, обывательской читке их артистом сухо-резонерски, прозаически, как разговор какой-нибудь незначущий о еде или починке носков. Какой же это «общественный боец»? В чем его «общественная сущность»? В особенности резок в этом смысле последний горячий монолог Чацкого, который в театре Мейерхольда ярким несоответствием прозаической интонации и пылкого внутреннего словесного содержания вызывал на первых представлениях неудержимый смех у зрителя. Ибо смешно, конечно, когда «карету мне, карету!» Чацкого звучит в таком тоне, в каком заказ швейцару в гостинице об извозчике на вокзал. И вот, действительно, Чацкий от'езжает из дому почти на вокзал («пойду искать по свету»): его опять облачают в доху, тут же наготове его слуга, успевший уже уложить — за время ночного скандала — все вещи в дорожный мешок, тут же и неизменно ситцевое одеяло, — подлинный от'езд или переезд с квартиры на квартиру. Чацкий, досказав свое, что полагается, вежливо прощатся за ручку с Софьей, застывшей в неописуемо-трагической позе, и тихонько уходит в дверь, а за ним слуга с имуществом. Хорош «миллион терзаний»!..

XI.

Рядом с этой линией натуралистического опрощения и общественного снижения образа Чацкого идет линия его романтически-философского углубления и «возвышения» («высшего значения») н а д поверхностной и временной «общественной» сущностью; в этом плане Чацкому — внутреннему его образу внешне-житейской и прозаической оболочке — придается режиссером толкование какой-то особой душевной значительности, и его общественно-личное горе переключается в трагедию «бытия», айхенвальдовской «мировой судьбы идеализма», — во всяком случае в поэму «мировой скорби». Весь этот «внутренний» мир Чацкого, «внутренний» вид его, каким он рисуется на сцене сквозь внешнюю свою смешную обывательскую оболочку — совсем мир байронический, мир прометеевских лермонтовских чувствований:

Какое страшное мученье,
Страдать века без разделенья,
Все знать, все чувствовать, все видеть
И все на свете ненавидеть,
И все на свете презирать...

Впрочем, и «ненависть» из'ята из этого ассортимента чувствований Чацкого: ненависть — это ведь уж от «обличителя», роль которого Чацкий, по уверению Немировича-Данченко, «и не думал брать на себя»; Чацкий, ведь, «по юности натуры своей» (у Мейерхольда он больше, чем юн — ребенок, в розовых устах которого иные реплики, как, напр., «я еду к женщинам, но только не за этим», вызывают только недоверчивую усмешку зрителя) «больше любит, чем ненавидит» (В. Александров).

К роли этого Чацкого, конечно, подходит другой план, начертанный еще тем же Немировичем-Данченко, сражавшимся с общественной «перегруженностью» образа Чацкого, и осуществленный в Художественном театре, и — в этом же плане — сейчас Мейерхольдом: «нежные краски, сцены, полные аромата поэзии, лирики».

Вот эта лирика в ее музыкальном оформлении (так как словесная у Грибоедова явно недостаточна, та самая лирика, которую Пиксанов учитывал как элемент «барства»), лирика с углубленностью философической, лирика «мировой скорби», Бетховена и Шуберта, — основной тон мейерхольдовской трактовки Чацкого.

И эта лирика образа Чацкого — грустная, «нежная», поэтическая и музыкально-расплывчатая (вместо бурной пламенной страстности «общественного» Чацкого), лирика с музыкой, окутывающая всю эту неясную и разноплоскостную мейерхольдовскую постановку — главный грех ее.

Современный поэт, оказывается, напрасно так безнадежно характеризует положение лирики в наши дни:

Лирика гибнет.
Теперь в прейскуранте стихов дежурное блюдо·
Рифмованная лапша кумачевой халтуры,
Да разве еще барабан с горошком а-ля-Леф.

Ничего подобного: И. Сельвинский может успокоиться. Тоска по лирике — и самого интимного, и «высокого» типа, — может быть, как естественная реакция на уничтожение всякой лирики в пережитые годы борьбы — характеризует весь вообще режиссерский уклон Мейерхольда последних постановок.

О «меланхоличности» Грибоедова говорит и Пушкин, о «меланхоличности» Чацкого — Герцен, но какой? Как неизбежного, после под'ема, срыва боевых настроений, временной реакции на этот срыв.

Ну, вот и день прошел, и с ним
Все призраки, весь чад и дым
Надежд, которые мне душу наполняли:
Чего я ждал? что думал здесь найти?
Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?..
...Все та же гладь и степь, и пусто, и мертво.
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.

Это, может быть, единственный в боевой роли Чацкого такой значительный, выделенный, такой задушевнейший момент чисто-лирической меланхолии, раздумья... «Душа здесь у меня каким-то горем сжата» — этот лирический мотив покрывается сейчас же бурной патетикой «миллиона терзаний»...

Но и у Пушкина в характеристике Грибоедова рядом с «меланхоличностью» идут «озлобленный ум», «честолюбие» «необыкновенного человека»; у Герцена — «ирония», трепет «негодования» рядом с «мечтательными идеалами».

У Мейерхольда «меланхоличность» — основная торжествующая черта Чацкого. По сцене слоняется в лирической задумчивости юноша-романтик «печального образа» с печатью обреченности на челе, безгневный Вертер, Гамлет какой-то щупленький, — порою, при натуралистических подробностях своего внешнего образа и поведения, кажущийся «тихим мальчиком» подозрительного сологубовского типа, ибо и сама эта, поданная в непомерной дозе и бессодержательная лирика кажется часто подозрительно-сладенькой. В замысле Мейерхольда чувствуется в общем какая-то трагическая обреченность Чацкого, «мировая» его участь «горя уму» — всякому уму, всегда, везде — при соприкосновении с «жалким мелким светом» человеческой пошлости. Горе человеку — он одинок в мире... Но рядом идущее прозаическое опрощение мешает этому замыслу трагедии, разбивает все впечатление. Вот музыка. Этот юноша — нестерпимый музыкант: так мы уже говорили, он не отходит от роялей, имеющихся в фамусовско-мейерхольдовском доме почти в каждой комнате, — не дом Фамусова, а депо музыкальное. Свои грустные переживания, свою скорбь лирическую юноша выражает в дорисовывавших эту сторону его облика звуках Бетховена, Шуберта, Моцарта (раннего). Есть эпизод, в котором пианист, сидящий в зале, разыгрывает целиком (или в большей своей части) «Фантазию» Моцарта — без всяких слов — «песню без слов», а Чацкий сидит на сцене за бутафорским инструментом и изображает мимикой и телодвижениями музыкальную настроенность той игры, которую исполняет другой. Это уже смешно. Порою,—в особенности, когда Чацкий, отрываясь от рояля, бегает по сцене кругами, — это совсем Гулячкин из «Мандата», только в меланхолии—Гамлет-Гулячкин. И замысленный, по признанию режиссера, «как трагический финал», конец пьесы воспринимается, как мы уже видели, совсем иначе.

Вот об этой лирико-философской стороне мейерхольдовского замысла и говорит его критик, когда называет его спектакль «сценической поэмой о декабристе». Но при чем же тут декабрист? Почему этот Чацкий — «декабрист»?

Прежде всего этот Чацкий Мейерхольда — жертва, а не общественный борец. Декабристы кануна 1825 года — были борцами, такими они пошли на Сенатскую площадь, куда сразу переносится внимание «от невинных разговоров в английском клубе («вслух громко говорим, никто не разберет»); от слов — к жесту... Разговоры могли вести и не революционеры — на площадь могла пойти только революция» (М. Н. Покровский). Пусть эта революция и оказалась «не революционной» по своему социальному охвату, но «жертвами», обреченными, унылыми и растерянными, потерявшими весь пыл душевный, весь энтузиазм, спешившими себя «легализировать, выдав все и вся, раскрыв все тайники своей души» — декабристы стали после «декабря». Если мейерхольдовский Чацкий — декабрист, то — после поражения, что явно расходится с замыслом грибоедовской сатиры.

В чем «миллион терзаний» Чацкого? Вся его мысль и все действия у Мейерхольда с начала пьесы до конца направлены к тому, чтобы разгадать «загадку» Софьи: «вот, н а к о н е ц, решение загадке!». На этом строит завязку драматических положений своего Чацкого режиссер, а не на общественно-политических моментах. Вот в чем вопрос этого Чацкого, его — вовсе не такое уже «мировое», «мирового масштаба» — «быть или не быть». Влюбленный юноша, темперамента довольно нерешительного, раз как-то впившийся в голое плечо Софьи (для торжества вящшего натурализма, что ли?), но почему он — декабрист? Мы недавно узнали о пламенно-страстном романе типичного декабриста (Б. Модзалевский, «Роман декабриста Каховского», 1926). Это уже не сочинение, а подлинная жизнь. Роман потерпел жестокое крушение — не меньше, чем у Чацкого, Каховский был «человеком исключительной пылкости, темперамента, восторженный энтузиаст» —

речь шла даже о похищении девушки, о самоубийстве — этот неиспользованный энтузиазм ушел весь в конце концов на дело восстания. Каховский ушел на плаху. Роман мейерхольдовского Чацкого — не роман грибоедовского Чацкого и не роман Каховского. Вся «трагедия» Чацкого-Гарина часто звучит только, как трагедия одной самодовлеющей любви.

Повторяю, вовсе не в подчеркивании «общественной сущности» Чацкого его декабризма — истинный замысел режиссера (вопреки его печатным заверениям), — а в том философически-лирическом углублении темы о нем, о котором я говорил выше и которое правильно охарактеризовано самим возвращением постановки к первоначальному заголовку «Горе уму» [1]). Пусть нас не смущают такие иллюзии «общественного» характера, как специальное введение режиссером в постановку двух, «раз'ясняющих» декабризм Чацкого, сцен. Это не больше, как иллюзия «общественности». Я говорю о наивно вставленных Мейерхольдом и сшитых весьма на белую нитку, композиционно чужеродных Грибоедову, не в плане его комедии и сатиры, не в плане грибоедовского развертывания своего действия, не в общем плане и мейерхольдовского осмысливания пьесы, — двух декоративных эпизодах, выходящих на сцену новые лица — тех «молодых людей», о которых Чацкий говорит в пьесе, — под видом «приятелей» Чацкого. Сидя на столе фамусовской библиотеки, окруженный этими приятелями в соответствующих гримах, напоминающих исторические лица Рылеева, Чаадаева и др., Чацкий произносит свой «обличительный» монолог («А судьи кто?»), направленный по адресу Фамусова и Скалозуба, закусывающих покойно на авансцене в биллиардной, — произносит наподобие митинговой речи. В устах этого, уже привычного нам, «облезлого» Чацкого монолог звучит как-то глухо, резонерски-холодно, декламаторски и неправдоподобно, а приятели аплодируют оратору: «браво». И опять другой эпизод: уголок библиотеки, за стеной которого слышится музыка, идут танцы (фамусовский бал), здесь происходит нечто в роде собрания «Зеленой лампы», где пылкие юноши, те же приятели, Рылеевы и Чаадаевы, читают по бумажкам стихи Пушкина и Рылеева — декламаторски-серьезно, с пылом. Пыл, вложенный в роль Чацкого и оттуда выкорчеванный режиссером, распределен поровну между этими выдуманными схемами в мундирах, театральными статистами. Замена — художественно обреченная на неудачу. Наконец, именно «декламацию» в показе «Горя от ума» Мейерхольд резко отрицает. Эти эпизоды художественно-грубые, явно притянутые за волосы к законченно классической сатире, настолько чужеродны и всей пьесе, и постановочному замыслу самого Мейерхольда, что, никого не убеждая, воспринимаются зрителем как вульгарные отсебятины глухой театральной провинции.

Они не могут скрыть того, утвержденного всей постановкой в ее целом, факта, что Чацкий, психологический провозвестник «декабризма», у Грибоедова весь — яд, пыл, энтузиазм молодой, бичующий и обличающий, этот Чацкий подменен у Мейерхольда музыкантом-мечтателем, лириком, лимонадной водицей, сиропом сладко-грустным. Действенность речей подменена пассивностью интимных мечтаний, которые, как я сказал, имеются, конечно, кое-где и у грибоедовского героя, но совсем иного качества: Чацкий — не Вертер.

Как сочетать романтизм с натурализмом, эту усердно насаждаемую режиссером высоко-лирическую душевную настроенность с натуралистически-бытовым прозаизмом той фигуры, какую показал Мейерхольд, снижая героя общественно-литературной «легенды» и одновременно философски углубляя его — секрет свое-

---

[1]) Недаром в своей беседе в «Правде» Мейерхольд писал о «более общем» значении комедии Грибоедова, которое театр «пытается прощупать в «первоначальном замысле» автора и тут же сочувственно приводит пиксановский комментарий этого замысла: «углубить смысл конфликта, придав ему не местный бытовой и временный, но более общий, быть может, даже философский характер»...

образного декадентско-символического метода (блоковский синтез нарочито-вульгарного натурализма с изощренной мистикой «Незнакомки», «Прекрасной дамы», «Балаганчика» и пр.). Оттуда особая терпкость образа, уточненность его на какой-то грани эстетизма, — оттуда эта тихая внутренняя трагедия «без слов» (но в музыкальных звуках), поэма разбитых иллюзий...

Но звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Вот затаенный смысл образа Чацкого, каким он представляется мне в сценической интерпретации Мейерхольда-Гарина. Здесь возвращение не к «подлинному» замыслу комедии, а к первоначальному, отвергнутому самим автором.

XII.

«Новая трактовка действующих лиц» комедии, — задача, которую преследовал режиссер в своей постановке, — нашла свое выражение и в его интерпретации образов Софьи, Фамусова, Молчалина.

Замысел Софьи весьма не ясен в исполнении мейерхольдовской артистки; но и этот образ толкуется режиссером в двух планах. С другой стороны, идет линия резкого опрощения и «натурализации». Режиссер исходит определенно из первой непечатной версии пушкинского отзыва, которая нашла себе, как мы знаем, дальнейшее развитие в толковании эпигона писаревщины Авдеева. Вместо сантиментальных ночных бдений с возлюбленным («московская кузина»), Софья расхаживает у Мейерхольда с Молчалиным по ночным кабачкам в погоне за удовольствиями французского канкана и варьете с неприличными девицами и лишь под утро возвращается под кров отцовский — хороша Софья, дочь Фамусова, барышня грибоедовской Москвы, — действительно — что могла бы сказать «княгиня Марья Алексевна»!.. В этом случае режиссер совсем солидарен с точкой зрения самого Фамусова, для которого пребывание девушки наедине с молодым человеком может иметь только одно вульгарное об'яснение. «Страмница, бесстыдница... Как мать ее, покойница жена — чуть врознь: уж где-нибудь с мужчиной»... Режиссер сочиняет вводную пантомимическую сцену, открывающую все представление: кабачок с «девицей», «Diseuse», гитаристом, гусаром, здесь же Софья с Молчалиным, не боящаяся встретить кого-либо из знакомых, и тут же Репетилов, который, конечно, легко разгласит свою встречу по всей Москве. Но Репетилов понадобился режиссеру потому, что мотив «кабачка» взят из его монолога-рассказа о Воркулове Евдокиме, который поет — «диво!». «Особливо есть у него любимое одно: «А! нон лашьяр ми но, но, но»...

Софья этого толкования — определенная жрица «науки страсти нежной». Нравы вовсе не были строги в этом смысле в грибоедовской и пушкинской Руси, но только «разрешалось» все уже после замужества. Девушка пребывала в фактическом терему и в полной власти родительской: подлинным бытом звучит Фамусова: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть»... Неудачный финал пылкого романа декабриста Каховского, как о нем рассказывает Б. Модзалевский по документальным данным, есть следствие такого же полного вмешательства в судьбу дочери — наивной и романтической тоже Софьи (Софьи Михайловны) — ее отца, барина московского, Салтыкова, — хотя этот барин и был более передовых взглядов, чем Фамусов — «вольтерианец», член Английского клуба, приятель Чаадаева, член «Арзамаса», один из видных представителей русского передового дворянства конца XVIII в. В 1824 г., когда разыгрался роман его Софьи с декабристом Каховским (т. е. как раз в тот год, когда и Грибоедов написал свой роман Софьи с декабристом Чацким), Салтыкову было 57 лет, может быть, это и возраст Фамусова. А Каховский был, как он

пишет в письме к любимой девушке, «не богат, не знатен», что, очевидно, играло известную роль в отношениях к нему Салтыкова («кто беден, тот тебе не пара» — фамусовское). Роман был трагически разрублен отцом. Зато достаточно было его наивной романтической Софье выйти замуж (за поэта А. А. Дельвига) и выйти из-под строгой отцовской опеки, перед нею открылись широкие и обществом покровительствуемые возможности романов, и тут оказалось, как пишет ее биограф, что «Софья Михайловна была слишком горячею, увлекающейся натурою, мятущейся душой, искала пылких страстей», у нее появились «поклонники», и среди них известный по своему знакомству с Пушкиным циник А. Н. Вульф, начавший с нею любовную игру и в своем дневнике подробно рассказавший об этом. Весьма вероятно, что и Софья Фамусова не избежит этой участи в душном фамусовском обществе, ничего иного не дающем молодой «мятущейся душе, жаждущей все новых впечатлений», но в тот период, когда Софью берет героиней своего романа Грибоедов, она еще иная, конечно, не та холодная, опытная куртизанка, какою ее рисует наш режиссер.

Но и в этом своем очевидном замысле режиссер не последователен: странно после этих ночных похождений с развязным и наглым, вовсе не почтительным (у Мейерхольда) Молчалиным звучит в финале фраза Софьи: «при свиданиях со мной в ночной тиши держались более вы робости во нраве, чем даже днем, и при людях, и в яве»... Или Софья у Мейерхольда — demi-vierge, «полудева», одна из тех расчетливых в страсти девушек, о которых так много рассказывается в том же вульфовском дневнике?

Но первоначальный замысел — и не только он, но и первоначальная текстовая редакция комедии — рисовали Софью, как мы уже знаем, гораздо значительнее и привлекательнее. Это — смелая и независимая девушка, романтически настроенная, в любви самоотверженная: даже в окончательной редакции звучит значительно ее реплика: «вы знаете, что я собой не дорожу»... Этот первоначальный замысел углубленной Софьи — сниженной автором в интересах именно сатирически-общественных, — Софьи не сатиры, а драмы, трагедии, — Мейерхольд только «прощупал», но не дал: ведь нельзя считать натуралистически подчеркнутый режиссером эротизм Софьи выражением независимости и содержательности ее натуры... Восстановлены некоторые стихи музейного текста роли Софьи, сделан «трагически» и лирически ее финал — прозрения и относительно Молчалина, и относительно Чацкого — и этот, по замыслу Мейерхольда, определенно «трагический финал» снова уводит нас от пылкой общественной сатиры к углубленному драматическому толкованию пьесы, как философско-лирической «поэмы».

Зато в трактовке Фамусова взята одна — и определенно — резко натуралистическая линия, извращающая тот четкий художественно-сатирический символ, который с именем Фамусова связывает всю «грибоедовскую Москву». В отрывке «Характер моего дяди» (прототипом Фамусова называют определенно А. Ф. Грибедова, «дядю сочинителя») Грибоедов отмечает в этом характере, в конце XVIII в. «господствовавшем» в обществе, черты «какой-то смеси пороков и любезности»: «извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства... в душе бесчестность и лживость на языке. Он, как лев, дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних в Петербурге, в отставке жил сплетнями». В постановке этот образ опрозаирован, снижен и измельчен: из сочной, яркой фигуры, в которой так художественно-полнокровно и символически дан быт столь характерной фигуры барина московского или крупного чиновника (Фамусов у Грибоедова — «управляющий в казенном месте») артист (Ильинский) превращает Фамусова в старикашку, жалкого «рамоли» из сабуровского фарса, блудливого селадона с ужимками старика Карамазова и одновременно Аркашки из «Леса»... В постановке разработана целая пантомимическая сцена грубо-эротического натурализма. Фамусов ухаживает за Лизой, демонстрирует целый ряд неприличных подробностей этого ухаживания вплоть до того, что валит ее на кушетку. Что-

это, разоблачение крепостнических нравов московского барина? А неприличные манеры-штучки, которыми этот Фамусов увеселяет публику: чешет себя пятерней по животу, чешет одной ногой другую, приседает, делает реверанс, дает гаерские выкрики опереточного стиля.

Лучшим критическим опровержением такого толкования является первоначальный замысел Мейерхольда, как он изложен им в своем интервью в «Правде»: «Фамусов — как бы лидер того общества, против которого борется Чацкий; он поэтому отнюдь не «рамоли»; он бодр, легок, проворен, горяч, в нем большая наступительная энергия; если бы он не был таким, то против кого же бороться Чацкому? Он может быть даже изящен и по-своему обаятелен». К сожалению, этот замысел Мейерхольдом не был осуществлен; от «легкости, проворства и горячности» до фарсовой прыткости и эротизма — дистанция огромного размера.

XIII.

Две линии постановки — натуралистическая и углубленно-лирическая — проступают четко во всем оформлении спектакля, иногда параллельно, иногда пересекаясь.

С одной стороны, нагроможденность деталей там, где требуется скупость средств, строгость, точность. К чему введенная постановщиком сцена с тиром — домашним фамусовским тиром? Чтобы показать Софью в позе стрелка? На сцене тщательно заряжаются пистолеты, зритель разглядывает занятный тир, выскакивающие фигурки, а все об'яснения Софьи с Чацким во время этой стрельбы, все разговоры, которые режиссер хотел для «правдоподобия» вставить в раму натуралистически-занимательного быта, пропали, их никто не слушал, и я, критик, каюсь, тоже не дослушал, поглощенный необычностью зрелища. Так же совершенно пропал весь разговор Лизы с Софьей о Чацком, так как он подан режиссером в специальном эпизоде «танцкласса» среди танцовальных упражнений Софьи и зрелищных комбинаций с француженкой и тапером, введенными режиссером «от себя». Так же совершенно отвлекает внимание от существа комедии биллиард: Скалозуб и Фамусов играют по-настоящему со всеми приемами заправских игроков, мелом натирают кии, долго прицеливаются, причем Фамусов-Ильинский смешит разными своими «штучками» и гримасами, и когда он попадает в лузу, то публика радостно принимает его удачу, а о чем, бишь, разговор шел промежду персонажей — и невдомек никому. А между тем здесь дана замечательная характеристика Москвы («Вкус, батюшка, отменная манера») Фамусова и Скалозуба: весь смысл грибоедовской сатиры пожирается до остатка этими прожорливыми деталями, подлинно, без остатка, вытравляется из комедии вся ее «общественная сущность», весь «пафос ее негодования на действительность» (Белинский). «Действительность», наоборот, торжествует, сатирическая условность Грибоедова заменена художественно-натуралистической естественностью: все «как в жизни»... Несомненно, Мейерхольд исходил в этом принципе постановки из соображений художественно-эстетических той группы критиков комедии, которая сатиру должна была считать «снижением» искусства и во внесении в комедию ряда условностей и общественного пафоса видеть порчу ее поэтической прелести. Чацкий в столкновении с Фамусовым ведет себя, как «полоумный» — с точки зрения законов художественной правды — и вот режиссер помещает его монолог в житейской обстановке библиотеки и приятелей «молодняка». На балу Чацкий, как указывала эта критика (и тот же Белинский времен «примирения с действительностью»), «несет такую дичь, что все уходят», — и наш режиссер выбрасывает монолог о французике, а момент «миллиона терзаний» проводит на фоне гротесково-роскошного стола, за которым сидит, ест, пьет, чавкает и сплетничает «Москва»...

Нет «монологов», едких общественно-политических характеристик, нет «миллиона терзаний» (не только ведь от одной любви) самого Чацкого, но зато дей-

ствующие лица умываются по-настоящему: настоящей водой с мылом, и по настоящему вытирают руки, и завтракают, и чай пьют по-настоящему; красуются по-настоящему на сцене снабженные снедью и напитками поставцы, и если рядом в постановке идет — совсем в другом плане — какая-то схематизация обстановочная с минимальным реквизитом, лишающая сцену красочных пятен мебели, тех картин, которыми изобиловала постановка «Ревизора» (диванная, портретная, библиотека, биллиардная, аванзала, концертная, каминная, столовая — целый ряд показанных режиссером внутренних апартаментов барского особняка — все они похожи друг на друга и все — неприятно пустые, голые), то пусть нас это частичная схематизация не обманывает: перед нами несомненно явление типично-натуралистического театра, мельчащее, снижающее и действие, и текст, и вообще всю комедию.

Другая, углубленно-психологическая, линия лирических и философских настроений постановки выражена ясно, как мы знаем, в интерпретации образа Чацкого, в музыкальном его оформлении, — вообще в музыкальной стихии, господствующей в спектакле. О музыке этой стоит сказать несколько слов: Мейерхольд строит свою постановку на музыке не как на сопровождающем, а органическом моменте своего замысла. Разрушая тонкую внутреннюю музыку грибоедовской речи, стиха, все музыкальное строение этой легкой грациозной, такой искристой, комедии, режиссер вводит в спектакль музыку внешнюю, инструментальную, романтически-значительную: в каждой комнате показанного им фамусовского дома стоит, как мы уже знаем, по роялю к услугам Чацкого, роль которого на три четверти состоит не в «общественной борьбе», а в занятии музыкой: «у рояля Чацкий» — можно бы поставить в афише этого спектакля.

Чацкий весь в неслышных меланхолических шагах, неслышных, — и потому не грибоедовских, — словах-шопотах и в весьма слышной музыке. Есть эпизод, где на сцене — как я уже говорил — воцаряется одна музыкальная стихия: Чацкий изображает, что он играет — не знаю, целиком ли, но весьма долго — на протяжении всего эпизода — «Фантазию» Моцарта. В этом музыкальном построении спектакля — один из основных грехов мейерхольдовской постановки, вскрывающий, однако, зато с большой, чисто-показательной, рельефностью его замысел. Это явное «засилие» музыки, конечно, не простая случайность. Музыкальный организатор спектакля Иг. Глебов прямо заявляет («Современный театр» 1928 г., № 11), что только через музыку проявляется элемент «динамики и интенсивности эмоционального тона» в образе Чацкого. Его слова «перестают быть пустыми или, вернее, полными. Их наполняет и за них договаривает музыка. Через музыку делается понятной глубина чувства Чацкого: сила его любви и ненависти и ужаса перед пошлостью». И дальше: «Чацкий живет, мыслит и чувствует музыкой, как это было и с Бетховеном». «Назад к Баху» — лозунг, уводящий Чацкого от окружающей пошлости», и через Баха личность Чацкого становится максимально человечной, «внесословной и всеоб'емлющей». И Моцарт в постановке взят не солнечный, светлый, а «мечтательно-сумрачный, колеблющийся и раздвоенный: именно в противовес бетховенской титанической воле, в Моцарте подчеркнуты черты Weltschmerz'а — «созревающий байронизм».

Вот оно — если еще нуждались мы в подтверждении — окончательное выявление мейерхольдовского замысла — превращения жизнерадостной общественной сатиры в печальную «высшего значения» «сценическую поэму» байронического типа, «мировой скорби»...

Но разве для этого превращения драма и драматический театр технически нуждаются в музыке? Разве драматический театр не имеет других средств для достижения поставленных перед собою задач? Слова Грибоедова и актера, их произносящего, останутся, видите ли, «пустыми», если не наполнит их Иг. Глебов музыкой, набранной по чужим местам; «чувства», динамика их не дойдут до зрите-

ля, если будут показаны только путем драматического выражения: прямо переносите свою постановку в Консерваторию, что на Большой Никитской...

Конечно, это смешение элементов разнородных искусств, отрицающих друг друга (музыка убивает слово и обычно начинается там, где слово уже кончилось или еще не начиналось), в сущности, есть признание бедности, беспомощности и бессилия драматического искусства. А что получается, когда Чацкий говорит под музыку, а не только в промежутках между музыкальными номерами? Совсем мелодекламация для провинциальных барышень, дешевая, слащавая водица томных каких-то «настроений». Эта музыка окончательно расслабляет темп комедии, ее костяк, разваливает и разжижает упругую и крепкую, драматическую словесную и сюжетную ткань ее, лишает ее именно «динамики» действия и слова, подлинно дезорганизует ее, товарищи музыкальные организаторы... Действенность веселой жизнерадостной комедии (ведь сам Грибоедов вышел из французского водевиля), весь боевой темперамент ее подменяется лирико-философской пьесой настроений, с вяло текущим диалогом и самодовлеющими мимическими сценами — ритмом бездейственности.

XIV.

И вот откуда — от этого замысла — и замедленный темп комедии, полная перестройка ее драматургической композиции, придушенная речь ее стихов, полутона импрессионизма...

Историю грибоедовского текста мы уже знаем и знаем, в чем был смысл работы автора, завершенный последним окончательным булгаринским (или почти тождественным с ним жандровским) списком. Грибоедов шел от «сценической поэмы» высокого стиля к общественной сатире. Мейерхольд идет как раз по обратному пути: от сатиры к поэме.

Канонический, окончательно установленный, текст грибоедовской комедии до сих пор во всей своей неприкосновенности нигде не звучал со сцены русского театра: заимствования из музейного или других вообще сомнительных (напр., чуруcовского) списков слышатся порою даже со сцены Малого и Художественного театров. Мейерхольд сделал свою «сводную» редакцию, вводя в окончательный текст части только одного «музейного автографа», но зато много щедрее обычного восстановив то, что отвергнуто было самим взыскательным классическим поэтом.

Единое комедийное целое, стройное, драматически-законченное у Грибоедова в плане его определенного замысла—у Мейерхольда, автора спектакля, раздроблено на ряд несвязанных сцен, случайных 17 эпизодов-миниатюр, разыгрываемых то в дверях, то в вестибюле, то в аванзале и т. д. Исчез ритм этой комедии, пенящейся как шампанское, — стройное развертывание сюжета, влекущее неудержимо одну сцену за другою... Комедия возвращена в смысле драматургическом к какому-то изначальному хаосу, в котором еще не видно никакой творческой кристаллизации — ни художественной, ни идейной.

Соответственно этому и весь текст, все монологи разбиты на куски, частью совершенно выброшены, частью перенесены из одного места в другое и даже из уст одних действующих лиц в уста других. Из текста, организованного по принципу художественно-сатирической целесообразности, получилась, в общем, порядочная мешанина, «компиляция», «литмонтаж», литературная и театральная безвкусица. Самый стих — легкий, четкий, совершенно законченный в своей художественной цельности — разбит на драматическую полу-прозу, полу-шопот; ритм грибоедовской речи, такой музыкальной в своем существе, уничтожен в явном стремлении к натуралистичности стиха, к его опрозаированию (в соответствии со всем характером постановки). Чудеснейший грибоедовский стих, сведенный, как мы знаем, с условно-классических высот «чистой поэзии» к прекрасному простому стиху, в самой своей близости к разговорному языку оставшемуся художественно-обра-

ботанным, стиху подлинных эмоций и мысли, — у режиссера снижен дальше возможной в искусстве грани: от художественного правдоподобия и сатирической правды спущен к правде житейской, приближен к прозаической обывательской речи. Читка у всех артистов — натуралистическая, прозаическая, речь снижена со своих сатирических высот. А со стихами исчез и самый «ум» Грибоедова и его комедии.

И вот «итоги» нашего литературно-идеологического и сценического анализа «Горя от ума» и его современной театральной постановки.

Имеющая за собою более чем 100-летний общественный «стаж», гениальная русская комедия перед судом современности выдержала с честью свое испытание. Она жива и волнует своим ярко-общественным энтузиазмом, своей болью острой, но пылкой борьбы и временных поражений. Нельзя того же сказать об интерпретации ее на современной сцене талантливым режиссером наших дней. В постановке намечается ясно линия снижения общественной значимости комедии-сатиры, замены ее действенного общественного момента моментом лирико-психологическим и интимным, утверждения на сцене романтики расслабляющих настроений, всего того, что характеризует как будто бы линию пессимизма и упадка. Театр настроений вместо театра действий, — так, что ли? Не есть ли эта линия у теперешнего Мейерхольда — очень чуткого, как всякий крупный талант, отразителя общественных веяний и атмосферы — барометрическая и, уверены, временная, случайная реакция на некоторые отрицательные моменты действительности, на «упадочное» настроение некоторых общественных групп современности?

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Ширяевец. В о л ж с к и е п е с н и. Стихотворения. Под редакцией В. Львова-Рогачевского и П. Орешина. Артель писателей «Круг». 1928 г. 2 000 экз. Ц. 1 руб.

Из всего литературного наследия поэта А л е к с а н д р а Ш и р я е в ц а издательство «Круг» в книге «Волжские песни» дало самое значительное. Однако следует оговориться, что книга «Волжские песни» обнимает далеко не все стихотворное наследие поэта, не говоря уже о сказках, пьесах и рассказах. Достаточно указать на то, что из книжки «Раздолье», изданной в 1924 году Госиздатом, включено менее половины стихов; из «Бирюзовой чайханы» — тоже около половины (в сборнике «Туркестан в русской поэзии» напечатаны из «Бирюзовой чайханы» 34 стихотворения), и совсем не включены многие стихотворения, как помещавшиеся в газетах и журналах, так и находящиеся у разных лиц и в издательствах в рукописях. Редакторам не мешало бы оговорить это в предисловии, так как поэт Ширяевец еще до сих пор не встал перед широким кругом читателей во всем многообразии своего творчества.

Приходится также досадовать, что в книгу «Волжские песни» не вошли хорошие по мастерству стихотворения Ширяевца из «Раздолья»: 1) «Зеленый луг, лиловые цветы», о котором В. Львов-Рогачевский упоминает в своем очерке, 2) «Есть ли что чудесней Жигулей-хребтов», 3) «Свистнул ветер Кудеяром», 4) «Атаманова зазноба», 5) «Кудеяр», 6) «Машет солнце платочком пунцовым», 7) «Горемычная», 8) «Гармонист», 9) «Архангельский глас» — стихотворение, которое, насколько мне известно, побудило Сергея Есенина, после посещения им Ширяевца в Ташкенте, написать стихотворение «Пой же, пой! На проклятой гитаре» (I том, стр. 194). В отдел 7 книги «Земь» следовало бы включить не попавшие ни в одну книгу Ширяевца стихотворения: «Все-то снится с косою мне сватьюшка», «Не пришлось чудесной птицы златоперой мне поймать» и целый ряд других стихотворений, написанных поэтом незадолго до своей смерти.

Вот почему, просматривая «Волжские песни», приходится задать вопрос: в каком плане и с каким заданием издательство выпускало данную книгу и почему оно не дало полного однотомного собрания стихов Ширяевца, который вполне этого заслужил?

По самой природе своей Ширяевец был упорист, прямолинеен, непосредственен и самостиен. Таков он и в творчестве. В этом его целостность и оригинальность. Он большой поэт. В этом утверждают его «Волжские песни», «Раздолье», влившиеся стихийной волной в другие, не менее крепкие и сильные его произведения, как «Мужикослов», «Палач» (песенный сказ), «Складень» и «Земь».

Ширяевец — певец - гусляр старины в не меньшей степени, чем певец Волги. «Никогда старина не заснет», — говорил поэт и, переносясь в седую старину, перевоплощался:

> То палач я, то нищий-калика,
> То с булатом в разбойных лесах...

В своем «Складне» и «Земи» Ширяевец пропел нам про Москву, над которой «облака тоскуют, улетая, по ее диковинной красе», про юрода времен Грозного, про половецкое побоище и про Ермака. Наконец, прекрасен песенный сказ — «Палач», воскрешающий быт той эпохи, к которой относится лермонтовская «Песня о купце Калашникове»:

Тащут бабу-атамана
Ко приказному двору,
Ко приказному двору,
К палачеву топору...
. . . .
Будут голову смутьянную рубить,
Будут славу государеву трубить,
А палач-то лют и дюж,
А палач-то ейный муж.
Эй, вали-валом!
Эй, гуди-гудом!

Размер этой краткой рецензии не позволяет нам расширить цитирование художественных и интересных мест из «Палача».

Хотя и с оговорками, все же надо приветствовать, что издательство «Круг» сделало культурное дело — вложило в русскую литературу ценный клад — значительную часть ширяевских песен, которые еще не дошли до широких читающих масс.

Мы верим, что досужий критик неспешной рукой и прозорливым оком соберет все ценное, что еще не попало в «Волжские песни», и представит читателю и всем любящим русскую литературу поэта Ширяевца во всей его полноте и широте.

Семен Фомин.

Мих. Слонимский. Средний проспект. Гиз. 1928. Стр. 160. Ц. 1 р. 20 к.

«Средний проспект» — повесть о петербургских мещанах, застигнутых революцией. Героя в повести нет. Сюжет построен на перекрестке пяти самостоятельных тем. Каждая из них — судьба отдельного «героя» Среднего проспекта, в бо́льшей или меньшей степени связанного с мещанской окраиной.

Все они стараются найти выход из своей оторванности от современной жизни, одни в трусливом приспособленчестве (Павлуша), другие — в мелком хищничестве (спекулянт Масютин и контрабандист Щеголев), которые так же серы, как и рядовой обыватель Павлуша. Цель Масютина — «развернуть дело», вместо ларька открыть магазин. У контрабандиста Щеголева цели вообще нет.

Эти три «героя» вросли в быт Среднего проспекта и, несмотря на внешнюю деятельность, они вычеркнуты из жизни. Щеголев, наиболее крупный из них, сам это сознает, в конце концов добровольно дает себя арестовать. «Он впервые за два последних года чувствовал себя хорошо, — наконец-то кончилось одиночество!.. Этот арест он ощущал прямо, как возвращение к жизни» (стр. 140).

Два других человека Среднего проспекта — следователь Максим и деревенский комсомолец Гриша — рано покинули свою родину. Оба они люди новые, «как будто бы от Среднего проспекта свободные. «Но все же детские привычки и воспоминания остались у него. Даже теперь во многом — ну, хотя бы в делах с женщинами — сказывается его василеостровская жизнь» (стр. 55). Автор говорит это о Максиме, но такой же оттенок мутной безалаберности есть и в некоторых поступках Гриши.

Пять героев связаны друг с другом сложными родственными и житейскими отношениями. В этих отношениях перекрещиваются пять нитей, пять судеб людей Среднего проспекта. Этот перекрест приводит к трагической развязке — к убийству Масютиным сына — комсомольца Гриши.

У каждого из героев есть своя героиня. У Масютина — Вера, для которой смысл жизни исчерпывается крепким чаем, у Павлуши — Лидия, для которой существуют только шелковые чулки и «настоящие заграничные» духи, у Щеголева — Клава с романтикой Сенного рынка, у Максима — Женя Штрайх — «у нее было круглое, с немного пухлыми щеками, почти ребячье лицо, глаза, которые обычно были чрезвычайно серьезны и не по возрасту умны» (стр. 137). Образ Жени — самый привлекательный в повести.

Несомненному мастерству автора вредит какая-то излишняя осторожность в отношении к жизни и к художественному материалу. Он точно сам боится своей наблюдательности, боится углубить, заострить свои характеристики. Кроме того люди, вросшие в мещанский Средний проспект, ему удаются лучше, чем люди, преодолевающие Средний проспект. Если Павлуша, Вера и Масютин обдуманные, хотя и слишком осторожные портреты, то Гриша и Максим — случайные фотографии.

Все это вместе взятое несколько портит интересную повесть Слонимского.

Евг. Книпович.

Сергей Жданов. Мартемьяниха. Роман. Гиз. 1927 г.

Жданов берет глухое село и показывает, как империалистическая война вконец подорвала хозяйственные основы крестьянства и с железной необходимостью толкнула его на путь социальной революции. Он художественно развертывает массовый психологический процесс, в котором формировалась новая идеология революционного крестьянства.

Впечатление усиливается от того, что Ждановым взята деревенская глушь и темень, веками не потревоженная, и начало романа выдержано почти в есенинско-клычковских тонах, где пережитки славянской языческой мифологии сливаются с византийской церковно-обрядовой мистикой, облекаясь в образы народного сказа, выливаясь в лирику народнопесенной напевности.

Так, кузнец Пантюха вырастает в образ какого-то чуть ли не языческого бога Ярило. «Пантюхинская головешка отлетела в небо огнем-полымем, сожгла, спалила гусиную пушинку облаков, что̀ несли в своих пригоршнях собранные за ночь вдовьи солдаткины слезы...» А дальше вы чувствуете, что вся сила кузнеца Пантюхи — в его значении для примитивного хозяйства глухого села. И вы видите: то, что у Клычкова возведено в самодовлеющую систему якобы исконно-народного миропонимания, — на самом деле оказывается пережитком старого, идеологической надстройкой примитивного хозяйственного быта.

И крестьянская масса, зажатая в этом застоявшемся хозяйственном быту, сначала с бо̀льшей художественной убедительностью показана, как единый социально-психологический массовый сплав: нет личностей, нет строго очерченных индивидуальностей, а есть — социально не расслоенная в застывшем сплошном быту масса, закабаленная примитивным хозяйством, и в начале романа вы осязательно чувствуете это единое текучее массовое лицо деревни.

Достигается это прежде всего особенностями литературной формы, самого языка Жданова, чем уже заинтересовались наши языковеды: в первой части романа чуть ли не каждая фраза не только густо насыщена хозяйственно-бытовым содержанием, но и в самом построении отражает массовую крестьянскую психологию. Затем характерен самый прием письма: остро набрасывается ряд быстро сменяющихся лиц, без всякой заметной внешней увязки между собою, показываются они только одной какой-либо своей чертой, но эти разрозненные черты отдельных лиц как-то внутренне увязываются, дополняя одна другую, в единое массовое лицо деревни, причем черты живых людей перемешиваются и сливаются с предметами их производства и хозяйства, и как-то выходит, силою художественного внушения, что все сливается в один плотный живой сплав, и не разберешь, где кончается хозяйство и где начинается психология, целиком оформляемая хозяйством.

Этот веками отвердевший социальный сплав только в огне революции на наших глазах растапливается, приходит в быстротекучее состояние, даже разливается бурным потоком, и первый толчок — опять-таки от хозяйства. Началось с того, что вернулись с развалившегося фронта «бегуны-дезертиры». Деревня, потерявшая из-за войны лучшую рабочую силу, обрадовалась дезертирам, и они «остались на поднятие упадку в хозяйстве — земли обсеменить», а начальство объявило их преступниками, грозило конфисковать движимое и недвижимое имущество их семей. Тогда мир постановил: «ходатайствовать замирение войне и до дому мужиков, потому без мужиков нет хозяйства, полный упадок

и разор». Так стихийно, даже без большевистской агитации, лишь отстаивая свое хозяйство, крестьянство стало на большевистскую платформу. Эта диалектика экономической большевизации сама собою развертывается дальше, и крестьяне вынуждаются ходом самой жизни отобрать помещичью землю и скот — тоже «на поднятие упадку в хозяйстве». А когда потом, при содействии белогвардейских и чешских штыков, помещик пытается силою отобрать у крестьян свой скот, — не только бедняки, но и колебавшиеся ранее середняки всей массой берутся за вилы, топоры, колья, уже сознательно заявляя: «нония весь мир — большаки... все село — большаки... скрозь...».

Только теперь — после социальной расслойки; в процессе развивающейся социальной борьбы — из сплошной крестьянской массы выделяются личности, из сплава выковываются резко очерченные индивидуальности. Центральной фигурой романа является Мартемьяниха, и в создании этого образа — крупная заслуга Жданова.

Это — простая, деревенская корявая баба, — не баба, — «обрубок чего-то большого и недоделанного», но — силищи огромной и крепкого «кряжьего духа». Муж — никчемный мужичонка, так что на ее плечи легло все хозяйство — и в хате и на поле, а досталась ей — там «полоска земли в два аршина, там в один, здесь клинушек, за оврагом зацепа»... «А семья-то вон какая — шестого приволокла ирода...» Родила легко и исправно. Так всю жизнь жилы тянула, на кулаков работала — купца, попа да помещика. В церковь мало ходила за недосугом, но покорялась — богу, царю, попу, купцу, помещику и своему незадачливому мужу. А потом, в ходе развертывающихся событий, в отчаянных усилиях крестьянской бедноты отстоять свое хозяйство Мартемьяниха этим самым ходом событий выдвигается на пост председателя совета, становится во главе революционного движения именно и только потому, что она — «самая бедная и забитая, последняя, можно сказать»... Это продвижение Мартемьянихи наверх показано с большою жизненной правдой и художественной убедительностью. Так же жизненно-правдиво и художественно-убедительно показано, как Мартемьяниха могла управлять крестьянской массой, захваченной революционным процессом: для этого в первые дни достаточно было ее бедняцкого здорового социального чувства, железной воли и неукротимой энергии. Мы даже видим, как у нее самой в процессе борьбы зарождалось и прояснялось политическое сознание. А когда социальное расслоение в селе развернулось до конца и перешло в прямую гражданскую войну, когда кулачье сорганизовалось и увязалось с городской белогвардейщиной, — Мартемьяниха остро почувствовала свое одиночество и бессилие в такой борьбе, и тогда сам ход событий подтолкнул ее на необходимость организации бедняцких сил и прежде всего — на организацию партийной ячейки при содействии крестьянина-фронтовика. Так художественно выявлен завершенный путь социального и политического развития Мартемьянихи, а с нею — и всего бедняцкого слоя деревни, и здесь много бытовой живописи и волнующего драматизма.

По-своему, во всей жизненной полноте обрисован и мир деревенской контрреволюции — поп, купец, управляющий барским имением, кулаки. Интересно построена сложная фабула, крепко увязывающая все социальные слои.

К недостаткам нужно отнести некоторый мелодраматизм и психологическую необоснованность в романическом происхождении барчука Виктора от батрачки Марьюшки и в том, как этот белогвардеец Виктор и его «неожиданный» брат Пронька-дурачок подняли в селе восстание. Психологически не проработаны Пантюха-кузнец и Фелевей. Местами затрудняет чтение употребление непонятных слов узко-местного значения.

Но все эти недостатки не заслоняют крупного художественного и социального значения романа.

Павел Мирецкий.

Анна Караваева. Юность на Грязной. Роман. Гиз. 1927 г. 531 стр.

Рецензируемая книга входит в полное собрание сочинений Анны Караваевой, издаваемое Госиздатом, но в печати появляется впервые.

Творчество Анны Караваевой, которая в последнее время быстро выпускает одну книгу за другой, находится в процессе становления, — оно еще не откристаллизовалось, не приобрело своего определенного законченного лица. Выпущенные ею вещи — «Флигель», «Берет», «Двор», «Золотой клюв» весьма разнохарактерны, и в них довольны трудно разглядеть общее творческое лицо писательницы.

«Юность на Грязной» — история двух поколений молодежи Грязной — трудовой окраины провинциального города Тихоспасска. Первое поколение переживает пору юности в революцию 1905 года, второе поколение — в революцию 1917 года. Действие романа —1904 — 1917 годы.

По замыслу Караваевой, Грязная — это пролетарская окраина. На самом же деле, вглядевшись в Грязную, мы обнаруживаем ее мещанский характер. Это не фабрично-заводская окраина, а окраина ремесленная, мелкочиновная, кустарная.

В соответствии с этим и быт ее — «сер, тускл, чумаз». Все друг друга знают, духовная жизнь уходит в сплетни, судаченье.

Неожиданно («вдруг», по выражению писательницы) вспыхивает буря 1905 года, и... Грязная из тусклой становится героической. Героическую Грязную, которую писательница рисует в особом романтически приподнятом и несколько фельетонном стиле, читатель плохо воспринимает. Она похожа скорее на фейерверк, чем на пламя могучего костра.

В этом основной порок романа, нарушающий его художественное единство. С одной стороны — реалистический показ мещанства, с другой — «яростные румянцы знамен», «вихревые слова», толпа с «песней громом» и прочие безвкусные образы.

Что касается героев Грязной, ее революционеров, то они также изображены неубедительно. На протяжении 500 страниц не показана ни одна из революционных, пролетарских организаций (как не показан и сам пролетариат). Таким образом мы видим революционеров вне их стихии, вне работы и борьбы, вне коллектива, знакомимся с ними, главным образом, по разговорам. Центр тяжести перенесен в область индивидуальных переживаний.

Молодые герои Грязной распадаются на две категории — выходцев из народа и интеллигентов. К первым относится Яков Щурок, портной, и отчасти Михаил Селифатьев, сын кузнеца. Ко вторым — все остальные, почти все происходящие родом с Грязной, но получающие среднее образование. Из первых, особенно из Якова, Караваева создает героев «без страха и сомнения». Освещая их бенгальским огнем романтизма, щедро награждая эпитетами высокого полета: глаза — «нагорные озера», брови — «крылья на высоком лету», волосы — «гибкие, молодые кусты над речкой, кипяшей от бури», и т. п.

Остальные же герои, бывшие и настоящие, гимназисты и гимназистки, — даны в более реалистическом освещении, причем в центре внимания писателя стоит их отталкивание от мещанского и буржуазного бытия и буржуазной культуры.

Основной вопрос, который в действительности задает себе писательница, заключается в следующем: как интеллигенту приобщиться к пролетарской революции. Притом для интеллигента этот вопрос звучит глубоко лично: в чем для меня счастье, к чему я должен стремиться, чтобы достигнуть счастия? Ответ: счастье в полном уничтожении границ между личностью и коллективом. Идеалом является Яков Щурок, который в момент революционного воодушевления восклицает: «Вот изрежьте меня на куски за всех, вейте кульки из меня, что моя жизнешка — горошина!»

На пути к этому счастью стоит узколичный эгоизм, стремление личности замкнуться в свой узкий, тихий мирок.

Личную обособленность, эгоизм Караваева в «Юности на Грязной», как и во многих других своих произведениях («Флигель», «Двор»), показывает, как огромную стихийную силу, с которой чрезвычайно трудно бороться.

Заключая в себе немало художественноценного материала, — ярких чувств,

метких наблюдений, большого знания быта и психологии,— «Юность на Грязной» не принадлежит к числу лучших произведений Караваевой. Не говоря уже о неряшестве языка, сантиментальности образов и настроений, в романе нет единства. Он весь словно сделан из мозаики и рассыпается на составные части.

Л. Тоом.

Борис Кушнер. Сто три дня на Западе. 1924—1926 гг. Гос. Изд. М.—Л. 1928. Стр. 360. Тираж 5 000 экз. Ц. 2 р. 50 к. В папке 2 р. 70 к.

Жанр путеводителя-бедекера становится сейчас литературным фактом. К этому роду литературы примыкает и книга Бориса Кушнера.

Документальная проза не впервые возникает в русской литературе. Так в начале прошлого века в «высокую» литературу входят дневники путешествий, мемуары, история, и А. С. Пушкин восторгается прозой Карамзина: «Точность, опрятность — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей; блестящие выражения ни к чему не служат; стихи — дело другое... Вопрос: чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ: Карамзина. Это еще похвала небольшая».

Отсюда намечается путь Пушкина к журнальной прозе, к «Истории Пугачевского бунта».

Еще резче это тяготение к документальной прозе в речи Василия Каразина, произнесенной 1 марта 1820 года на собрании С.-Петербургского общества любителей словесности: «Вместо того, чтобы описывать в десятитысячный раз восход солнца, пение птичек, журчание ручейков, употребим те же дарования, то же счастливое воображение на предметы более дельные. Взяв за образец Бюффона вместо путешествий небывалых, опишем лучше путешествия действительно совершенные в недрах отечества нашего. Исчислим естественные произведения России, опишем нравы ее разновидных обитателей, от кочующего на льдах полярных чукчи до индейца, благоговейно поклоняющегося бакинскому огню. Или с Тацитом и Карамзиным испытаем углубиться в историю народов»...

Затем документальные жанры изнашиваются, стираются, уходят в литературное подполье и вновь воскресают лишь в наши дни.

«Сто три дня» — образец документальной прозы. Традиции этой вещи в путеводителях, в журнальных и газетных очерках. Вместе с тем Б. Кушнер рвет связь с каноном старого путеводителя. В то время как последний центром внимания избирал памятники искусства, театры, музеи, т. е. подбирал для описаний эстетические объекты, Б. Кушнер описывает внеэстетический материал — фабрики, дороги, машины, социальный быт города. Лев Толстой нарушил канон романтических описаний Кавказа. Б. Кушнер снижает и разрушает традиционную поэтику Западной Европы.

«Если русский человек читал книги и знаком с литературой, то его представление о западно-европейских странах всецело опирается на литературные традиции. Его мнения и суждения об Англии, об англичанах, об английском быте — будь он самый современный человек — всегда на 75% взяты из Диккенса. Его суждения об Америке — смесь из рассказов Джека Лондона и рассуждений из книжки Генри Форда.

Проезжая Литву в ясный солнечный день, я пробегал ее глазами, как давно читанную и полузабытую книгу с длинными цитатами из Мицкевича и Меримэ. По нашим литературным традициям, Литва романтична насквозь, до ниточки, до последнего кустика. И к заплесневелой дворянской романтике, ничего общего на деле с бытом литовских крестьян не имеющей, примешиваются обрывки школьных географических представлений и смутные рассказы товарищей, знающих Литву по военным фронтам.

Беловежская пуща, Августовские леса, глушь и дичь. На самом деле Литва начинается пустым местом...» (стр. 25).

Вся вещь построена, как ряд путевых очерков, развертывающихся в пространстве и во времени. Фабулы, т. е. причинно обусловленной цепи событий, нет. В своей стилистике автор стремится избежать приемов «художественной» украшенной прозы. Факты обходятся без дешевой косметики эпитетов и метафор. Они работают своей

вещной, предметной значимостью. Литература кормила читателя пирожными. А сейчас ему нужен хлеб.

Борис Кушнер — настоящий мастер-прозаик. У него свой угол зрения. Он идет сам по себе своей талантливой дорогой.

Т. Гриц.

Советская страна. Литературно-художественный и публицистический альманах народов СССР. Под редакцией С. М. Бурдянского, А. И. Досова, Б. К. Кульбешерова, Р. А. Сабирова, П. Г. Смидовича. № 2. Госиздат. Москва. Стр. 78. Ц. 1 руб.

Первая книжка альманаха «Советская страна» появилась более года тому назад. Новое начинание встречено было с большим сочувствием, причем высказывались пожелания, чтобы последующие выпуски альманаха выходили возможно чаще и чтобы сам он поскорее превратился в регулярный периодический журнал. Нет сомнения, что журнал, всецело посвященный литературе и искусству многочисленных народов СССР, давно уже нам необходим.

Но все эти справедливые пожелания и ожидания не оправдались, так как недавно вышедший второй номер «Советской страны» отделен от первого огромным промежутком. При таком темпе издания, да и при миниатюрном объеме, не превышающем пяти печатных листов, вряд ли сможет альманах быть подлинным отображением большого литературного движения призванных к новой жизни народов Советского Союза. У альманаха имеются все данные к расширению и увеличению; за Госиздатом — неотложное дело это учесть и реализовать. А то у нас больше говорят о необходимости знакомства с литературой, искусством и бытом наших националов; делают же пока очень мало. Можно смело сократить количество выбрасываемых на книжный рынок переводных романов с французского или немецкого за счет опубликования в хороших и доброкачественных переводах образцов национальной литературы СССР.

Переходя к содержанию второго выпуска «Советской страны» отметим, что составлен он интересно и разнообразно. Правда, приходится ограничиваться печатаньем лишь небольших по размерам рассказов и стихотворений. Роман, повесть и поэма, примечательные для сегодняшнего дня национальных литератур, никак, разумеется, не представлены. Из помещенных рассказов отметим в первую очередь сочный, в ярких реалистических тонах написанный рассказ известного татарского писателя Галимджана Ибрагимова «Табиат Балалары» (Дети природы). Этот рассказ, написанный еще в дореволюционную эпоху, знакомит с творчеством молодого Ибрагимова, успешно перешедшего потом к широкому полотну социального и бытового романа. Автором мастерски изображена жизнь татарской деревни с ее обиходом, полевыми работами и незатейливым, но здоровым и жизненным романом героя и героини рассказа. Кстати, упомянем, что в марте этого года тюркские круги нашего Союза торжественно отпраздновали двадцатилетний юбилей литературной деятельности Г. Ибрагимова. К сожалению, наша центральная печать почти не отметила это заслуженное чествование революционного писателя-национала.

Рассказ С. Уссейна «История одной улицы» переносит читателя в Баку и знакомит с недавним прошлым обостренных классовых противоречий и национальной розни. Горемычная судьба горской женщины (чеченки), павшей жертвой жестокого адата, изображена в бытовом рассказе А. Нухрата «Во имя аллаха». Борьбу старого с новым в горных аулах Балкарии рисуют любопытные художественные наброски «Аминэ» (Лори Черкашина). Поэтичный, но сумрачный бурятский сказ «Отчего потемнело озеро». «Цаган-Нур» А. Инкижинова удачно скомпанован и передает весь трагический колорит исполненного пессимизма сказания.

Из стихотворений, помещенных в сборнике, заслуживают упоминания: свежее и бодрое стихотворение революционного поэта грузинской молодежи Федосишвили и удмуртские мотивы вотского поэта Кузебая Герда. Узбекское сказание о Ленине пополняет тот героический эпос, который сложился на Востоке в честь вождя пролетарской революции. Любопытно, что в этом сказании

аллах посылает на землю Ленина, который, «прекратив кровопролитие и сделав людей счастливыми, ушел отдыхать в чертоги аллаха». «И имя его будет жить, — заканчивается сказание, — пока будет жить слово счастье».

Из статейного материала отметим интересную статью П. Смидовича «Малые народы Севера» и воспоминания т. Муртазина об октябре 1917 г. в горах Башкирии. Зато мало вразумительна составленная из общих фраз статья Г. Яффе под претенциозным заглавием «Крушение Васхи» (?).

Сборник обильно иллюстрирован, но не всегда это служит к украшению. Если некоторые бытовые рисунки (напр., рисунки неграмотного остяко-самоеда Николы Безруких) представляют интерес, то иллюстрации к помещенным рассказам сплошь и рядом совершенно неудачны. Наспех, повидимому, скомпанованные рисунки лишены какого-либо стиля, несоответствуют тексту повествования и, нередко, просто антихудожественны. Вообще иллюстрированное оформление альманаха неудовлетворительно. Здесь нужно проще, да лучше.

В общем следует признать издание «Советской страны» безусловно полезным и нужным. Необходимо лишь повторить прежние пожелания о периодичности альманаха, или, еще лучше, о превращении его в ежемесячный журнал.

И. Бороздин.

В. М. Энгельгардт. Формальный метод в истории литературы. Вопросы поэтики. Гос. инст. истории искусств. Вып. XI. Изд. «Academia». Стр. 118. Л. 1927. Ц. 1 р. Тир. 2100.

Уже в первой теоретической работе того же автора от 1924 г. — «А. Н. Веселовский» — не трудно было проследить, как, в угоду своеобразной теории методов — «феноменологического» и «проекционного», Энгельгардт стремится так истолковать и «стилизовать» Веселовского, чтобы в конце концов преодолеть его «проекционный» метод, опираясь на таких «феноменологистов», как проф. Кистяковский и проф. Петражицкий. Но рецензируемая книжка уже не оставляет более никаких сомнений насчет истинной природы того эклектического миросозерцания, которое в данном случае приводит автора к самому худшему виду «формализма», так как последний трактуется им, как чисто эстетическая концепция.

Окончательно «преодолев», таким образом, позитивистические тенденции основателя у нас научной поэтики, Энгельгардт становится на этот раз всецело на точку зрения догматически понятой «формалистической поэтики», которую пытается обосновать умозрительно, как «эстетику художественного слова».

Спрашивается, что можно сказать в журнальной рецензии об этой явно запоздалой попытке, сделанной к тому же как раз в то время, когда такие формалисты, как проф. Б. Эйхенбаум, категорически заявляют, что подлинный «формализм» с эстетизмом принципиально несовместим? Казалось бы, всего проще — это пройти мимо такого рода «формалистического эпигонства»... Однако последняя книжка Энгельгардта весьма любопытна именно в том смысле, что представляет собой наглядный и поучительный пример того, куда заводит опасный путь, на какой вступил автор в своем стремлении во что бы то ни стало преодолеть самые ценные для современного литературоведения научные тенденции Веселовского.

Логический же ход мысли Энгельгардта по существу сводится к следующему.

Так как общая эстетика опирается всецело (?!) на изучение так называемого «прекрасного», как главного своего объекта (повидимому, автор имеет в виду эстетику метафизическую!) и, тем не менее, часто претендует на роль конкретного искусствоведения, то ясно, конечно, что из такого ненормального положения необходимо найти выход.

Но никакого другого выхода для эстетики и поэтики Б. М. Энгельгардт не сумел придумать, кроме того, чтобы для каждого искусства в отдельности построить свою особую «частную» эстетику, которая имела бы главным объектом своего исследования конкретные явления того или другого искусства: или слова, или звуки, или краски и т. д. Такой «частной эстетикой» и должна быть «формалистическая поэтика», долженствующая упразднить и самый тер-

мин «формальный метод» в истории литературы. Автор упускает при этом из виду следующие весьма важные обстоятельства: первое, общая умозрительно-метафизическая эстетика в действительности уже давно уступила свое господствующее место экспериментальной, позитивно-материалистической эстетике, которая опирается в настоящее время не на изучение явлений «красоты», а на те весьма конкретные и реальные факты художественного творчества, какие наблюдаются во всех искусствах; второе же и главное, если в каждом искусстве в отдельности будет своя особая «частная» эстетика, и все они будут находиться в полном подчинении общей умозрительно-метафизической эстетике, тогда ни одна из этих многочисленных эстетик, при таком искусственном разграничении их функций и конкретных данных, не сможет правильно решить самые основные проблемы, стоящие перед всякой подлинно-научной эстетикой.

Что же касается особенно интересующего нас в данном случае «словесного искусства», то выход, придуманный Энгельгардтом, из того тупика, в какой заводит «формальная школа», в действительности означает не что иное, как скачок «из огня да в полымя», так как рекомендуемый им «эстетизм» несравненно опаснее всякого «формализма»...

Иначе говоря, сам того не замечая, Энгельгардт «спасает» формалистическую поэтику тем, что предлагает вернуться вспять к тому пресловутому «эстетическому методу», на смену которому появился у нас сперва сравнительно-исторический, а затем и самый формальный метод...

Таким образом круг «формалистического» пути, благодаря последней работе Энгельгардта, как будто, окончательно замыкается, и формалистам, пожалуй, не остается теперь ничего другого, как вернуться незаметным образом к исходной точке данного движения: к эстетизму, психологизму, литературно-культурному бытовизму и другим методологическим принципам, на смену которым у нас и появился так называемый «формализм»...

Таков тот чисто логический эксперимент, который был проделан Энгельгардтом в его последней работе и который заключает в себе много поучительного для тех преподавателей-словесников и молодых литературоведов, какие пребывают еще в периоде разных исканий и сомнений...

Л. Якобсон.

ПОПРАВКА

В № 4 «Красной Нови», в рецензии Ал. Вайсброда на собрание сочинений Г. Никифорова, вкрались следующие опечатки:

Страница 244, строки 22—24 снизу, левая колонка — напечатано: «проникнуться уважением к их творчеству, достижениям и почувствовать уважение к самому себе», следует: «проникнуться уважением к его творческим достижениям и почувствовать отвращение к самому себе».

Страница 245, левая колонка, строка 7 сверху—напечатано: «артельной служанки Мавры», следует: «артельной кухарки Мавры».

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

С

М. Горький. Жизнь Клима Самгина — отрывок из второй части трилогии «Сорок лет» .

Леонид Леонов. Бродяга — рассказ .

В. Катаев. Квадратура круга — шутка в трех действиях .

Илья Эренбург. Ночь в Братиславе — рассказ

Илья Сельвинский. Пушторг — роман в стихах .

Эм. Квиринг. Перспективы социалистической промышленности 1927/28—1931/32 гг. . . . 1

А. Д. Авдеев. Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге (из воспоминаний коменданта) 1

За рубежом

Ольга Форш. Париж с птичьего «дуазо» 2

Литературные края

Д. Тальников. «Горе от ума» перед судом современности 2:

Критика и библиография

Рецензии: *Семен Фомин.* А. Ширяевец — «Волжские песни». *Евг. Книпович.* Мих. Слонимский — «Средний проспект». *Павел Мирецкий.* С. Жданов — «Мартемьяниха». *Л. Тоом.* А. Караваева — «Юность на Грязной». *Т. Гриц.* Б. Кушнер — «Сто три дня на Западе». *И. Бороздин.* Альманах «Советская страна». *Л. Якобсон.* В. М. Энгельгардт — «Формальный метод в истории литературы» 26